АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

2

МАРТ—АПРЕЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА—1974

СОДЕРЖАНИЕ

А. В. Бондарко (Ленинград). Формообразование, словоизменение и классификация морфологических категорий 3

К 250-летию Академии наук СССР

Б. А. Успенский (Москва). Доломоносовский период отечественной русистики: Адодуров и Тредиаковский 15

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

А. Рона-Таш (Будапешт). Общее наследие или заимствования? 31
Л. Г. Герценберг (Ленинград). Об исследовании родства алтайских языков 46
Д. И. Арбатский (Ижевск). О сущности тавтологии в семантических определениях 56
Л. В. Бондарко, Л. А. Вербицкая, М. В. Гордина, Л. Р. Зиндер, В. Б. Касевич (Ленинград). Стили произношения и типы произнесения 64
И. С. Улуханов (Москва). Компоненты значения членимых слов 71

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Х. Фенрих (Иена). К иберийско-кавказской гипотезе 79
М. А. Коростовцев (Москва). Основные элементы новоегипетского синтаксиса 85
Е. П. Лебедева (Ленинград). Редуплицированные и парные слова в маньчжурском языке 96
З. М. Петрова (Ленинград). Страдательно-возвратные причастные формы в русском языке XVIII века 103
И. В. Андрианова (Москва). Взаимоотношение имен действия на *-ние* (*-тие*) с однокоренными именами других суффиксальных типов в древнерусском языке 112

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

В. С. Иванов (Москва). О некоторых направлениях в развитии количественных методов в венгерском языкознании 120
Нгуен Ким Тхан (Ханой). Языковая ситуация во Вьетнаме и языковедческая работа в ДРВ 127

Рецензии

А. Н. Кононов (Ленинград). *G. Hazai.* Das Osmanisch-Türkische im XVII. Jahrhundert. 131
М. Моллова (София). «Тюркологический сборник. 1971» 134
В. Я. Дерягин (Москва). «Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка. Словарь-справочник» 138
М. М. Копыленко (Алма-Ата). Новые труды о переводах Кирилла и Мефодия 142
А. Д. Швейцер (Москва). «Большой англо-русский словарь». 146

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки 151

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Ахманова, Р. А. Будагов, А. В. Десницкая, Ю. Д. Дешериев, Г. А. Климов (отв. секретарь редакции), *В. З. Панфилов* (зам. главного редактора), *Б. А. Серебренников, В. М. Солнцев* (зам. главного редактора), *О. Н. Трубачев, Ф. П. Филин* (главный редактор), *В. Н. Ярцева*

Адрес редакции: 103031, Москва К-31, Кузнецкий мост, д. 9/10. Тел. 228-75-55

© Вопросы языкознания, 1974

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1974

А. В. БОНДАРКО

ФОРМООБРАЗОВАНИЕ, СЛОВОИЗМЕНЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ

(На материале русского языка)

1. К истории разработки понятия «формообразование». Теория морфологии до сих пор испытывает воздействие проведенного Ф. Ф. Фортунатовым (мы отвлекаемся от более ранней грамматической традиции) разграничения форм словоизменения и форм словообразования. В концепции Ф. Ф. Фортунатова это разграничение основано, с одной стороны, на функциональном признаке (формы словоизменения обозначают «различия в отношениях тех предметов мысли, которые обозначаются данными словами, к другим предметам мысли в предложениях», тогда как формы словообразования обозначают «различия в самих предметах мысли, обозначаемых словами»), а с другой — на признаке формальном: формы словоизменения приравниваются к формам флексии слов [1]. Эти признаки существенно ограничивают область словоизменения по сравнению с теми потенциально возможными пределами, в которых слово, изменяясь грамматически, не перестает быть самим собою. Функциональное ограничение фактически частично преодолено самим Ф. Ф. Фортунатовым: приводя в числе других форм словоизменения формы наклонения и времени, он уже выходит за пределы различий «в отношении данных предметов мысли к другим предметам мысли в предложениях» [2]. Таким образом, уже в самой концепции словоизменения в трактовке Ф. Ф. Фортунатова заключались предпосылки ее возможного пересмотра. Такой пересмотр фактически и осуществился в работах Л. В. Щербы и В. В. Виноградова. При этом был использован другой термин —«формообразование»: место противопоставления «словоизменение — словообразование» заняла оппозиция «формообразование — словообразование».

Формообразование в трактовке Л. В. Щербы связано со значительным расширением круга форм одного и того же слова, ср. такие соотношения, как *делать* и *сделать*, *добрый* и *предобрый*, *трубка* и *трубочка* (последнее — с некоторыми оговорками). Понятие формообразования вышло за рамки форм флексии слов, включив сложные формы, а также формы, образованные посредством префиксации, суффиксации, чередования. Расширилось и понимание функциональной стороны: понятие форм одного слова связывается с обозначением одних и тех же предметов мысли в разных аспектах или с разными дополнительными значениями [3].

Не менее широко очерчивает понятие формообразования В. В. Виноградов. Формами одного и того же слова признаются, например, такие

---

[1] Ф. Ф. Фортунатов, Сравнительное языковедение. Общий курс, «Избранные труды», I, М., 1956, стр. 155.

[2] Ф. Ф. Фортунатов, указ. соч., стр. 155.

[3] См.: Л. В. Щерба, Очередные проблемы языковедения, «Избр. работы по языкознанию и фонетике», I, Л., 1958, стр. 18—20.

образования, как *щец* (ласкательная форма род. падежа слова *щи — щей*), обороты типа *возьму и скажу* (форма слова *сказать*), а также (предположительно) *сидит-сидит*, *синий-синий*, *едва-едва* и т. п.[4].

Концепция формообразования, выдвинутая Л. В. Щербой и В. В. Виноградовым, способствовала развитию и обоснованию понимания слова как «системы сосуществующих, обусловливающих друг друга и функционально объединенных форм» [5]. Положительную роль сыграло на определенном этапе разработки данного вопроса и вовлечение более широкого круга языковых фактов в сферу проблематики тождества слова (какими бы спорными ни были те или иные конкретные решения). Однако рассматриваемая концепция заключает в себе противоречие: с одной стороны, понятие формообразования охватывает широкий и неоднородный круг образований, далеко выходящих за пределы собственно словоизменения, а с другой — сохраняется принцип ограничения формообразования сферой форм одного слова, что, по существу, предполагает тождество формообразования и словоизменения.

В последующие годы в грамматической литературе проявилась тенденция к ограничению состава форм одного слова, что сочеталось со скептическим или отрицательным отношением к понятию формообразования [6].

В результате сосуществования расширительной и ограничительной тенденций в проблематике формообразования — словоизменения сложилась весьма неопределенная ситуация. Понятие формообразования в какой-то мере сохранило свои позиции, но без тех «крайностей», которые резко отличали его от понятия словоизменения [7]. Не устранялась неясность в соотношении этих понятий: если формообразование, как и словоизменение, базируется на понятии системы форм одного слова, то есть ли основания сохранять двойственность терминов? если же формообразование шире, чем словоизменение, то на чем основано ограничение формообразования кругом форм одного слова?

2. Предлагаемая трактовка соотношения понятий формообразования и словоизменения. Выход из замкнутого круга, на наш взгляд, заключаается в освобождении понятия формообразования от ограничения его формами одного слова [8]. Формообразование — это не только образование форм одного и того же слова, но и образование форм разных слов. Иначе говоря, данный термин трактуется нами в соответствии с его внутренней формой без дополнительных ограничений, связанных с тождеством слова: формообразование есть образование форм (любых форм в рамках данной части речи). Формо-

[4] См.: В. В. Виноградов, О формах слова, ИАН ОЛЯ, 1944, 1, стр. 36—40.

[5] Там же, стр. 36.

[6] См. точку зрения П. С. Кузнецова в кн.: «Современный русский язык. Морфология (Курс лекций)», М., 1952, стр. 31—32, 67, 323, 343. Позднее П. С. Кузнецов отказывается от понятия формообразования, считая, что оно «характеризуется порой очень туманными и расплывчатыми признаками, и достаточных оснований к тому, чтобы заменить им четко определенное понятие словоизменения, не имеется» (П. С. Кузнецов, О принципах изучения грамматики. Материалы к курсам языкознания, М., 1961, стр. 41). Ср. также: Н. А. Янко-Триницкая, Возвратные глаголы в современном русском языке, М., 1962, стр. 6—29.

[7] Эта ситуация нашла отражение, в частности, в академической «Грамматике русского языка» (I — Фонетика и морфология, М., 1953, стр. 16—18, 24—25, 30, 43).

[8] Важный шаг в этом направлении был сделан А. А. Реформатским, который предложил следующее решение: изменения реляционного значения в случаях типа *стол'ик-ам* охватываются словоизменением; изменения деривационного значения (*стол'-ик*) охватываются словообразованием; «...и то и другое — формообразование: словоизменительное и словообразовательное» («Введение в языковедение», 4-е изд., М., 1967, стр. 252). Далеко не во всем соглашаясь с А. А. Реформатским, мы поддерживаем самый принцип определения формообразования на основе выхода за пределы форм одного слова.

образование и словообразование оказываются не взаимоисключающими, а частично накладывающимися друг на друга понятиями. Зоны формообразования и словообразования пересекаются, образуя общий сегмент, в котором представлено как то, так и другое явление (без смешения); за пределами же общего сегмента перед нами либо формообразование без словообразования, иначе говоря, формообразование в рамках форм одного слова, т. е. словоизменение, либо словообразование без формообразования, когда образование новых слов не связано с образованием новых форм (ср. случаи типа *дед — прадед*, *лужа — лужица*, *моральный — аморальный*; аналогичны и случаи типа *стол — столик*, так как никаких изменений с точки зрения форм рода, числа и падежа здесь не наблюдается).

Совмещение формообразования и словообразования представлено, например, в таких случаях, как *лететь — влететь*, *долететь*, *залететь* и т. д. В результате префиксации образуются новые слова и вместе с тем осуществляется видообразование. Ср. также случаи типа *художник — художница* (основной процесс — образование нового слова — названия лица женского пола; вместе с тем образуется форма женского рода), *горох — горошина* (основной процесс — образование слова со значением единичности от слова с вещественным значением, но попутно изменяется и род) [9]. Возникает возможность выделения разных типов совмещения формо- и словообразования, в частности с преобладанием либо словообразовательной, либо формообразовательной функции (примерами последнего рода могут служить случаи типа *штрафовать — оштрафовать*).

Между формообразованием и словообразованием никогда не стирается функциональное различие в направленности на создание либо новых форм, либо новых слов; когда то и другое осуществляется одновременно, одними и теми же средствами, то это свидетельствует не о стирании граней между рассматриваемыми процессами, а лишь о явлении полифункциональности языковых средств.

При такой трактовке рассматриваемых понятий вопрос о границах системы форм одного слова связывается уже не с самим по себе понятием формообразования, а с типами формообразования. Иначе говоря, граница между образованием форм одного слова и форм разных слов, с нашей точки зрения, проходит внутри области формообразования. Систему форм одного слова мы связываем с термином «словоизменение». Таким образом, понятие формообразования охватывает словоизменение (словоизменительное формообразование) и, кроме того, формообразование несловоизменительное, т. е. сочетающееся со словообразованием (классификационное, или словообразовательное).

Поскольку процесс формообразования конституирует морфологические категории (хотя и не сводится к этому [10]), типология формообразования оказывается тесно связанной с типологией морфологических категорий.

3. Классификация морфологических категорий по признаку коррелятивности форм в пределах одного и того же слова. Под коррелятивностью в данном случае подразумевается соотносительность всех членов

---

[9] Разумеется, словообразование, сопровождаемое образованием новых форм, выходит далеко за пределы данной части речи (ср. *косить — косьба*, *красный — краснота* и т. д.), однако в этой области рассматриваемые процессы перестают быть сопоставимыми; соотношения слов и форм, представляющих разные части речи, здесь оставляются нами в стороне.

[10] Ср., например, образование форм инфинитива или деепричастий, которое создает оппозиции форм (*замечаю — замечать*, *сидеть — сидя* и т. п.), но не создает особых морфологических категорий.

данной категории (граммем) [11] в рамках одного и того же слова (одного и того же лексического значения слова). Для признания каких-либо форм формами одного слова необходимо не только тождество лексического значения, но и наличие грамматической регулярности формообразования [12]. Под грамматической регулярностью в этом смысле имеется в виду подчинение формообразования правилам следующего типа: если от форм А образуются формы Б (или: если формы А образуют оппозицию с формами Б), то регулярной (постоянной для определенного класса словоформ) является их соотносительность в рамках одного и того же (по крайней мере одного) лексического значения, например, если от форм совершенного вида образуются формы несовершенного вида (*смешать — смешивать* и т. п.), то они являются соотносительными в рамках одного и того же (по крайней мере одного) лексического значения. Ср. недействительность правила: если от форм несовершенного вида образуются формы совершенного вида, то они являются соотносительными...; ср. *строить — построить*, но *строить — застроить*, *настроить* и т. д.

Морфологические категории (МК) можно разделить на три типа: 1) категории, последовательно представленные корреляциями форм одного и того же слова,— последовательно коррелятивные (таковы в русском языке наклонение, время, лицо, число, род глагола, падеж существительных и других частей речи, род, число прилагательных); 2) категории, которые могут быть представлены корреляциями форм одного слова, но вместе с тем репрезентируются и противопоставленными друг другу формами разных слов,— непоследовательно коррелятивные (вид, залог глагола, число существительных, степени сравнения прилагательных и наречий); 3) категории, которые не могут быть представлены корреляциями форм одного слова, т. е. всегда репрезентируются формами разных слов,— некоррелятивные (род существительных, лицо местоимений).

Таким образом, категории 1-го типа являются постоянными носителями признака коррелятивности («коррелятивность» +), категории 2-го типа характеризуются способностью к коррелятивности, но реализуют ее непоследовательно («коррелятивность» ∓), категории 3-го типа исключают данный признак («коррелятивность» —) [13].

Возможна и другая модификация данного членения; оно может быть представлено как двухступенчатая бинарная классификация: МК делятся на коррелятивные и некоррелятивные; коррелятивные категории подразделяются на последовательно и непоследовательно коррелятивные [14].

[11] Наша трактовка морфологических категорий и их компонентов (граммем) изложена в работе: А. В. Бондарко, Категории и разряды славянской функциональной морфологии (морфологические категории и лексико-грамматические разряды), сб. «Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов. Варшава, август 1973 г. Доклады советской делегации», М., 1973.

[12] О грамматической регулярности/нерегулярности применительно к глагольному виду см.: Ю. С. Маслов, Глагольный вид в современном болгарском литературном языке (значение и употребление), сб. «Вопросы грамматики болгарского литературного языка», М., 1959, стр. 181—183.

[13] Предлагаемая классификация восходит к известному членению грамматических категорий на словоизменительные и классификационные, или классифицирующие (см.: А. И. Смирницкий, Древнеанглийский язык, М., 1955, стр. 213; Ю. С. Маслов, указ. соч., стр. 167—171; А. А. Зализняк, Русское именное словоизменение, М., 1967, стр. 31—32), но в некоторых отношениях отличается от него, в частности, трихотомическим принципом членения, выделяющим как самостоятельный тип непоследовательно коррелятивные категории.

[14] Данная модификация в некоторых отношениях близка к концепции Ю. С. Маслова, который выделяет среди категорий словоизменительного типа две разновидности: категории, вполне независимые от лексики, например, род и число прилагательных, и категории, не являющиеся вполне независимыми от лексики, например,

Эти модификации различаются акцентами: трехчленная классификация подчеркивает различие между последовательно и непоследовательно коррелятивными категориями, рассматривая их как самостоятельные типы МК, двучленная же классификация подчеркивает различие между МК, способными и не способными к коррелятивности в рамках одного слова, и в большей степени сближает последовательно и непоследовательно коррелятивные категории как разновидности одного более общего типа. Мы отдаем предпочтение трехчленному варианту рассматриваемой классификации, так как он подчеркивает специфику категорий вида и залога, резко отличающихся по характеру коррелятивности от таких категорий, как род, число и падеж прилагательных, наклонение, время и лицо глагола.

Оставив в стороне некоррелятивные категории, не требующие особых пояснений, остановимся подробнее на каждом из типов коррелятивных категорий.

Последовательно коррелятивные категории представляют ядро, наиболее специфический и «чистый» тип словоизменения (словоизменительного формообразования). Последовательная коррелятивность охватывает все формы, входящие в противопоставленные друг другу ряды (граммемы). Разумеется, возможны случаи, когда та или иная форма не образуется от данного слова или является неупотребительной (ср. неупотребительность форм повелительного наклонения, а также форм 1 и 2-го лица изъявительного наклонения у глаголов типа *возобновиться — возобновляться*, *продолжаться* и т. п.). Если, однако, формообразование данного типа реализуется, то оно всегда дает формы одного и того же слова — в этом и заключается его последовательная коррелятивность.

Среди последовательно коррелятивных МК с точки зрения их отношения к лексике можно выделить две подгруппы: 1) категории с лексически необусловленной парадигмой (род, число и падеж прилагательных, а также падеж существительных) [15]; 2) категории с частичной лексической обусловленностью парадигмы (наклонение, лицо, время, число и род глаголов). Следует подчеркнуть, что лексическая обусловленность парадигмы наклонения и лица (см. приведенные выше примеры) является именно частичной: она не затрагивает форм изъявительного и сослагательного наклонений, не затрагивает (за пределами безличности) форм 3-го лица. Особого рода лексической обусловленностью характеризуется категория времени, связанная с лексикой опосредованно — через категорию вида: несоотносительные глаголы совершенного вида имеют две формы времени, несовершенного вида — три, а глаголы, имеющие формы обоих видов, обладают и полной парадигмой видо-временных форм (ср.: *отзвучал — отзвучит*; *зависел — завишу — буду зависеть*; *рассказывал — рассказал — рассказываю — расскажу — буду рассказывать*). У категорий числа и рода глагола зависимость от лексики проявляется в безличных формах,

---

число существительных, степени сравнения прилагательных, вид глагола (указ. соч., стр. 167, 172). Подчеркнем, однако, что понятия «коррелятивные» и «словоизменительные» категории перекрещиваются, но не совпадают; это проявляется, в частности, в том, что категорию вида в полном ее объеме (как и категорию залога) нельзя отнести к словоизменению.

[15] Последняя категория относится к данной группе в том смысле, что каждое существительное имеет полную парадигму падежа (если считать, что система падежей охватывает и формально неизменяемые слова типа *кофе*). Что же касается падежных значений, то они, разумеется, во многих случаях обнаруживают зависимость от лексики.

связанных лишь с ед. числом, а в прошедшем времени и сослагательном наклонении — лишь со средним родом.

Непоследовательно коррелятивные категории представляют тот тип формообразования, для которого характерно совмещение коррелятивности с некоррелятивностью, широкое распространение несоотносительных образований; ср. несоотносительные глаголы совершенного и несовершенного вида, глаголы, выступающие только в активе, несоотносительные по числу существительные, несоотносительные формы положительной степени прилагательных и наречий. Парадигма указанных категорий обнаруживает высокую степень зависимости от лексики.

В категориях вида и залога представлены два типа отношений между формами, репрезентирующими противопоставленные друг другу граммемы: 1) грамматически регулярный тип, в рамках которого представлены формы одного и того же слова (ср. видовые пары типа *закрыть — закрывать*, являющиеся результатом имперфективации, и залоговые пары типа *закрыл — был закрыт*; *закрывающий — закрываемый*, представляющие собой результат причастной пассивизации); 2) нерегулярный тип, по отношению к которому есть основания говорить об особого рода коррелятивности форм разных слов (ср. видовые пары типа *ставить — поставить*, являющиеся результатом перфективации, и залоговые пары типа *закрывать — закрываться*, являющиеся результатом возвратной пассивизации) [16].

Рассмотрим подробнее указанное различие. Имперфективация — это процесс, целью и регулярным результатом которого является образование видовой пары [17]. Говоря о регулярности при имперфективации, мы имеем в виду именно регулярность результата этого процесса — образования грамматической видовой корреляции (при тождестве лексических значений, по крайней мере их части). Если процесс имперфективации осуществляется, то регулярно (постоянно, закономерно — так, что всегда можно предугадать такой результат) возникает видовая пара. Иной характер имеет процесс префиксальной перфективации. В результате этого процесса от основы несовершенного вида образуется глагол совершенного вида, однако при этом обычным является изменение лексического значения (ср. *кричать — закричать*, *накричать*, *покричать* и т. п.). Результатом префиксации может оказаться и образование видовой пары (*гасить — погасить*, *прятать — спрятать*, *публиковать — опубликовать* и т. п.), однако такая возможность реализуется нерегулярно.

Относительная грамматическая регулярность залоговых корреляций первого типа (при причастной пассивизации) заключается в следующем: если от невозвратных финитных и причастных форм образуются формы пассивных причастий (подлинные причастия, не подвергшиеся адъективации), то данное противопоставление всегда проходит внутри одного слова и внутри одного и того же лексического значения в слове. Это и дает основание (как и по отношению к видовым парам в области имперфективации) говорить в данном случае о формах одного и того же слова. Отсутствие грамматической регулярности корреляций 2-го типа (при возвратной пассивизации) очевидно. Мы не можем сказать, что присоединение постфикса *-ся* к невозвратному образованию всегда дает противопоставление актива и пассива. В одних случаях возникает оппозиция актива и пассива (*за-*

[16] Коррелятивность форм разных слов (нерегулярного типа) следует отличать от лежащего в основе данной классификации признака коррелятивности форм одного и того же слова.

[17] См. характеристику различий между имперфективацией и перфективацией в упомянутой работе Ю. С. Маслова, стр. 165—183.

трагивать — затрагиваться и т. п.), а в других — нет (*сердить — сердиться* и т. п). Это дает основание (как и по отношению к видовым парам в области перфективации) говорить в данном случае о формах, которые хотя и могут характеризоваться тождеством лексического значения, но не могут быть признаны формами одного и того же слова.

Морфологические процессы формообразования при имперфективации и причастной пассивизации монофункциональны, они направлены лишь на образование новых форм и представляют словоизменительное формообразование. Процессы же префиксации и рефлективации полифункциональны, у них двоякая направленность: одни и те же языковые средства (приставки и постфикс *-ся*) служат для образования как новых форм, так и новых слов; здесь представлено формообразование, сопряженное со словообразованием, т. е. формообразование несловоизменительное, классификационное.

В категории числа существительных можно констатировать, с одной стороны, коррелятивность форм одного и того же слова (*лампа — лампы, село — села* и т. п.), а с другой — некоррелятивность, которая охватывает как случаи типа *пища, очки*, так и случаи типа *верх — верхи*. Аналогичны отношения в категории степени сравнения.

В целом категории числа существительных и степени сравнения прилагательных и наречий характеризуются известной мерой грамматической регулярности корреляций при тождестве (по крайней мере одного) лексического значения, однако лишь в ограниченных условиях (для категории числа — в рамках большей части считаемых существительных, для категории степени сравнения — в пределах качественных прилагательных и наречий, с известными ограничениями). Эта коррелятивность ближе к грамматически регулярному, чем к нерегулярному типу.

4. Классификация морфологических категорий по признаку альтернационного/деривационного характера формообразования. По характеру отношений между словоформами, представляющими члены данной категории, различаются два типа коррелятивного формообразования и, соответственно, два типа коррелятивных МК: 1) альтернационный и 2) деривационный (некоррелятивные категории данной классификацией не затрагиваются). Если в 1-м случае (при морфологической альтернации) налицо чередование форм, то во 2-м (при морфологической деривации) — производность одной формы от другой.

Распределение МК по указанным типам полностью совпадает с их распределением по признакам последовательной/непоследовательной коррелятивности. Таким образом, соответствующие категории (с одной стороны, наклонение, время, лицо, число, род глагола, падеж существительных и других частей речи, а с другой — вид, залог глагола, число существительных, степени сравнения прилагательных и наречий) различаются по двум признакам. Совпадение в распределении МК по двум разным признакам связано с тем, что альтернационный характер формообразования определяет последовательную коррелятивность, а деривационный — непоследовательную. Когда между словоформами существует отношение производности, то всегда присутствует зависимость как самого факта морфологической деривации, так и его результатов от лексики и словообразования. Деривация по самой своей природе открыта для далеко идущего воздействия лексики, создающего затруднения и препятствия для коррелятивности граммем и приводящего к непоследовательной реализации этой коррелятивности. Когда же словоформы, представляющие члены данной категории, связаны друг с другом отношением морфологической альтернации, то такие трудности не возникают. Правда, для части альтерна-

ционных категорий остается действительным фактор воздействия лексики с точки зрения совместимости или несовместимости лексического значения со значением той или иной граммемы, однако это воздействие имеет ограниченный характер. Мы имеем здесь дело с частичными лексическими ограничениями, накладываемыми на формообразование, но за пределами этих ограничений реализованное формообразование сохраняет последовательную коррелятивность, т. е. наличные формы всегда представляют собой формы одного слова. Такие лексические ограничения несопоставимы с лексическим воздействием при деривационном формообразовании, когда формообразование связывается с параллельным процессом словообразования, нарушающим коррелятивность морфологических форм.

Рассмотрим указанные типы МК более подробно. Морфологическая альтернация предполагает чередование форм, между которыми нет отношения производности (ни формальной, ни семантической). Например, нельзя сказать, что повелительное наклонение является производным от изъявительного или сослагательного, что 3-е лицо производно от 1 или 2-го, будущее время — от настоящего или прошедшего, творительный падеж — от дательного или винительного.

Отсутствие производности одной формы от другой не означает, что формы, представляющие разные граммемы данной категории, обязательно должны быть равноправны во всех отношениях. Формы, представляющие одну из граммем, могут быть основными, даже «исходными» по отношению к другим формам, но не в том смысле, что эти последние являются результатом их формального или семантического преобразования. Так, формы изъявительного наклонения являются основными по отношению к косвенным наклонениям потому, что они передают основное для целей коммуникации отношение глагольного признака к действительности — отношение реальности. Изъявительное наклонение — это основной альтернант — представитель данной МК, но не база для отношений производности. То же можно сказать об именительном падеже по отношению к косвенным падежам [18].

Морфологическая деривация четко выражена в категории залога. Пассив (как причастный, так и возвратный) производен от актива. Существует множество активных образований, которым не соответствуют пассивные, но нет пассивных образований, которым не соответствовали бы активные (подчеркнем, что имеется в виду русский язык). Производность пассива находит также проявление в ряде ограничений, с которыми связано его употребление. Соответствие носителя глагольного признака логическому объекту в пассивной конструкции — это результат определенного преобразования исходного соответствия носителя глагольного признака логическому субъекту.

В категории вида два основных типа видовых пар представляют противоположные направления деривационного формообразования: при перфективации — от несовершенного вида к совершенному, а при имперфективации — от совершенного вида к несовершенному. Деривация в этих направлениях осуществляется не только по форме, но и по смыс-

---

[18] Ср. замечание И. А. Бодуэна де Куртенэ: «Нельзя говорить, что известная форма данного слова служит первоисточником для всех остальных и в них „переходит". Разные формы известного слова не образуются вовсе одна от другой, а просто сосуществуют. Конечно, между ними устанавливается взаимная психическая связь, и они друг друга обусловливают и путем ассоциации друг друга вызывают. Но с одинаковым правом мы можем говорить, что форма *вода* переходит в форму *воду*, как и наоборот, форма *воду* — в форму *вода*» (рец. на кн.: В. И. Чернышев, Законы и правила русского произношения, ИОРЯС, XII, 2, 1907, стр. 495).

лу [19]. Когда от глагола несовершенного вида образуется — в плане синхронии — глагол совершенного вида (*писать — написать*), то нецелостная интерпретация действия становится целостной, происходит «свертывание», интеграция и лимитация процесса, его преобразование в целостный факт. Когда же от совершенного вида образуется несовершенный (*записать — записывать*), то целостная интерпретация действия становится нецелостной, происходит развертывание, процессуализация целостного факта [20].

Формальная производность сравнительной и превосходной степени от положительной не вызывает сомнений. Представляется несомненной и аналогичная производность по значению [21]. То же следует сказать о формальной и семантической производности мн. числа существительных от ед. числа (такова господствующая тенденция).

Возникает вопрос о категории числа прилагательных и глаголов. Почему мы относим число в этих случаях к альтернационному, а не к деривационному типу? Число прилагательных не обладает самостоятельной семантической значимостью: перед нами согласовательная категория, которая лишь подчеркивает связь зависимого признака с единичной или множественной субстанцией; «собственной», самостоятельной семантической производностью формы мн. числа имен прилагательных не характеризуются. С точки зрения закономерностей формообразования мн. число прилагательных не обнаруживает зависимости от ед. числа. Никаких затруднений образование мн. числа не вызывает, соотносительность форм не знает исключений. Следовательно, это равноправные формы, и с функциональной точки зрения есть основания видеть здесь скорее явление альтернации, чем деривации.

В основном то же можно сказать и о числе глагола. За исключением случаев типа *У нас шумят*; *Его не поймешь* и т. д., когда эта категория связывается с функциями неопределенно-личности, обобщенно-личности и безличности, число глагола, как и число прилагательных, имеет не

---

[19] По мнению И. А. Мельчука, в категории вида обнаруживается расхождение между производностью по форме и по смыслу. Обращается внимание на близкие по смыслу глаголы, у которых направленность формальной производности в видовых парах различна, а смысловые отношения между членами пары, как полагает автор, одинаковы: *формулировать — сформулировать*, но *описывать — описать*; *демонстрировать — продемонстрировать*, но *показывать — показать* (см.: И. А. Мельчук, Строение языковых знаков и возможные формально-смысловые отношения между ними, ИАН ОЛЯ, 1968, 5, стр. 433; его же, К понятию словообразования, ИАН ОЛЯ, 1967, 4, стр. 359). Однако близость подобных видовых пар по смыслу отнюдь не обусловливает одинакового направления семантической производности.

[20] От рассмотренных отношений между членами видовых пар следует отличать иной аспект видовых отношений: в грамматической системе языка, как справедливо отмечают многие исследователи, несовершенный вид, будучи немаркированным членом привативной оппозиции, во всех случаях является семантически исходным по отношению к совершенному виду. Однако данное семантическое соотношение и та производность конкретных видовых словоформ, о которой идет речь (в случаях типа *писать — написать* или типа *переписать — переписывать*), лежат в разных плоскостях. Семантическая немаркированность несовершенного вида проявляется независимо от того, какой конкретной словоформой он представлен, независимо от типа видовой пары. Заметим, что семантическая немаркированность той или иной граммемы возможна и в категориях альтернационного типа, ср., например, немаркированность именительного падежа.

[21] Суждения И. А. Мельчука о том, что значение слова *тяжелый* приходится описывать через «тяжелее нормы» и тем самым «тяжелый» оказывается более сложным смыслом, чем «тяжелее» («Строение языковых знаков...», стр. 433—434), не колеблют положения о семантической производности форм сравнительной степени. С точки зрения представленных в словоформах категориальных морфологических значений сравнительная степень всегда обозначает «больше чего-то» (пусть даже это «что-то» само по себе с лексико-семантической точки зрения может быть истолковано как «больше нормы»).

самостоятельную семантическую, а чисто согласовательную природу. Формы числа равноправны, всегда соотносительны. Мн. число глагола не проявляет никаких признаков зависимости от ед. числа. Таким образом, с функциональной точки зрения, число глагола, как и число прилагательных, примыкает к альтернационным, а не к деривационным категориям.

5. Классификация морфологических категорий и вопрос о границах словоизменения. Предложенная выше классификация МК является вместе с тем классификацией типов формообразования. Как относятся эти типы к понятию словоизменения? По существу, в предложенной классификации МК (соответственно — типов формообразования) уже дан ответ на этот вопрос: он заключен в истолковании признака коррелятивности как соотносительности форм одного и того же слова и в распределении МК по данному признаку. Однако это решение не является единственно возможным. Рассмотрим другой вариант.

Можно было бы считать формами одного и того же слова лишь формы категорий последовательно коррелятивного и вместе с тем альтернационного типа. При таком решении границы между словоизменением (словоизменительным формообразованием) и формообразованием несловоизменительным совпадают с границами между МК последовательно коррелятивного и непоследовательно коррелятивного типов (признак коррелятивности, лежащий в основе классификации, пришлось бы трактовать более широко — как соотносительность, не связанную необходимым образом с отношением форм одного и того же слова, т. е. как соотносительность — при тождестве лексического значения — не только форм одного слова, но и форм разных слов). В этом совпадении, в четкости границ словоизменения заключается положительная сторона такого решения. Оно действительно четко и определенно очерчивает наиболее специфическую и относительно однородную зону «чистого» формообразования, не соприкасающегося со словообразованием. Однако возникают существенные трудности с «переходными случаями». Указанное решение означает, что число существительных, степени сравнения, категории вида и залога в полном их объеме оказываются за пределами форм одного и того же слова, за пределами словоизменения. Однако грамматически регулярные видовые и залоговые корреляции, а также сопоставимые с ними корреляции форм числа существительных и корреляции степеней сравнения с трудом поддаются однозначному выведению за пределы системы форм одного слова. Наиболее адекватным было бы признание принадлежности всех этих фактов к переходной зоне между словоизменением (словоизменительным формообразованием) и формообразованием, сочетающимся со словообразованием. Однако такое признание, вполне приемлемое в общем плане проблематики тождества слова, не избавляет от необходимости в каждом конкретном случае определить, являются ли данные формы (например, *избрать — избирать*; *избирающий — избираемый*) формами одного слова или разными словами. Поэтому мы отказались от такого варианта и предпочли ему решение, изложенное в этой статье.

Итак, по-видимому, следует отнести к словоизменению, к системе форм одного слова не только формы наклонения, времени, лица и т. п., но и формы числа существительных, степени сравнения прилагательных и наречий (в той мере, в какой во всех этих случаях сохраняется соотносительность, тождество по крайней мере части лексических значений), грамматически регулярные видовые и залоговые корреляции (т. е. корреляции в области имперфективации и причастной пассивизации). При этом, однако, возникает необходимость четкой дифференциации двух типов словоизменения: 1) последовательно коррелятивного

и альтернационного —«чистого» словоизменения, наиболее четко противопоставленного словообразованию, и 2) непоследовательно коррелятивного и деривационного — той разновидности словоизменения, которая обнаруживает черты переходности к несловоизменительному (классификационному) формообразованию. Такое решение делает границу между областью форм одного слова и областью форм разных слов, между словоизменительным и классификационным формообразованием менее четкой. Эта граница, в частности, проходит внутри категорий вида и залога. Однако данное решение более точно отражает сложную гамму постепенных переходов между словоизменением и словообразованием.

*

В этой статье мы рассмотрели лишь те членения МК, которые имеют непосредственное отношение к вопросу о словоизменении, формообразовании и словообразовании. Представим теперь в виде возможной схемы классификации МК, основанные на иных признаках.

Отдельные членения МК могут быть объединены в три группировки: 1) собственно морфологические классификации (рассмотренные выше) по характеру формообразования в его отношении к лексике, 2) структурно-синтаксические, 3) содержательные.

Структурно-синтаксические классификации. По характеру синтагматического выявления МК могут быть разделены на два типа: 1) синтагматически слабые — не характеризующиеся регулярным синтагматическим выявлением в связях данной словоформы с другими словоформами (в русском языке таковы категории наклонения, времени и вида); 2) синтагматически сильные — обладающие указанным признаком (все остальные МК).

В рамках синтагматически сильных МК могут быть выделены две разновидности: а) синтагматически обусловливающие категории (род, число, отчасти падеж существительных, степени сравнения, залог); б) синтагматически обусловленные (род, число, падеж прилагательных, лицо, число и род глагола, отчасти падеж существительных) [22].

По признаку участия МК в построении структуры предложения, т. е. по признаку структурно-синтаксической значимости, могут быть выделены три типа МК: 1) категории, характеризующиеся постоянной синтаксической значимостью; для данного типа характерно постоянное, обязательное участие членов категории в построении структуры предложения; разные члены данной категории связаны с разными синтаксическими конструкциями (этот тип представляет залог глагола); 2) категории с переменной синтаксической значимостью; такие МК могут участвовать в построении синтаксической структуры предложения, но не всегда в своей конкретной репрезентации существенны в данном отношении; члены подобных категорий в одних случаях связаны с разными синтаксическими конструкциями, а в других — с одной и той же (такова категория падежа существительных: разные падежи и одни и те же

[22] Ср. синтаксические категории А. М. Пешковского, противопоставленные несинтаксическим по признаку обозначения зависимости одних слов в речи от других («Русский синтаксис в научном освещении», 7-е изд., М., 1956, стр. 30—33). Предлагаемая классификация отчасти перекрещивается с членением А. М. Пешковского, но не совпадает с ним.

падежные формы в разных функциях характеризуются разной степенью структурно-синтаксической значимости; таковы также категории вида, времени, наклонения, лица, числа и рода глагола); 3) категории, не обладающие синтаксической значимостью в том смысле, что разные члены таких МК не связаны с разными синтаксическими конструкциями (род и число существительных, род, число, падеж прилагательных); эти МК участвуют в выражении синтагматических связей между репрезентантами членов предложения, но от того, какой именно граммемой представлена данная категория в предложении, не зависит тип синтаксической структуры. Подчеркнем еще раз, что существует различие между «сильным» синтагматическим выявлением МК и ее структурно-синтаксической значимостью.

Содержательные классификации. Выделяются МК двух типов: 1) с семантической и 2) со структурной доминантой. В русском языке к последнему типу относятся род существительных, род, число и падеж прилагательных, род и число глагола (категории с доминирующей структурной функцией согласования), а к 1-му типу — все остальные МК.

Категории с семантической доминантой подразделяются на две группы: 1) категории преимущественно отражательного типа, в содержании которых преобладает отражение связей и отношений объективной действительности (наклонение, время, лицо глагола, число существительных, степени сравнения прилагательных и наречий, падеж существительных); 2) категории преимущественно интерпретационного типа, т. е. с преобладанием элементов языковой семантической интерпретации отношений, которые являются или могут быть одними и теми же в объективной действительности (наиболее ясно этот тип представляет залог глагола). Категория падежа, которую мы отнесли к 1-му типу, может проявлять и свойства 2-го (ср., например, соотношение падежей в активной и пассивной конструкциях). В категории вида сильно выражены как отражательные семантические элементы (такие, как длительность, повторяемость), так и интерпретационные (в частности, целостность действия — доминирующий различительный признак в системе видов).

Наконец, выделяются следующие два типа: 1) категории, участвующие, наряду с другими языковыми средствами, в передаче отношения содержания высказывания к действительности, устанавливаемого с позиции говорящего (ср. субъективно-объективные категории А. М. Пешковского и сходные понятия, называемые другими терминами); 2) категории, не участвующие в передаче указанного отношения. К 1-му типу в русском языке относятся категории наклонения, времени и лица, а также, вероятно, и вида — постольку, поскольку вид участвует в реализации функции локализованности/нелокализованности действия во времени; ко 2-му типу относятся все прочие МК.

Особого исследования требует установление связей между отдельными членениями МК — отношений зависимости и независимости между типами, выделенными по разным признакам. Определение этих отношений позволит перейти от совокупности отдельных классификаций к их системе.

Б. А. УСПЕНСКИЙ

ДОЛОМОНОСОВСКИЙ ПЕРИОД ОТЕЧЕСТВЕННОЙ РУСИСТИКИ: АДОДУРОВ И ТРЕДИАКОВСКИЙ

1. В настоящее время можно со всей определенностью утверждать, что «Российская грамматика» М. В. Ломоносова не была (как это считалось до сих пор) первым опытом кодификации русской речи, иначе говоря, первой грамматикой русского языка, предназначенной непосредственно для самих его носителей. Ей предшествовала в этом качестве грамматика В. Е. Адодурова, написанная (по всей видимости, в 1738—1740 гг.) по-русски, а затем (в 1750 г.) опубликованная в шведском переводе под именем переводчика М. Грёнинга [1]; это сочинение обозначается далее — Адодуров, Грамматика [2].

Рассмотрение этой грамматики, ее источников и ее последующей судьбы позволяет исследовать отношение лингвистических взглядов предшественников Ломоносова и говорить вообще об особом — д о л о м о н о с о в с к о м — периоде отечественной русистики, основными представителями которого являются В. Е. Адодуров и В. К. Тредиаковский, а также В. Н. Татищев.

Естественно, что в центре внимания находились при этом вопросы о р ф о г р а ф и и: орфография вообще играет доминирующую роль в самоосознании литературного языка, с другой же стороны, именно в графических различиях (начиная с противопоставления гражданской и церковной азбуки) с наибольшей наглядностью выражалось противопоставление русской и церковнославянской языковой стихии. При этом если правописание церковнославянских текстов опиралось на собственно орфографическую традицию, то правописание русских (иначе говоря, гражданских) текстов в той или иной степени могло приближаться к транскрипции реального произношения (но могло быть обусловлено, вообще говоря, как живым, так и книжным произношением).

---

[1] Это доказывается в работе: Б. А. У с п е н с к и й, Первая грамматика русского языка на родном языке, ВЯ, 1972, 6.

[2] Русский текст Грамматики Адодурова сохранился лишь частично в рукописи Библиотеки Академии наук (шифр 16.7.3). Более полный текст может быть восстановлен по переводу Грёнинга, см. изд.: M i c h a e l G r o e n i n g, Российская грамматика. Thet är Grammatica Russica eller Grundelig Handledning til Ryska Språket..., Stockholm, 1750 (далее — Адодуров, Грамматика, шведский перевод). Страницы при ссылках указываем по р у с с к о м у с п и с к у, если только специально не оговаривается обратное; ссылки на параграфы всегда относятся к п е р в о й ч а с т и Грамматики Адодурова.

Эту — пространную — грамматику Адодурова не следует смешивать с его более ранним кратким грамматическим очерком на немецком языке, см.: «Anfangs-Gründe der Rußischen Sprache», в изд.: «Teutsch-Lateinisch- und Rußisches Lexicon...», СПб., 1731 (далее — Адодуров, Очерк 1731 г.).

2. Вышеупомянутая (рукописная) Грамматика Адодурова была определенно известна Тредиаковскому, который использовал ее в своем знаменитом орфографическом трактате 1748 г. («Разговоръ между Чужестраннымъ человѣкомъ і Россійскімъ объ Ортографіі старінной і новой і о всемъ что прінадлежітъ къ сей матеріі», СПб., 1748. Далее —«Разговор об ортографии» [3]). Вместе с тем, рассмотрение трактата Тредиаковского позволяет реконструировать более полный текст этой грамматики, а также определить некоторые источники, которыми пользовались оба автора.

Прежде всего необходимо отметить общность принципиальных идей, касающихся устроения новой гражданской орфографии, у Адодурова и у Тредиаковского; особенно же знаменательно при этом то обстоятельство, что выражение этих идей в ряде случаев оказывается у них текстуально близким.

2.1. Для обоих авторов характерна вообще ориентация на устную речь (что прямо связано с отмеченным выше характером противопоставления церковнославянской и русской языковой стихии). Важно подчеркнуть, что именно в Грамматике Адодурова был впервые — на русской почве — провозглашен фонетический принцип (русской) орфографии, игравший затем столь большую роль как в орфографической теории Тредиаковского, так и в его практических рекомендациях.

Действительно, и Адодуров, и Тредиаковский выступают за фонетическое письмо (Ломоносов, как известно, окажется позднее более консервативным в этом отношении). Это касается как самого инвентаря знаков, так и правил их сочетаемости. В первом случае эта позиция выражается в призыве исключить лишние буквы из алфавита. «Для правилного изображенїя словъ и рѣчей надлежало бы имѣт то, что столко особливыхъ знаковъ, сколко есть въ котором ꙗзыкѣ особливых голосовъ или звонов, слова̀ того языка составляющихъ»,— пишет Адодуров, и с этих позиций критикует русскую гражданскую азбуку, в которой «нѣкоторыя гласы двумя или тремя знаками изявляются, и притом еще одинъ знакъ [имеется в виду буква ъ — *Б. У.*] весма никакого гласа не значащїи» (Грамматика, § 4, стр. 3—4, ср. также § 15, стр. 7—10). Точно такого же мнения и Тредиаковский («Разговор об ортографии», стр. 108), который также считает, что «лішніе буквы всеконечно долженствуютъ быть выключе́ны isъ нашея ортографіі», и, как известно, основывается на этом положении в изобретенной им орфографии.

Во втором случае речь идет о требовании фонетических написаний, отражающих позиционные изменения звуков. В Грамматике Адодурова говорится, что «должны мы... во первых самое произношенїе почитат за нше главное правило и оному въ писмѣ сколко можно точно послѣдоват» (§ 61, стр. 60, см. также §§ 23—24, стр. 12—17); уже во вторую очередь учитываются этимологический и другие критерии. Еще более последовательно высказывается та же мысль в «Разговоре об ортографии» (стр. 94, 277—283, 410, 415—416) [4]; от этого положения, между прочим, Тредиаковский не отказывается и в дальнейшем, когда он не настаивает уже на той специальной орфографии, описание которой содержится в его трактате 1748 г.: ср. в «Предуведомлении» к первому тому переведенной им «Рим-

---

[3] Ссылки на данное издание, равно как и на указанные выше сочинения Адодурова, даются в дальнейшем непосредственно в тексте настоящей статьи. Разрядка в цитатах во всех случаях принадлежит автору статьи.

[4] Ср. разбор соответствующих высказываний Тредиаковского у Г. О. Винокура в статье «Орфографическая теория Тредиаковского» (Г. О. Винокур, Избранные работы по русскому языку. М., 1959, стр. 468—489).

ской истории» Роллена: «Орѳографїя моя́, большою частїю, есть по изглашенїю для слуха, а не по произведенїю ради о́ка» [5].

Концептуальная общность Адодурова и Тредиаковского проявляется при этом и в конкретной реализации соответствующих идей. Так, оба автора считают явлением одного порядка позиционные фонетические изменения (типа оглушения звонких согласных и т. п.) и морфологизированные звуковые чередования [6], что в общем отрицательно сказывается на провозглашаемых ими принципах фонетического письма [7]. Вместе с тем, следует отметить, что соответствующая трактовка обусловлена, по-видимому, стремлением приспособить заимствованную из славянской грамматической традиции категорию «изменяемых», или «переменяющихся», согласных к описанию живой русской речи [8], т. е. влить в данный термин принципиально новое содержание.

Любопытно, что как у того, так и у другого автора орфографические реформы ограничиваются главным образом областью консонантизма и почти совсем не касаются вокализма.

2.2. В Грамматике Адодурова настойчиво проводится мысль об условном характере как произносительной, так и орфографической нормы, вполне созвучная позднейшим высказываниям Тредиаковского. См. у Адодурова: «Знаки которыми человѣческая рѣчь въ писмѣ изображается... сами по себѣ никакова схо^{д}ства съ тѣми звонами или гласами не имѣюю^{т} [sic!], изъ которыхъ слова составляются, но сїе знаменованїе придано имъ о^{т} одного токмо согласїя, или произволенїя людей и для того нѣтъ въ томъ никакой силы, каки^{м} бы знакомъ который голось или зво^{н} спе^{р}ва изображенъ ни бы^{л}» (§ 3, стр. 2—3); «понеже прои^{з}ношенїе словъ и рѣчей утве^{р}ждае^{т}ся на о^{д}но^{м} то^{л}ко сои^{з}воленїи людей, которые въ само^{м} началѣ о причина^{х} таки^{х} вѣщей може^{т} бы^{т} и не ра^{з}суждали то не дивно, что не всегда тому мо^{ж}но сыскива^{т} по^{д}линную причину для чего они одно слово такъ а другое инакъ стали выговарива^{т}» (§ 61, стр. 59—60). Близкие замечания на ту же тему можно найти и в «Разговоре об ортографии». По Тредиаковскому, орфография изображает «по проiѕволенiю, иѕвѣсныi го́лоса нашего ѕвоны, i ѕвоновъ раѕныi способы; а целыя слова́ не ѕначатъ ѕвоновъ, нi iхъ способовъ, но самыЕ вешчi iмi ıѕображаЕмыЕ, по обшчему всего како́ва нiбудь народа согласiю» (стр. 119—120). Или в другом месте того же сочинения: «какъ буква, такъ i складъ Есть про́iѕвольный ѕнакъ, лiбо ѕвона проiсходяшчаго отъ нашего го́лоса, лiбо Его растворенiя» (стр. 25) [9]. О том же пишет Тредиаковский и в более позднем рассуждении «О словѣ, или словесности», помещенном в качестве первой части «Предуведомления» к VII тому «Римской истории» [10].

---

[5] «Предувѣдомленїе отъ трудившагося въ переводѣ», в изд.: [Ш.] Ролленъ, Римская история..., I, СПб., 1761, стр. 28 спец. пагинации.

[6] См. §§ 26 и сл. адодуровской Грамматики. О Тредиаковском см. специально: Г. О. Винокур, указ. соч., стр. 476—477, 488.

[7] Ср. в этом отношении критику орфографических принципов Тредиаковского у Г. О. Винокура (там же).

[8] Понятие «изменяемых» («переменяющихся») согласных заимствовано Адодуровым и Тредиаковским, вероятно, из грамматики Смотрицкого, но распространено за счет позиционных альтернаций: тем самым этимологически обусловленные чередования отождествляются здесь с изменениями типа сандхи и т. п.

[9] Под «растворением звона» (или «способом звона») Тредиаковский понимает согласные звуки, тогда как гласным соответствуют собственно «звоны» в чистом виде. См. «Разговор об ортографии», стр. 23.

[10] См. изд.: [Ш.] Ролленъ, Римская история..., VII, СПб., 1763, стр. XI. Ср.: С. А. Копорский, Забытые страницы В. К. Тредиаковского «О слове, или словесности», «Уч. зап. МОПИ», C («Труды кафедры русского языка», 6), 1961, стр. 292—293.

Отсюда первостепенное вообще значение придается «общему (resp.: обыкновенному) употреблению» (или, в частном случае, «общему произношению») как критерию языковой правильности. Соответствующую ссылку неоднократно встречаем в Грамматике Адодурова [§§ 23, 24, 29, 56, 61, стр. 15, 16, 19, 43—44, 59, а также §§ 73, 90, 95, 97, 100, дошедшие до нас, ввиду лакуны в русском списке Грамматики, лишь в шведском переводе М. Грёнинга (см. здесь соответственно стр. 40, 41, 50, 52, 54, 55); ср. еще ссылку на «нынешнее употребление» в §§ 110, 115, стр. 124, 130, а также программное заявление о необходимости следовать «доброму употреблению» в предисловии к Грамматике (стр. 2)] [11]. Апелляция к «общему употреблению» (resp.: «произношению») в высшей степени характерна и для «Разговора об ортографии» Тредиаковского (стр. 45, а также примеч. к этой странице, 63, 68 примеч., 94, 370—371, 373, ср. еще стр. 405, 462). Следует заметить, что такого рода ссылку можно встретить и в более ранних работах как того, так и другого автора (ср. ниже).

2.3. Мы можем сказать вообще, что Адодурова и Тредиаковского объединяет представление о самостоятельности и независимости гражданской орфографии, связанное с отчетливым стремлением противопоставить русское и церковнославянское правописание подобно тому, как противопоставлены русская гражданская и церковная азбука; отсюда именно и стремление к радикальной перестройке гражданской орфографии. Это проявляется, между прочим, при написании заимствованных слов, которое, по мысли как того, так и другого автора, должно основываться на произношении соответствующих слов, но не на орфографии того языка, откуда они были заимствованы,— как это характерно, между тем, для церковнославянской письменности [12]. Опять-таки, и в этом случае можно констатировать отмеченный выше характер противопоставления церковной и гражданской орфографии: первая продолжает собственно орфографическую традицию, которая может достаточно сильно отклоняться от произносительной нормы, вторая ориентирована именно на фонетику. С известным огрублением можно сказать, что церковнославянская орфография ориентируется в этих случаях на транслитерацию, а противостоящая ей русская гражданская орфография — на транскрипцию.

См. об этом в §§ 77, 72 Грамматики Адодурова и, с другой стороны, на стр. 68—69, 99, 118—119, 124 и сл., 342—353 «Разговора об ортографии». При этом важно отметить текстуальную близость обоих источников. Ср.:

---

[11] Характерно, что являясь вообще сторонником фонетического принципа орфографии, Адодуров не решается, однако, реализовать этот принцип в тех случаях, когда он определенно противоречит «общему употреблению». Так, говоря об отражении на письме того или иного фонетического явления, Адодуров может специально оговариваться, что «общее употребленїе того во всѣˣ случая [sic!] еще не поᵈтреᵖждаетᵀ [sic! читай: «подтверждаетъ».— *Б. У.*] (§ 23, пункт VI, стр. 15) или же даже что хотя «то оᵇщее всѣˣ *людей произношенїе* поᵈтвеᵖждаетъ оᵈнакоᵡ во употребленїе еще не вошло» (§ 29, стр. 19) и что многие слова «обыкновенныᴹ оᵇразоᴹ весма инако пишуᵀся нежели какъ они выговариваются» (§ 24, стр. 16—17).

«Общее (обыкновенное) употребление» выступает, тем самым, для Адодурова как последняя и окончательная инстанция. Следует сказать, что Тредиаковский гораздо более радикален в отношении фонетического письма, хотя и он может признавать, что «многїя Ешче слова» пишет «не по звону, но по обыкновенїю» (стр. 282).

[12] Ср. в грамматике Смотрицкого: «Опа́снѡ про́чее блюдо́мо боу́ди: вогре́ческихъ рече́нїихъ, ѳрѳогра́фїи гре́ческой, в лати́нскихъ латі́нствѣй храни́мѣй бы́ти: и̑ во є̑вре́йскихъ, є̑вре́йствѣй» ([М е л е т и й С м о т р и ц к и й], Грамматика, 2-е изд., М., 1648, л. 58 об. Ср. 1-е изд. этой грамматики — Евье, 1619, л. Б²). Соответствующее правило очень часто цитируется в сочинениях о церковнославянском языке.

Адодуров, Грамматика (§ 77, стр. 44 шведского перевода)[13]

..hwarföre skulle man påtaga sig sådane swårigheter, som ingen nytta med sig hafwa, och hwilka man ganska wäl kan wara förutan: och hwarföre skulle man öfwerlasta Ryska Språket med Reglor, som höra til Grekiska, Hebraiska och Latinska Språken, emedan thet med them ingen likhet hafwer: wille man theras Orthographie följa, så borde man äfwen hålla sig wid Turckiska, Persianska, Arabiska, Indianska och alla andra Språks Orthographie, hwilka thertil lika rätt äga.

Тредиаковский, «Разговор об ортографии» (стр. 345—346)

Какъ? ежелі кто россіанінъ захочетъ прямо пороссійскі писать; тому необходімо должно знать всѣ въ свѣтѣ языкі, нашімі буквамі по случаю іногда изображаемые? Надобно ему знать поіндійскі, поперсіцкі, поарапскі, потурецкі, покітайскі, пояпонскі, поамеріканскі, помалабарскі, словомъ, надобно ему знать всея Европы, всея Asii, всея Афрікі, і всея Америкі всѣ на-все языкі...

Показательно, что непосредственно перед этим в обоих источниках обсуждается правописание одних и тех же форм: *ангелъ — аггелъ*, *Панкратій — Пагкратій*.

В соответствии с изложенной установкой как Адодуров, так и Тредиаковский считают возможным исключить из гражданской орфографии фиту: см. § 72 адодуровской Грамматики (ср. еще § 5 шведского перевода; то же и в адодуровском очерке 1731 г., стр. 3) и «Разговор об ортографии», стр. 158—166, 183—191, 61—64. Особенно же знаменательно, что оба автора совершенно одинаково полемизируют с мнением, высказанным в свое время Федором Поликарповым, который призывал в своем трехъязычном букваре сохранять различие между *ф* и *ѳ*, ссылаясь на то, что если *Ѳеодор* (через *ѳ*) означает по-гречески «богодар», то *Феодор* (через *ф*) означает «змиодар» [14]. Ср.:

Адодуров, Грамматика (§ 72, стр. 79)

...какое различїе произошли бы въ томъ и въ самом знаменованїи буде бы слово *Ѳеодор* у насъ чре [sic! читай: «чрезъ».— *Б. У.*] *ф* написано было; напрасно нѣкоторые думаютъ бутто *Ѳеодор* написанное чрез *ф* значит *дар змїй* а тож слово изображенное лїтерою *ѳ* на нашем языкѣ изявляетъ *дар Бжїй*, для того что змїи у грековъ называется не θεὸς [sic! Должно быть: φεος.— *Б. У.*], но ὄφις.

Тредиаковский, «Разговор об ортографии» (стр. 186—187)

...(ф), напісанный вмѣсто (ѳ), не перемѣнітъ, ні істребітъ знаменованія въ словѣ Феодоръ... Праведно, что слово Ѳеодоръ на греческомъ языкѣ, напісанное чрезъ (Ѳ), значітъ *божій даръ*; но весьма ложно, что оножъ значітъ, *змієвъ даръ*, напісанное чрезъ (Ф), длятого что погрецкі змій не φέος но ὄφις.

Рассмотрение вопроса о фите дает возможность Адодурову, а вслед за ним и Тредиаковскому, противопоставить не только правописание, но и произношение грецизмов в церковном и гражданском языке. Так, весьма

[13] Этот параграф не вписан в русский текст и дошел до нас только в шведском переводе М. Грёнинга.

[14] См.: [Ф. П. Поликарпов], Бѣквáрь славéнскими, грéческими, рúмскими пúсмены..., М., 1701, л. 7.

знаменательное указание адодуровской Грамматики (§ 69, стр. 75—76), что «нн҃ѣ и въ приняты^{x} и^{з} греческаго языка слова^{x} [а не только в греческих словах, пришедших через латынь.— *Б. У.*] вмѣсто ϑ по бо^{л}шой части употребляе^{т}ся *т*», причем приводятся примеры: *театръ*, *кате^{д}ра*, *тронъ*, но отмечается, что это правило не распространяется на некоторые имена собственные [15],— вполне соответствует аналогичному заявлению Тредиаковского в «Разговоре об ортографии». Говоря о произношении русских слов, соответствующих греческим формам θεολογία, θέμα, μαθηματική, Тредиаковский свидетельствует, что «нынѣ Едва, і Едва лі Ешче, кто можетъ найтісь, который бы іхъ [эти слова.— *Б. У.*] не чресъ (т) выговарівалъ сімъ образомъ: Теологіа, Тема, Математіка: і потому, не токмо въ семъ нікако́ва грѣха не находятъ, но ешче сіе самое і за красоту почітаютъ. Напротівъ того,— отмечает, вместе с тем, Тредиаковский, — ніктожъ не проізнесетъ у насъ сіхъ греческіхъ словъ, Θεράποντα, Θεοδόσιον, Терапонтомъ, Теодосіемъ; но всѣ выговарівають Ферапонтомъ, Феодосіемъ» (стр. 189—190). Еще определеннее Тредиаковский высказывается на этот счет в предисловии к «Тилемахиде», где фигурируют, между прочим, те же самые примеры, которые приводит в своей грамматике Адодуров: «Званія внѣшнихъ или гражданскихъ Наукъ, гласятъ у насъ нынѣ обыкновеннѣе по выговору За́падныхъ. На примѣръ, пишемъ и произносимъ мы... *Тронъ*, а не *Θронъ*; *Театръ*, а не *Θеатръ*...». И далее: «въ Гражданскомъ языкѣ писать бы по З а́ п а д н ы х ъ Выговору, а въ Цѣрковнейшемъ нѣсколько по В о с т о ч н ы х ъ и Правописанію для взора и Произношенію для слуха» [16].

В приведенных цитатах особенно наглядно проявляется стремление определить специальные нормы с в е т с к о г о книжного языка, противопоставляемого языку церковнославянскому и в принципе ему равноправного.

2.4. Достаточно показательные совпадения оба автора обнаруживают и при рассмотрении букв ъ и ь.

Если в Грамматике Адодурова сообщается, что буква ь «имѣетъ силу половину гласныя лїтеры ї» (§ 14, стр. 7) [17], то такую же точно формулировку можно встретить и в «Разговоре об ортографии» Тредиаковского: «нашъ (ь), Есть половіна буквы (і)» (стр. 34 примеч.) [18], причем в другом месте данного сочинения Тредиаковский специально отмечает, что данное положение в ы с к а з ы в а л о с ь у ж е н е о д н о к р а т н о (см. стр. 47—48); очень вероятно, что при этом имеются в виду как раз сочинения Адодурова.

Адодуров выступает в своей Грамматике противником буквы ъ и предлагает исключить эту букву из гражданской азбуки. По его словам, «ъ не изъявляе^{т} никакого члвческагѡ голоса и для того въ прои^{з}ношенїи словъ ничего не спосо^{б}ствуетъ сїе подае^{т} праве^{д}ную причину почитать сей знакъ въ нн҃ей а^{з}букѣ за и^{з}лишней... ежели бы онъ и^{з} числа нн҃и^{x} лї-

[15] Личные собственные имена (входящие в православные святцы) относились по преимуществу к церковнославянскому языку, см.: Б. А. У с п е н с к и й, Из истории русских канонических имен, М., 1969.

[16] «Предъизъясненїе объ Ироїческой Пїимѣ», в изд.: В. Т р е д и а к о в с к и й, Тилемахида..., I, СПб., 1766, стр. LIX—LXI. Ср. о том же еще и в «Предуведомлении» к первому тому «Римской истории» (стр. 29 спец. пагинации): «при Греческихъ именахъ слѣдую, в нынѣшнемъ Гражданствѣ, больше Западному, а не Восточному произношенїю».

[17] Соответствующие указания можно найти и в более ранних сочинениях Адодурова, см. об этом: Б. А. У с п е н с к и й, Первая грамматика..., стр. 94.

[18] Ср. еще у Тредиаковского во второй редакции статьи «Объ окончанїи прилагательныхъ именъ» (1755): «зна́къ сей (ь), есть не-что́ ино́е, какъ-то́ жъ са́мое (и), но токмо осла́бленное зво́номъ». См. изд.: П. П е к а р с к и й, Дополнительные известия для биографии Ломоносова, СПб., 1865, стр. 106.

тер^{р} об^{б}щим^{м} согласїем^{м} бы^{л} выключенъ то бы не... произошло от^{т}того въ из^{з}браженїи нѣми^{х} рѣчей лїтерами ни какой неспособ^{б}ности» (§ 15, стр. 7—8). Возможность исключения буквы ъ обсуждает затем и Тредиаковский в «Разговоре об ортографии» (стр. 220—222) — с некоторым полемическим оттенком, направленным, видимо, против предложения Адодурова; при этом он ссылается на те же примеры (*подъемлю*, *объявляю*), которые фигурируют в Грамматике Адодурова, а отчасти и в его предшествующих работах [19]. Тредиаковский, который не является, вообще говоря, сторонником самой идеи, тем не менее, упоминает в этой связи о принципиальной возможности использовать в подобных случаях апостроф или дефис (об-являю, с-Едаю и т. п.). Замечательно, что оба способа (*под-емлю*, *под'емлю*) можно найти в шведском переводе адодуровской Грамматики — во фразе, отсутствующей в русском списке (§ 5, стр. 9 шведского перевода). Если согласиться с предположением, что разночтения русского и шведского текстов объясняются разными редакциями исходного текста, а не инициативой шведского переводчика [20], то и этот пример, очевидно, свидетельствует о знакомстве Тредиаковского с данной грамматикой.

Тредиаковский повторяет и мнение Адодурова, что ер (ъ) вообще не является буквой в собственном смысле этого слова; оба грамматиста более или менее последовательно именуют ер не буквой, а з н а к о м. Однако, в отличие от Тредиаковского, который в точности так же трактует и букву ь, Адодуров считает ерь буквой, определяя ее как «полгласную литеру»; см. §§ 4, 15, 16 Грамматики Адодурова (стр. 4, 7—10) и стр. 47, 19—20, 69—70, 112 трактата Тредиаковского. Добавим, что и Адодуров (Грамматика, § 16, стр. 10) и Тредиаковский («Разговор об ортографии», стр. 70) возражают против идущего от Мелетия Смотрицкого определения еров как «припряжногласных».

2.5. Наконец, и принципы слогоделения, описываемые в §§ 78—89 адодуровской Грамматики чрезвычайно близки к тому способу деления на слоги, который излагается у Тредиаковского («Разговор об ортографии», стр. 423—427). Ср.:

Адодуров, Грамматика (§§ 83—87, стр. 47—48 шведского перевода) [21]	Тредиаковский, «Разговор об ортографии» (стр. 423—427)
När en medljudande bokstaf kommer at stå emellan twenne sielfljudande bokstäfwer, så måste then fogas til sista stafwelsen, och icke lemnas wid then första, som sielfwa uttalet tydeligen med sig bringer (§ 83, стр. 47).	Ежелі... между двѣмя гласными, ілі двугласными... найдется одна буква согласная; то оная пріналежать долженствуЕтъ ко второй, тоЕсть къ послѣдующей гласной, ілі двугласной: пріčіна сему, натура нашего проіsношенія (стр. 423)
...skulle twenne lika medljudande bokstäfwer komma at stå emellan twenne sielfljudande uti et ord, tå hörer then första medljudande bokstafwen til then första stafwelsen, och then sista til then senare (§ 84, стр. 47).	Буде... между двѣмя гласными... найдутся двѣ буквы согласныЕ... одінакіЕ обѣ, тоЕсть, ілі двоі (б), ілі два (д) і прочая, то одна изъ сіхъ долженствуЕтъ пріналежать къ предідушчей гласной, а другая къ послѣдующей (стр. 423).

[19] Ср.: Б. А. У с п е н с к и й, Первая грамматика..., стр. 93—94.

[20] Подробную аргументацию см. в нашей цитированной статье («Первая грамматика...», стр. 90—96).

[21] Соответствующие параграфы дошли до нас лишь в шведском переводе.

...sådane medljudande bokstäfwer midt uti orden icke skiljas, hwilka i början af ordet kunna förenas (§ 86, стр. 48, ср. также § 85, стр. 47).	...ежелі которыѣ согласныѣ начінаютъ самый первый складъ въ словѣ; то тѣ і въ срединѣ начінаютъ же новый складъ, тоѣсть, не къ предідушчей, но къ послѣдуюшчей прінадлежатъ гласной (стр. 425).
Sammansatte ord åtskiljas i the delar, af hwilka the sammanfogade äro (§ 87, стр. 48).	*Сложныя слова должно...* раздѣліть на тѣ чáсти, изъ которыхъ оні слагаются (стр. 426—427).

Показательно также признание в некоторых случаях возможности разного деления на слоги одного и того же слова, причем оба автора даже приводят один и тот же пример: *пе-рвый* и *пер-вый* (§ 85 у Адодурова; стр. 424 у Тредиаковского). Следует подчеркнуть, что мы имеем здесь описание специального слогоделения гражданских текстов, отчетливо противопоставленного слогоделению церковных книг [22]. Это противопоставление в дальнейшем проявлялось на письме при переносе со строки на строку, а в процессе обучения грамоте — при чтении по складам [23].

2.6. Список совпадений между указанными сочинениями Адодурова и Тредиаковского можно продолжить, сославшись на ряд более частных замечаний или рекомендаций.

Предложение ввести в алфавит букву *г* для передачи взрывного [*g*], которое отсутствует в дошедшем до нас русском списке Грамматики Адодурова, но содержится в ее шведском переводе (см. § 5, стр. 5 шведского перевода), так же как и в более раннем грамматическом Очерке Адодурова 1731 г. (стр. 3—4),— высказывает затем и Тредиаковский («Разговор об ортографии», стр. 380—383). Еще Я. К. Грот предполагал, что Адодуров и Тредиаковский могли заимствовать эту мысль один у другого [24]. Необходимо заметить, что введение в азбуку специального обозначения для взрывного [*g*] знаменует определенную легитимацию русской некнижной фонетики, т. е. признание возможности включения ее в сферу литературного (письменного) языка: в нормативном книжном произношении букве *г* соответствовал фрикативный [*γ*] [25].

Точно так же оба автора довольно близки в своей трактовке буквы *ы*, отмечая вообще ту трудность, которую представляет соответствующий звук для иностранцев, и, в частности, то обстоятельство, что последние произносят данную букву то как [*i*], то как [*u*] Ср.:

Адодуров, Грамматика (§ 58, стр. 55—56)	Тредиаковский, «Разговор об ортографии» (стр. 49—50)
Не меⁿшую трудность находятᵀ чужестранныя и при гласныˣ *ы* и *и* иногда проиᶻносятъ они сïе *ы* такъ, какъ самое *и* а иногда какъ	Полякí ея [буквы *ы.— Б. У.*] звонъ чісто проіsносятъ, для того что она есть іхъ (у) несокрашченое. Но всѣ прочіі европейцы едва,

[22] См.: Б. А. Успенский, Старинная система чтения по складам, ВЯ, 1970, 5, стр. 90.

[23] Ср. соответствующую разницу складов в букварях церковной и гражданской печати, а также различие в переносе слов в церковнославянских и в русских гражданских книгах.

[24] См.: Я. Грот, Филологические разыскания, II, 2-е изд., СПб., 1876, стр. 186, примеч. 2.

[25] См.: Б. А. Успенский, Архаическая система церковнославянского произношения, М., 1968, стр. 41—42.

у. Потомy что недостаетъ имъ въ своемъ языкѣ онаго гласа которой нашемy *ы* свойственно приличенъ или которой бы съ лїтъ: *ы* былъ совершенно сходенъ.

ілі Ешче Едва, развѣ чрезъ весьма долгоЕ обхожденіЕ прівыкшіі съ нашімі, могутъ Ея выговоріть... оні всегда проіsносятъ Ея ілі какъ простоЕ (і) ілі какъ французскоЕ (ou).

Замечание о соответствии русской буквы *ы* и польской буквы *у*, имеющееся у Тредиаковского, отсутствует в Грамматике Адодурова, но содержится, между тем, в его кратком Очерке 1731 г. (стр. 5).

Не меньшее сходство наблюдается и в трактовке позиционного поведения звуков. Так, наблюдение о несочетаемости «двоегласных» букв *я* и *ю* с буквами *ж*, *ч*, *ш* (*щ*), а также с *г* (*г*), *к*, *х*, которое встречаем в Грамматике Адодурова (§ 64, стр. 68) [26], повторяется затем и у Тредиаковского («Разговор об ортографии», стр. 408—409), причем оба автора могут даже ссылаться на один и тот же пример: «*чудо*, а не *чюдо*». Предположение о влиянии Адодурова на Тредиаковского в данном случае тем более вероятно, что в ранних своих произведениях Тредиаковский совсем не следовал этому правилу, а более или менее регулярно писал, напротив, *чювство*, *очюнь*, *плачютъ* и т. п. (см. эти и подобные формы в «Езде в остров любви» 1730 г.).

То же относится и к замечаниям об ассимиляции согласных, ср., например, об ассимиляции *з* > *ж*, *с* > *ш* в § 23 (пункт VI; стр. 14—15) Грамматики Адодурова и на стр. 410 трактата Тредиаковского. В §§ 23—24 своей Грамматики Адодуров формулирует общую тенденцию русского произношения, согласно которой перед «умягченными» (т. е. звонкими) полагаются обычно также «умягченные», а перед «жестокими» (т. е. глухими) — «жестокие» же (стр. 12—17). Очень близкую формулировку можно найти затем у Тредиаковского, который называет звонкие «мяхкими», а глухие «твердыми»: «выговоръ россійскій соЕдіняЕтъ мяхкіЕ буквы съ мяхкімі, а твердыЕ съ твердымі» («Разговор об ортографии», стр. 404). По мысли обоих грамматистов, это явление должно отражаться на правописании.

Уместно отметить в этой связи, что оба автора, называя «мягкими» (или «умягченными») звонкие согласные, считают возможным одновременно говорить при этом, что буква *ъ* «умягчает» предшествующий согласный [см. § 14 Грамматики Адодурова (стр. 7) [27] и стр. 223 «Разговора об ортографии» Тредиаковского], т. е. используют соответствующий термин в существенно отличном значении. Подобная непоследовательность

---

[26] Это наблюдение, между прочим, дает повод Адодурову сделать следующее замечание: «вмѣсто гласного *е* въ словѣ *очень* многїе кладутъ двоегласное *ю* которое какъ для согласныя лїтеры ч, в семъ слогѣ стоятъ не можетъ, но долженствовалo бы... перемѣнено бытъ въ лїтеру *у*, такъ противно то и наилучшему произношенїю, для того что всѣ которымъ мы въ томъ должны послѣдовать, выговариваютъ сїе слово *очень* а не *очунь*, нижѣ *очюнь*...» (§ 65, стр. 69).

Едва ли может быть сомнение в том, что это замечание полемически направлено против Тредиаковского, для которого форма *очюнь* была (в свое время) настолько характерна, что могла служить даже объектом насмешек. Так, Сумароков в пародийной комедии «Тресотиниус» (1750) специально передразнивает эту манеру Тредиаковского, выводимого под именем Тресотиниуса: «Т р е с о т и н і у с ъ. Однакожъ, не поскучитель послушать, а пѣсенка сочинена *очюнь*, *очюнь*, подлинно говорю, что *очюнь* хорошо... К л а р и с а. *Очень* сударь хорошо; я вамъ вѣрю, что ета пѣсня хороша» (А. П. С у м а р о к о в, Полное собрание всех сочинений в стихах и прозе, 2-е изд., ч. V, М., 1787, стр. 301).

[27] Эта омонимия сохранена и в шведском переводе. Ср. здесь, на стр. 8 и 11, термин *wek* в разных значениях: «мягкий» и «звонкий».

особенно наглядно демонстрирует близость Адодурова и Тредиаковского, которая проявляется не только в содержательном, но и в чисто формальном (в данном случае — терминологическом) плане.

3. Итак, сопоставление пространной грамматики Адодурова и «Разговора об ортографии» Тредиаковского обнаруживает целый ряд разительных совпадений, позволяя оценить то влияние, которое оказала адодуровская Грамматика на трактат Тредиаковского. Но в одном случае Тредиаковский, по-видимому, сообщает в своем сочинении о важном лингвистическом наблюдении Адодурова, н е в о ш е д ш е м в данную грамматику — во всяком случае в тот текст, который известен нам по единственному русскому списку и по шведскому переводу Грёнинга. Тредиаковский не называет прямо имени Адодурова (как не называет в других случаях Татищева и других современных ему авторов, на мнения которых он ссылается [28]), но указывает, что данное наблюдение «прімѣчено... прежде всѣхъ ісъ нашіхъ отъ такóва человѣка, бывшаго нѣкогда прі Академіі, который нынѣ і не въ такіе проніцаетъ мѣлочі, такъ что мы велікую імѣемъ прічіну, хваліться столькожъ ісрядствомъ его разума, сколько похваляемъ честные его поступкі, учтивое обхожденіе, і добронравіе» («Разговор об ортографии», стр. 148—149 примеч.); и в другом месте он говорит, что автор данного наблюдения — «нѣкто ісъ нашіхъ весма довольнаго ученія человѣкъ, котораго я къ себѣ дружбу почітаю» (там же, стр. 398). Уже Пекарский предположил, что речь идет при этом об Адодурове [29], который к 1748 г. уже оставил Академию и служил в сенате; едва ли можно сомневаться в справедливости этого предположения (его, кстати, безоговорочно принимает и Винокур [30]).

Это наблюдение Адодурова относится к аканью. Тредиаковский пересказывает его следующим образом: «Всѣ (о), во всемъ Россійскомъ проіsношеніі, проіsглашаются такъ, какъ того требуетъ звонъ. Но московскій языкъ, і сімъ самымъ первенствующій ісъ всѣхъ прочіхъ провінціальныхъ, проіsносітъ всѣ (о) ударяемыі сілою, какъ (о); но которыі не ударяются сілою, тѣ оный главнѣйшій выговоръ проіsносітъ какъ (а). Напрімѣръ, въ семъ словѣ ХОРОШО́, понеже оба первыі оны неударяемыі; то оні проіsносятся такъ, какъ бутто напісаны чресъ (а) сімъ образомъ: ХАРАШО́. Ономъ токмо третій (о) проіsносітся въ семъ словѣ, для того что тотъ Онъ сілою ударяется» («Разговор об ортографии», стр. 148—149 примеч.). И в другом месте: «въ московскомъ выговорѣ всѣ (о) неударяемыі за (а) проіsносятся. Прімѣръ: *малако́*, вмѣсто *молоко́*» (там же, стр. 398, ср. еще и на стр. 305, 368). Тредиаковский так комментирует это наблюдение: «поістіннѣ, сіе коль ні коротінькое пра́вило, однако всему языку равное: надобно токмо знать, которыі Оны ударяемыі, і которыі неударяемыі» («Разговор об ортографии», стр. 149 примеч.).

Мы можем только догадываться о том, почему данное наблюдение — действительно замечательное для своего времени — не вошло в тот текст Грамматики Адодурова, который имеется в нашем распоряжении. Од-

[28] Это вполне обычно для того времени. Характерно, что обращаясь осенью 1747 г. к Татищеву с просьбой прислать ему список «Рассуждения о буквах кирилловских» для опубликования в своем «Разговоре об ортографии», Тредиаковский считает нужным дать специальное обещание, что не будет открывать имени составителя «Рассуждения...» (см. переписку Татищева с Тредиаковским и Шумахером за 1747 г. в изд.: А. И. Андреев, Переписка В. Н. Татищева за 1746—1750 гг., «Исторический архив», VI, М.—Л., 1951). Итак, цитирование чужого мнения не предполагало ссылку на его автора и даже наоборот — в определенных случаях исключало ссылку такого рода.

[29] См.: П. Пекарский, История имп. Академии наук в Петербурге, I, СПб., 1870, стр. 506.

[30] См.: Г. О. Винокур, указ. соч., стр. 482.

нако, с известной вероятностью можно предположить, что соответствующее правило должно было войти в специальную часть Грамматики, посвященную «Просодии». В самом деле, в том плане грамматики, который представлен в самом ее начале («О грамматïкѣ во обще», стр. 1), предполагаются не три, а четыре части Грамматики, а именно: Орфография, Этимология (т. е. морфология), Синтаксис и Просодия, причем если в Орфографии надлежит «ра^{з}су^{ж}дать о лïтера^{х}, ихъ ра^{з}дѣленïи и употребленïи», то Просодия призвана сообщить, «какъ всякое въ рѣчи положе^{н}ное слово правилно выговарива^{т}»; см. еще об этом в § 102, где говорится, что в соответствующей части изъясняется, «какъ писмо^{м} изображе^{н}ную рѣчь, живы^{м} голосо^{м} прои^{з}нести, или прочитать до^{л}жно» (стр. 111). Можно сказать, что как орфография, так и просодия рассуждает об одном и том же предмете — соотношении фонетического и графического облика текста — но с противоположно направленных позиций: если в орфографии в тривиальном случае рассуждение ведется от звука к букве, то в просодии, напротив,— от буквы к звуку [31].

Между тем, в наиболее полном по составу текста шведском издании Грамматики Адодурова представлены только три первые части и отсутствует часть, посвященная «просодии».

Вместе с тем, еще в своем Очерке 1731 г. (стр. 48) Адодуров сообщал читателю, что он мог бы привести некоторые правила, относящиеся к просодии, но что изложение данных правил ему приходится оставить для более пространного сочинения. Мы вправе предположить, что речь идет при этом именно о наблюдении над аканьем: последнее могло быть отнесено к просодии как в узком значении этого термина (в связи с зависимостью аканья от ударения), так и в том более общем смысле, которое придается данному слову Адодуровым (как, видимо, и некоторыми дру-

---

[31] Если подобное деление грамматики соответствует вообще славянской, а в конечном счете и греческой грамматической традиции (см., в частности, грамматику Смотрицкого), то изложенное здесь понимание термина «просодия», кажется, в гораздо меньшей степени опирается на традицию. Так, например, у Смотрицкого хотя и подчеркивается неоднозначность данного термина, но отмечаются только следующие два его значения: просодия как учение о слогах в связи с правилами версификации и просодия как совокупность акцентных или вообще диакритических знаков (см. изд. 1619 г., л. Б$^{3\ об}$, или изд. 1648 г., л. 59). Мы можем сослаться, однако, на рукописный грамматический трактат 1725 г. под заглавием «Технолóгïа то есть художное собесѣдованïе ѡ грамматíческо^{м} художествѣ...» (рукопись Гос. Публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина, шифр: ИСРК F 1921.60), где соответствующие разделы грамматики определяются следующим образом: «Ὀрѳогрáфïа ὐчи́тъ знáть рáзнство пи́сменъ. Ѐтѵ̈мологíа речéнïй. Сѵ́нтаѯïсъ ὂныхъ речéнïй сложéнïе.. Просѡ́дïа же всѣ́хъ си́хъ глáсомъ произношéнïе» (стр. 7); и далее здесь же: «просѡ́дïа ѐ́сть познáнïе чрéзъ знáки прáвагѡ писáнïя и̓ произношéнïя и̓ли чтéнïя» (стр. 11). В свою очередь, чтение определяется здесь как «вторóе знáнïе, занѐ пé^{р}вое знáнïе бывáетъ чре̑з пи́смена» (стр. 196), и подразделяется «на прȃвое пи́сменъ произношéнïе, на ὐдарéнïе, на стрóчное препинáнïе, и̓ на поглáсицѹ» (стр. 197).

Можно полагать, что понимание термина «просодия», проявившееся как в «Технологии...» 1725 г., так и в Грамматике Адодурова, обусловлено непосредственным влиянием со стороны западноевропейских языков, где соответствующее слово, восходящее к лат. *accentus* может означать как «ударение», так и вообще «произношение» (ср., между прочим, сохранение последнего значения в русском заимствованном слове *акцент*). Установление лексической корреляции: «просодия — акцент» могло повлечь за собой изменение значения первого слова под влиянием второго.

Нетрудно усмотреть здесь тенденцию сохранить формальную схему славянской грамматики, влив в нее новое содержание. Выше мы отмечали уже проявление подобной тенденции в Грамматике Адодурова (в связи с термином «переменяющиеся» согласные, см. стр. 17 наст. работы).

гими авторами того времени) [32]. Это наблюдение, таким образом, должно было войти в заключительную часть Грамматики, до нас не дошедшую и, может быть, вообще не написанную. Выполнению первоначального плана могло помешать как прекращение публичных лекций при Академии наук осенью 1740 г., так и особенно отзыв Адодурова из Академии в апреле 1741 г.

Итак, орфографический трактат Тредиаковского 1748 г. может выступать в качестве источника, позволяющего судить о лингвистических взглядах Адодурова. Более того, в некоторых случаях этот источник может прямо способствовать реконструкции более полного текста адодуровской Грамматики.

Так, в §§ 116—117 Грамматики Адодурова мы встречаем упоминание о какой-то дискуссии относительно знаков препинания, имевшей место еще до написания этого сочинения. Свидетельство об этой дискуссии можно найти и у Тредиаковского, причем Тредиаковский приводит обширное рассуждение о знаках препинания, выбранное «isъ кнiшкі нѣкотораго не bessнатнаго пiсателя» («Разговор об ортографии», стр. 260—266, примеч.). С большой вероятностью можно полагать, что изложение этого же самого рассуждения должно было завершать первую часть Грамматики Адодурова (посвященную орфографии). В самом деле, в заключительной фразе дошедшего до нас отрывка русского текста Грамматики Адодурова (в русском списке представлена именно первая часть данной грамматики) автор обещает, «послѣдуя рассужденiю нѣкоторого писателя наши^{x} временъ», изложить правила употребления знаков препинания (стр. 133—134); однако же текст на этом обрывается, и соответствующие правила отсутствуют. (Что касается шведского перевода, то в нем вообще отсутствуют параграфы, посвященные знакам препинания, иначе говоря, §§ 115—118 первой части [33].) Есть все основания предполагать, что здесь имеется в виду тот же самый «не беззнатный писатель», о котором говорит Тредиаковский. Действительно, те немногие характеристики знаков препинания, которые даются в адодуровской Грамматике (причем автор ясно указывает в § 118, что эти характеристики принадлежат не ему), могут почти дословно совпадать с цитируемым у Тредиаковского рассуждением этого писателя. Ср.:

Адодуров, Грамматика (§ 117, стр. 132—133)	Рассуждение неизвестного автора, цитируемое у Тредиаковского («Разговор об ортографии», стр. 261—263 примеч).
Запятая съ точкою, значит^{т} смыслъ бо^{л}ше совершенный нежели одна запятая, а не такъ полной, какой и^{з}является чре^{з} двоеточiе (стр. 133).	Точка съ запятою... по содержанiю полняе нѣсколько запятыя, а меньше тѣмже содержанiемъ двоеточiя... (стр. 263)

[32] Ср. в этой связи в черновых материалах Ломоносова к «Российской грамматике»: «*Онъ* отъ *аза* для перемѣны удареній и для аналогіи знать, различать неотмѣнно надобно какъ *ѣ* от *е*, такъже и для перорацiи» (см.: М. В. Ломоносов, Полн. собр. соч., VII, М., 1952, стр. 691).

[33] Пропуск §§ 115—118 в шведском переводе может объясняется как раз тем, что раздел, посвященный употреблению знаков препинания, не был закончен в Грамматике Адодурова. Во всяком случае этот раздел не имеет конца в известном нам списке; можно предположить, что он не имел конца и в том оригинале, которым располагал шведский переводчик (М. Грёнинг), ввиду чего последний мог предпочесть вовсе выпустить весь соответствующий тематический раздел как незавершенный. Вполне вероятно, что данный раздел вообще не был дописан, поскольку далее (после § 118) должен был следовать не оригинальный текст, а изложение рассуждений данного «писателя» или даже прямая цитата из его сочинения; поэтому автор мог пропустить соответствующее место, а затем по тем или иным причинам к нему не вернуться.

Запятая употребляется для раздѣленїя имѣн, глаголовъ, наречїй, и такихъ частей в стихѣ [т. е. в предложении.— *Б. У.*], которыя между собою не по нуждѣ соединяются [34] (стр. 132).

Должность запятыя... разныя імена, глаголы, і другіе склоняемые часті, до одной надлежашчіе вешчі, раздѣлять (стр. 261—262).

4. Представленный выше фактический материал демонстрирует значительную близость лингвистической концепции Адодурова и Тредиаковского, давая возможность рассматривать пространную грамматику Адодурова как один из тех источников, которыми пользовался Тредиаковский при создании своего «Разговора об ортографии». Собственно говоря, это совершенно естественно, и дело вообще едва ли могло и обстоять иным образом. Адодуров и Тредиаковский были близко знакомы уже с осени 1730 г., когда только что возвратившийся из заграницы Тредиаковский жил на квартире у Адодурова, бывшего в то время академическим студентом [35].

Надо полагать, что именно по совету Адодурова Тредиаковский опубликовал в качестве приложения к переводу «Езды в остров любви» свои собственные стихотворные опыты. Действительно, в специальном предисловии к этому приложению («Извѣстїе читателю») Тредиаковский сообщает, что печатает свои стихи «по совѣту... пріятелей», которые ведают «въ стихахъ силу»: «ежелибъ онымъ [стихам.— *Б. У.*] здесь небыть, то бы имъ надлежало въ вѣчномъ безъизвѣстїи пропасть, чего имъ друзья мои вѣдущїя вь стихахъ силу непожелали» [36]. Едва ли возможно сомневаться, что речь идет при этом об Адодурове: ведь книга вышла в свет очень скоро после приезда Тредиаковского в Петербург, т. е. в период особенно тесных контактов между Адодуровым и Тредиаковским [37]. Тредиаковский вполне мог считать Адодурова «ведущим в стихах силу»: документально известно, что они обсуждали в то время поэтические произведения — так, Адодуров познакомил Тредиаковского с латинской одой Феофана Прокоповича на коронацию Петра II, которая произвела на Тредиаковского очень сильное впечатление [38].

[34] В тексте сначала говорится: «по нуждѣ не соединяются», но затем при пересказе этого места в § 118 (стр. 133) дается более осмысленное сочетание данных слов. В приведенной цитате произведена соответствующая конъектура.

[35] См.: П. Пекарский, История имп. Академии наук в Петербурге, I, СПб., 1870, стр. 504; II, СПб., 1873, стр. 18.

[36] См.: [П. Тальман], Езда в остров любви, СПб., 1730, стр. 150. Ср.: П. Н. Берков, Ломоносов и литературная полемика его времени. 1750—1765, М.— Л., 1936, стр. 27.

[37] Что касается формы множественного числа в приведенных цитатах, то, разумеется, вовсе не обязательно трактовать ее буквально — она имеет здесь значение неопределенности, что вообще характерно для стиля Тредиаковского. Доказательством сказанного может служить, между прочим, авторская правка в рукописном оригинале «Разговора об ортографии» (см.: Архив АН СССР, разряд II, оп. 1, ед. хр. 137). Здесь видно, как Тредиаковский более или менее последовательно исправлял форму единственного числа на безличное множественное (в случае глухих персональных ссылок такого же рода).

[38] В написанном летом 1734 г. «Рассужденїи о одѣ во обще» Тредиаковский так вспоминал об этом: «Я когда пріѣхалъ изъ Франціи въ Санктпетербургъ, и чрезъ пріятство одного мнѣ друга, въ Санктпетербургскои Императорскои Академїи наукъ, достоинаго Адъюнкта, лишъ въ первые сталъ читать сообщенную мнѣ ту Оду, и почувствовалъ Энтузїасмъ Ея превысокїи, то въ толь великїи Энтузїасмъ удивленія и самъ пришолъ, что не могъ, свидѣтельствуюся совѣстїю моею, удержаться, чтобъ съ дважды, или съ трижды не вскричать: БОЖЕ МОИ! Какъ эта Ода хорошо, и мастерски сдѣлана!» (см.: В. Тредиаковский, Ода торжественная о здаче города Гданска.., СПб., 1734). Несомненно, имеется в виду Адодуров, который был ко времени написания этих строк уже адъюнктом (с 1733 г.).

Позднее Адодурову приходилось переводить и немецкие стихи (см.: А. Куник, Сборник материалов для истории имп. Академии наук в XVIII веке, I, СПб., 1865,

Наконец, с начала 1735 г. Тредиаковского и Адодурова связывала и совместная работа в Российском собрании при Академии наук.

Текстуальная близость лингвистических выступлений Адодурова и Тредиаковского обнаруживается вообще уже с первых литературных дебютов того и другого. Достаточно указать, что знаменитая (хрестоматийная!) фраза Тредиаковского в предисловии к «Езде в остров любви»: «Языкъ славенскои нынѣ жестокъ моимъ ушамъ слышится» — находит дословное соответствие в грамматическом Очерке Адодурова 1731 г.: «nunmehro aller Slavonismus... einen greßlichen Laut in denen Ohren derer Heutigen erreget» (стр. 26) [39]; то обстоятельство, что Адодуров имел, видимо, ближайшее отношение к публикации «Езды в остров любви», делает это совпадение особенно знаменательным. Если считать, что очерк Адодурова переводился с русского (а не сочинялся непосредственно по-немецки), то следует предположить, что слово *greßlich* (в современном правописании: *gräßlich*) именно и представляет собой прямой перевод русского слова *жестокий* ~ *жесткий* [40]. Трудно с уверенностью сказать, какое произведение было раньше написано (что касается предисловия к «Езде в остров любви», то оно было сочинено Тредиаковским, по всей видимости, осенью 1730 г., по приезде в Петербург; между тем, подготовка издания, в котором был опубликован адодуровский очерк, началась, вообще говоря, еще до 1729 г., но сам очерк при этом мог быть написан и позднее). Важно, однако, иметь в виду, что у Адодурова эпитет *greßlich* «жестокий» выступает в противопоставлении к *zierlich* «нежный»: если церковнославянские формы характеризуются у Адодурова эпитетом *greßlich*, то соответствующие русские формы оцениваются как *zierlich*: так, здесь сообщается, что форма *питье* нѐжнее («zierlicher»), нежели *питїе*. Между тем, цитированное высказывание, как и указанное противопоставление, без преувеличения может считаться эпохальным: с одной стороны, оно знаменует очевидную переоценку ценностей, так как ранее положительный эпитет ожидался бы скорее применительно к церковнославянскому языку, а эпитет отрицательного значения — применительно к языку русскому; с другой стороны, отныне соответствующее противопоставление прочно входит в языковое сознание носителя литературного языка [41].

стр. 81, 83). Вполне закономерно, что именно Адодурову, вместе с Таубертом, было поручено в 1740 г. рассматривать известный спор Тредиаковского и Ломоносова о стихосложении.

[39] Ср.: B. O. Unbegaun, Russian grammars before Lomonosov, «Oxford Slavonic papers», VIII, 1958, стр. 110—111.

[40] Форма *жестокъ* не имеет акцента у Тредиаковского, но можно думать, что прилагательные *жестокий* и *жесткий* могли дифференцироваться лишь стилистически, но не семантически (ср. в этой связи: V. Kiparsky, Der Wortakzent der russischen Schriftsprache, Heidelberg, 1962, стр. 273).

К пониманию семантики слова *жест(о)кий* в данном употреблении можно сослаться на относящийся к тому же времени, что и цитируемые сочинения Тредиаковского и Адодурова (а именно, к 1730 г.) кантемировский перевод «Разговора о множестве миров» Фонтенеля. В предисловии Фонтенеля здесь говорится, что автор старался философию «привести въ такую мѣру, чтобъ была ни весьма жеска для всѣхъ общества людеи, ни гораздо шутлива для ученыхъ», причем к слову «жеска» Кантемир делает следующее примечание: «Жеска. Пофранцуски въ орїгїналѣ стоитъ *feche*, что въ семъ мѣстѣ значитъ своиство непрїятное, недающее ни какои забавы» (см. примеч. 3 к «Авторову предисловию» в изд.: [Б]. Фонтенелл, Разговоры о множестве миров, СПб., 1740).

[41] Отражение цитированной выше фразы нетрудно усмотреть, например, в «Наставлении хотящим быти писателями» А. П. Сумарокова (1774), где говорится, что «в пастушьих стихах», т. е. идиллиях, эклогах, «громкие слова чтеца ушам жестоки»; под «громкими» словами понимаются, несомненно, слова высокого слога. Точно так же и Батюшков в своем полемическом «Видении на берегах Леты» (1809) писал

В орфографических рекомендациях Тредиаковского 40-х годов в большой степени реализуются те предложения, которые были высказаны в том же адодуровском Очерке 1731 г. В самом деле, уже в Очерке 1731 г. (стр. 3) говорится о возможности исключить из русской (гражданской) азбуки буквы *з*, *и*, *ѳ*, заменив их соответственно через *s*, *ї*, *ф*, что и реализуется практически в орфографии Тредиаковского; то же относится и к предложению ввести букву *г* для обозначения взрывного [g], о чем уже упоминалось выше. Ср. еще замечание о противопоставлении церковной и гражданской пунктуации в Очерке 1731 г. (стр. 6), предвосхищающее соответствующие рекомендации Тредиаковского в «Разговоре об ортографии» (стр. 258—272). Наконец, именно в данном очерке Адодурова мы впервые находим ссылку на «обыкновенное употребление и произношение» («gewöhnliche Gebrauch und Aussprache», стр. 3), игравшую затем столь важную роль в стилистической теории и нормализаторской практике Тредиаковского.

Особенно же разительны текстуальные совпадения «Разговора об орфографии» Тредиаковского с более поздней п р о с т р а н н о й Грамматикой Адодурова, которые и были специально рассмотрены выше.

Ясно, что отмеченные совпадения, может быть, не всегда говорят о прямом заимствовании. При столь близких отношениях почти невозможно вообще определить, кому в конце концов принадлежала та или иная идея или формулировка: можно только фиксировать, кто первым ее публично высказал. Но мы вправе предположить, во всяком случае, что влияние Адодурова на лингвистические воззрения Тредиаковского было очень значительным.

В высшей степени знаменательной представляется сама общность интересов Тредиаковского и Адодурова. Тредиаковский также начинал работать над грамматикой русского языка — написать которую суждено было, однако, Адодурову. Так, в перечне обязанностей Тредиаковского, составленном при поступлении его на службу в Академию наук и подписанном президентом Академии Г. Кейзерлингом 14 октября 1733 г., говорится, что «помянутой Тредіаковскій ѡбязѣется... вычищáть ꙗзы́къ рѲской пи́шучи какъ стíхами, тáкъ и̑ не стíхами... ѡ к о н ч и́ т ь Г р а м м а т і к Ѳ, к о т ѡ́ р Ѳ ю ѣ́ н ъ н а ч а л ъ, и̑ трѲди́ться совокупно съ прочíими надъ Дíкціонаріемъ рѲскимъ» [42]. Нет никаких данных, которые позволяли бы предположить, что грамматика Тредиаковского была завершена, или вообще, что Тредиаковский сколько-нибудь далеко продвинулся в этом начинании. Что же касается начала данной грамматики — которое, в соответ-

позднее о поэтах-славеноруссах:

Их мысль на небеса вперенна,
Слова ж из Библии берут.
Стихи их хоть немного ж о с т к и,—
Но истинно варяго-росски.

У того же Батюшкова в сцене «Вечер у Кантемира», Кантемир говорит: «Я первый изгнал из языка нашего г р у б ы я с л о в а С л а в я н с к и я, чужестранныя, несвойственныя языку Русскому»; эпитет *грубый*, очевидно, выступает здесь как эквивалент слова *жесткий*.

Напротив, явления собственно русской языковой стихии с достаточной регулярностью могут характеризоваться эпитетом *нежный*. Так оценивается, например, аканье: по словам Тредиаковского («Разговор об ортографии», стр. 305), «н ѣ ж н ѣ й ш і й московскій выговоръ необходíмо проiзносítъ... (о), какъ (а)»; также и у Ломоносова в эпиграмме «Искусные певцы...» (1753 г.?) говорится, что

Великая Москва в ꙗзы́ке толь н е ж н а,
Что *А* произносить за *О* велит она.

Таким же образом могут характеризоваться вообще все явления, противопоставляемые в сознании носителя языка церковнославянской языковой стихии и, соответственно, ассоциируемые с «нынешним» языком.

[42] Цит. по кн.: П. П е к а р с к и й, История имп. Академии наук..., II, стр. 43; ср. соответствующие документы на французском языке в кн.: «Материалы для истории имп. Академии наук», II, СПб., 1886, стр. 392—393.

ствии с традицией, вероятно, было посвящено орфографии — то надо полагать, что соответствующие разделы легли в основу «Разговора об орфографии», а также работы о правописании прилагательных.

Замечательно при этом, что задачи, поставленные Академией наук перед Тредиаковским, совпадают с теми задачами, которые были сформулированы полтора года спустя самим Тредиаковским перед Российским собранием. Во вступительной речи Тредиаковского, обращенной к членам Российского собрания (произнесенной на первом заседании 14 марта 1735 г.), также говорится «о Грамматїкѣ доброй и исправной, согласной мудрыхъ употребленїю, и основанной на ономъ... и о дїкцїонарїѣ полномъ и довольномъ» [43]. Аналогично и в написанном позднее (11 октября 1736 г.) «Письме некоего россиянина...» Тредиаковский подчеркивал, что Российское собрание «учреждено... не только для поощрения и усовершенствования российского языка как в прозе, так и в стихах, но... также и для создания грамматики, коей до сих пор мы были лишены и каковая должна быть основана на наилучшем употреблении двора и людей искусных; а также, наконец, и для составления полного словаря» [44]. Таким образом, Тредиаковский — которому, по всей вероятности, и принадлежит вообще сама идея организации Российского собрания (видимо, по образцу Французской Академии) [45] — как бы переадресует Российскому собранию те задачи, которые первоначально стояли перед ним одним. Между тем, с деятельностью этого собрания в конечном счете и связано, видимо, создание пространной Грамматики Адодурова [46].

Если Тредиаковский начинал работать над грамматикой русского языка, предвосхищавшей Грамматику Адодурова, то Адодуров работал в свое время (в 1740 г.) над «Правилами российской орфографии» [47], предвосхищавшими орфографический трактат Тредиаковского. В свою очередь, если работа Тредиаковского над данной грамматикой русского языка отразилась, очевидно, в его орфографических работах, то, напротив, изыскания Адодурова в области русской (гражданской) орфографии вошли, по всей видимости, в первую часть его пространной грамматики.

Влияние Адодурова играло, может быть, не последнюю роль в хорошо известной эволюции взглядов Тредиаковского на русский литературный язык. Нельзя не заметить, по крайней мере, что декларативные заявления Тредиаковского об отказе от «славенщизны» более или менее совпадают хронологически именно со временем общения его с Адодуровым (1730—1742). Как бы то ни было, мы во всяком случае можем утверждать, что «Разговор об ортографии» Тредиаковского явился в той или иной мере проводником лингвистических взглядов Адодурова [48]. Доломоносовский период отечественной русистики и прежде всего деятельность Адодурова и Тредиаковского в значительной степени подготовили почву для появления как грамматики Ломоносова, так и последующих опытов кодификации русской речи.

[43] В. Тредиаковский, Речь... к членам Российского собрания..., СПб., 1735, стр. 6.

[44] Цит. по кн.: Тредиаковский, Стихотворения, Л., 1935, стр. 354.

[45] См.: П. Н. Берков, Ломоносов и литературная полемика его времени, стр. 25.

[46] Ср.: Б. А. Успенский, Первая грамматика..., стр. 97.

[47] См. там же, стр. 92—93.

[48] Действительно, многие идеи, которые приписывались как современниками, так и позднейшими исследователями Тредиаковскому, были впервые высказаны Адодуровым. Знаменательно, например, что в упоминавшейся выше сумароковской комедии «Тресотиниус», представляющей собой пародию на Тредиаковского, Тресотиниус-Тредиаковский учит писать *s* вместо *з*, употребляет форму *слатенька*; предполагалось, что по этим (и некоторым другим) признакам зрители должны были узнать Тредиаковского. Между тем, в действительности соответствующие орфографические рекомендации принадлежат, по всей видимости, Адодурову (насколько об этом можно судить вообще по дошедшим источникам).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1974

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

А. РОНА-ТАШ

ОБЩЕЕ НАСЛЕДИЕ ИЛИ ЗАИМСТВОВАНИЯ?

(К проблеме родства алтайских языков)

Среди многих причин того, что старая проблема родства алтайских языков еще не разрешена и дискутируется весьма остро [1], две являются особенно важными. Первая — историческая. Как сторонники, так и противники генетического родства алтайских языков, признают существование исторических контактов между алтайскими народами и языками после XIII в. Однако те, кто защищает идею генетического родства, склоняются к отрицанию возможности более ранних контактов и считают все соответствия, датируемые периодом до XIII в., общим наследием из протоалтайского языка. В то же время противники генетического родства полагают, что все соответствия, которые возникли ранее XIII в., являются заимствованиями. Они не пытаются при этом дифференцировать различные пласты заимствований и не ставят перед собой вопроса: не может ли древнейший слой этих общих черт быть обусловлен генетическим родством?

Другая причина — методологическая. Соответствия между языками могут быть обусловлены следующими факторами: 1) случайность; 2) типологическое сходство; 3) конвергенция из независимых исходных пунктов; 4) исторические условия. В свою очередь исторические причины многочисленны, и к ним относятся, например: а) генетическое родство; б) ареальные взаимоотношения (родственных и неродственных языков), обусловливающие общие ареальные черты, которые могут развиться в систему вторичных соответствий (языковой союз); в) общее влияние третьего языка (субстраты, внешнее влияние); г) исторические контакты, отражавшиеся в заимствованиях. Все факторы (за исключением случайности) порождают или могут породить регулярные соответствия, таким образом регулярность сама по себе не является критерием, с помощью которого можно было бы различать типы соответствий.

Необходимо разработать специальные методы исследования, а это особенно трудно в отношении алтайских языков, многие из которых не имеют древних языковых памятников и располагают довольно небольшим числом своих ветвей по сравнению с другими языковыми семьями. Ниже предлагается методика, большая часть приемов которой хорошо известна и используется в других отраслях исторической лингвистики, а некоторые из

---

[1] См.: А. М. Щ е р б а к, Об алтайской гипотезе в языкознании, ВЯ, 1959, 6; Дж. К л о у с о н, Лексикостатистическая оценка алтайской теории, ВЯ, 1969, 5; Н. А. Б а с к а к о в, Ареальная консолидация древнейших наречий и генетическое родство алтайских языков, ВЯ, 1970, 4; Л. Л и г е т и, Алтайская теория и лексикостатистика, ВЯ, 1971, 3; Г. Д ё р ф е р, Можно ли проблему родства алтайских языков разрешить с позиций индоевропеистики?, ВЯ, 1972, 3.

них привлекались также в алтайских исследованиях. Однако здесь эти методические приемы применялись в совокупности и на относительно однородном материале.

Одной из самых трудных проблем является разграничение общего наследия и древних заимствований. Те, кто придерживается точки зрения на заимствованный характер древнеалтайских соответствий, должны привести свои доводы. Несколько таких аргументов будет предложено ниже. Здесь будут рассмотрены, главным образом, чувашско-монгольские параллели и, в первую очередь, известные соответствия так называемого ротацизма и ламбдаизма, поскольку они принадлежат к гомогенной, с точки зрения фонологической, группе (конечно, подразделяемой на несколько хронологических и географических подгрупп, которые не всегда легко разграничить). Кроме того, эти соответствия, несомненно, относятся к более раннему периоду, нежели XIII в., и именно они рассматривались алтаистами как общее наследие. Со своей стороны, я не считаю их самым ранним общим фондом в алтайских языках.

Подчеркнем далее, что аргументы, приводимые ниже, разумеется, не могут быть признаны «абсолютными». Использование одного из них поможет только с большей или меньшей степенью вероятности отделить древние соответствия от заимствований. Но с показаниями совокупности этих аргументов, полученными в результате анализа значительного по своему объему материала, исследователь обязан считаться.

Этимологический аргумент. Если слово встречается в языках А и Б в регулярно соответствующих формах, но в языке А для него нет этимологии, тогда как его основа (и словопроизводный аффикс) могут быть найдены в языке Б, то это, скорее всего, заимствование в языке А из языка Б. Здесь всегда могут быть сделаны возражения, что основа слова и аффикс также существовали в языке А, но были там утрачены. Теоретически такая возможность не исключена; однако чем больше мы сможем представить примеров такого рода, что материалы для этимологии слов наличествуют в языке Б и отсутствуют в языке А, тем меньше вероятность «случайной» утраты соответствующих основ и аффиксов.

Рассмотрим несколько примеров [2]: М *boγorla* «перерезать горло; задушить» ← ПБ *boγorla-* < ПТ *boγaz* «горло»; М *ikire* «близнецы» ← ПБ *ikir* < ПТ *ekiz* «двойня» (о людях) < *eki* «два»; М *kiraγa* «сумерки перед рассветом» ← ПБ *qïraγ* < *qïraq* < ПТ *qïz-* «покраснеть»; М *türei* «голенище» ← ←ПБ *türei* < ПТ *tizei* < *tïz* «колено»; ПМ *uran* «мастер» ← ПБ *ur-* < < ПТ *uz-* < *ū-* «уметь»; М *uγur* «ступка» ← ПБ *uγur* < ПТ *uγuz* < *uγ-* «крошить; молоть»; М *aγurqai* «дыра, шахта» ← ПБ *aγur* < ПТ *aγïz* < *āγ* (Kašg.) «рот; щель; отверстие»; М *quluγubči* «шапка-ушанка» ← ПБ *quluγ* < < ПТ *qulqaq* «ухо», и др.

Семантико-исторический аргумент. Если слово встречается в языках А и Б в регулярно соответствующих формах, но имеет только одно конкретное или специализированное значение в языке А и в то же время гораздо более широкий круг значений в языке Б, то, вероятнее всего, что язык А заимствовал его из языка Б, хотя вполне возможно и другое объяснение, а именно — что вторичное ограничение значения могло произойти на почве языка А. Однако если число примеров с подобными семантиче-

[2] Ниже мы ограничиваемся приведением формы, которую мы считаем самой древней и которая восстанавливается на основе фактов данной языковой ветви. Эти реконструкции, однако, не могут быть отнесены к одному хронологическому уровню. Приняты сокращения: М — монгольский, Т — тюркский, тунг.— тунгусо-маньчжурский, ПБ — протобулгарский, ПМ — протомонгольский, ПТ — прототюркский, чув.— чувашский, ПТунг — прототунгусоманьчжурский, ПА — протоалтайский, ДТ — древнетюркский.

скими соотношениями достаточно велико, то такие слова с большой долей вероятности можно рассматривать как заимствования в языке А из языка Б. Примеры: М *samsa* «крылья носа» ← ПБ *samsa* (> чув. *sămsa* «нос»); М *qulki* «внутреннее ухо», М *quluγu* «ушная сера» ← ПБ *qulqaq* ~ *quluγ* < < ПТ *qulqaq* «ухо»; М *düli* «полдень, полночь» ← ПБ *dül* < ПТ *tüš* «время; место»; М *tölge* «гадание» ← ПБ *tölüg* < ПТ *tüš* «сон»; М *siri-* «закаливаться» (о металле) ← ПБ *sir* < ПТ *siz-* «плавиться»; М *tala* «равнина, степь» ← ПБ *tal* < ПТ *taš/tïš* «внешняя сторона».

Свидетельство синонимов. Если два синонима обозначают один предмет в языке А и один из этих синонимов наличествует также в языке Б, то вполне возможно, что он является заимствованием в языке А. Конечно, могут быть возражения и здесь. Прежде всего, в языке нет абсолютных синонимов; в то же время синонимы могут развиваться также в пределах одного языка. Тем не менее, при условии всестороннего анализа синонимов этот критерий также может быть применен для разграничения генетических соответствий и заимствований. Например: М *körü* «камень» и М *čilaγun* «камень» ←ПБ *tïl* < ПТ *täš* «камень»; М *jilbi* «молозиво» и М *uγuraγ* «молозиво» ← ПБ *uγur* < ПТ *aγuz* «молозиво»; М *elesün* «песок» и М *qumaki* «песок» ← ПБ *qumaq* < ПТ *qum* «песок»; М *sidüleng* «трехлетнее животное с полным набором зубов» и М *silüge* ← ПБ *šilüg* < ПТ *tišek* «зубастое животное»[3]; М *qasu* «железо» (← др.-кирг.) и М *temür* «железо» ← ПБ *temür* < ПТ *temür* «железо»; М *on* «год» (календарный) и М *jil* «год» (возраст) ← ПБ *jïl* (< ПТ *yāš*) → ДТ *yïl* «год».

Аргумент основного словарного фонда. Чем ольше соответствий может быть найдено в основном словарном фонде языков А и Б, тем больше возможность их генетического родства. Естественно, что даже это положение не может быть принято безоговорочно. Основной словарный фонд имеет два определения: 1) слова, обозначающие самые элементарные реалии; 2) слова, употребляемые наиболее часто.

Элементарность и частота, однако, также исторически обусловлены, и скорость их изменения — вопреки мнению представителей школы глоттохронологии — отнюдь не постоянная. Мы также должны иметь в виду, что языки не обозначают один сегмент действительности одним и тем же словом, например, в одном языке слово «рука» обозначает часть конечности от кончика пальцев до запястья, а в другом — от кончиков пальцев до локтя. В некоторых языках одно и то же слово обозначает «синий» и «зеленый» (например, в древних тюркских и старовенгерском), в то время как в других языках (например, в русском, других индоевропейских, современных тюркских), имеются особые слова для обоих цветов и т. д. Имея это в виду, мы не можем применять лексикостатистическую методику, хотя и должны признать ее важность в привлечении внимания к историческому анализу основного словарного фонда.

Мы вправе полагать, что теоретически любое наудачу выбранное слово основного словарного фонда может оказаться заимствованным, но с точки зрения языковой истории существенно лишь свидетельство большого количества связанных между собой слов. Правильным методом является не показ того, что не соответствует в двух языках, а раскрытие природы соответствий. Если постоянные эквиваленты большинства основных слов, имеющихся в языке Б, существуют в языке А, но они здесь не принадлежат к основному словарному фонду, то это обстоятельство можно рассматривать как весьма важный аргумент, подтверждающий, что эти слова заимствованные. В качестве примера приведем так называемый аргумент обозначе-

[3] См.: A. R ó n a - T a s, On the Chuvash guttural stops in final position, сб. «Studia Turcica», Budapest, 1971, стр. 396—397.

ния частей тела: ПТ *aγïz* «рот» → М *aγurqai* «дыра, шахта», но М *aman* «рот»; ПТ *baš* «голова» → М *tarbalǰi* «лысоголовая птица», но М *terigün* «голова»; ПТ *boγaz* «горло» → М *boγorla-* «перерезать горло; задушить», но М *qoγulai* «горло»; ПТ *čeke* «виски; лоб; кость с ямкой» → М *čege* «плоская часть лодыжки с ямкой», но М *čimarqai* «лоб»; ПТ *tiš* «зуб» → М *silüge* «животное с полным набором зубов», но М *sidün* «зуб»; ПТ *tïz* «колено» → → М *türei* «голенище», но М *ebüdüg* «колено»; ПТ *adaq* «нога» → М *adaγ* «конец чего-либо», но М *köl* «нога»; ПТ *qïl* «волос» → М *kilγasun* «конский волос», *kilaγana* «stipa glaressa», но М *hüsün* «волосы»; ПТ *qaš* «бровь» → → М *qalǰa* «украшение лба», но М *kömüske* «бровь»; ПТ *boyun* «шея» → М *boyčuγur* «высокоплечий», но М *küǰügün* «шея»; ПТ *bilek* «запястье» → М *bilečüg* «браслет», но М *bayui* «запястье»; ПТ *burun* «нос» → М *buruntaγ* «вожжи» (для верблюда), но М *qamar* «нос» (ср. чув. *sămsa* «нос» → М *samsa* «крылья носа»); ПТ *qudruq* «хвост» → М *qudurγa* «подхвостник», но М *segül* «хвост»; ПТ *qān* «кровь» → М *qana-* «пускать кровь», но М *čisun* «кровь»; ПТ *qulqaq* «ухо» → М *qulki* «внутреннее ухо», но М *čikin* «ухо», и т. п.

Характерная черта этого типа соответствий состоит в том, что тюркское слово, обозначающее ту или иную часть тела, в монгольском представлено в определенной форме, но имеет вторичное (или переносное) значение, а для обозначения той же части тела используется другое, собственно монгольское слово. В отдельных случаях можно допустить, что имело место развитие вторичного значения, но данные слишком очевидны, чтобы принять это предположение для всей приведенной группы.

Не исключены также случаи, когда фонетически схожие тюркское и монгольское слова семантически полностью совпадают: Т *qarï* «рука» — М *γar*; Т *topïq* «коленная чашечка» — М *toyiγ* < *toβiγ*; Т *bügräk* «почка» — М *bögere*.

В этих примерах, однако, фонетический критерий подсказывает, что для монгольского это заимствованные слова. В случае тюрк. *qarï* ~ монг. *γar* непонятно, почему в тюркском имеется *-ï* и почему он опущен в монгольском, ибо часто бывает как раз наоборот: монгольские слова имеют дополнительный гласный по сравнению с тюркскими (Т *tüš* — М *düli* «полдень»; Т *ikiz* — М *ikire* «двойня»). В примере Т *topïq* ~ М *toyiγ* монгольское слово показывает озвончение конечного, что может быть результатом эволюции и на монгольской почве (в монгольском сильный глухой согласный не может стоять в ауслауте). А в случае Т *bügräk* ~ М *bögere* конечный *-k* в монгольском примере уже исчез, что напоминает чувашский тип развития, где звонкие гутуральные также исчезли (см. об этом ниже. О соответствии Т *ü* ~ М *ö* также см. ниже). Слово *topïq*, несомненно, имеет тюркское происхождение и произведено от *top* «нечто круглое». Подчеркнем, что на заимствование и здесь указывает снова система слов, а не отдельные слова.

Аргумент числительных. Числительные также составляют часть основного словарного фонда. Тот факт, что у алтайских числительных обнаруживается крайне незначительное количество общих черт и практически нет соответствий, был замечен давно. Г. Рамстедт [4] пытался разрешить эту проблему, предполагая, что тюркские языки разработали новую систему числительных в силу культурно-исторических и социальных предпосылок (в частности, потребностей, вызванных торговлей и развитием животноводства). Эта теория, которая не может быть доказана, содержит

[4] G. J. Ramstedt, Über die Zahlwörter der altaischen Sprachen, JSFO$_u$, XXIV:1, 1907; его же, Einführung in die altaische Sprachwissenschaft. II, Helsinki, 1952, стр. 62—67; Г. И. Рамстедт, Введение в алтайское языкознание. Морфология, М., 1957, стр. 64—68. См. также последнюю по времени публикацию: E. P. Hamp, On the Altaic numerals, «Studies in general and Oriental linguistics», Tokyo, 1970.

несколько противоречий. Во-первых, в тюркских числительных соответствия чув. *l* ~ T *š* и чув. *r* ~ T *z* встречаются очень часто (в нижеследующих примерах слово, приводимое перед его переводом, тюркское, после перевода — чувашское): *bēš* «пять» — *piləḱ* < *bēl*; *säkiz* «восемь» — *sakăr* < < *säkir*; *toquz* «девять» — *tăxăr* < *toqur*; *altmïš* «шестьдесят» — *utmăl* < < *altmïl*; *yetmiš* «семьдесят» — *šitměl* < *ǰetmil*; *yȳz* «сто» — *šĕr* < *ǰür*.

Согласно теории Рамстедта, в этих случаях чув. *r* и *l* сохранили первоначальную форму; однако ученый в то же время считает числительные поздним вторичным явлением. А это означает, что в истории тюркских языков *-r/-l* формы не обязательно унаследованы из протоязыка. Если это верно, существует теоретическая возможность того, что слова с *-r/-l* были заимствованы позже. Во-вторых, как мы увидим ниже, лексика развитого животноводства является в значительной степени общей как в тюркском, так и в монгольском языках. Если же принять объяснение автономной эволюции тюркских числительных потребностями животноводства и торговли, тогда остается непонятным, почему же эта эволюция не была синхронна с развитием животноводческой терминологии.

Были сделаны попытки доказать, что основы некоторых числительных существуют в обоих языках. Например, Рамстедт сравнивал T *bir* «один» и M *büri* «всё, все, каждый», T *toquz* «девять» и M *tokir* «с негнущимися (от судороги, холода) пальцами» [5], но они не эквивалентны семантически. M *ikire* действительно соответствует T *ikiz* < *eki*(*iki*) «два», но это животноводческий термин (первоначально оно означало двойню у животных); в этом случае в тюркском сохранилась основа слова (*eki* «два»), а в монгольском *ikire* является заимствованием. Итак, остается только один сомнительный пример тюркско-монгольских соответствий в области числительных: T *tört*, M *dörben*, тунг. *dügün* «четыре».

Отсутствие соответствий у числительных, конечно, могло быть только доказательством против родства алтайских языков, если допустить, что алтайский протоязык существовал и тогда, когда развивалась система десятеричных числительных. Если же предположить, что десятеричная система не была развита ко времени распада алтайского протоязыка, тогда этот аргумент бесполезен в разрешении проблемы: родство или заимствование? Собственно, точнее было бы ставить эту проблему не так: являются ли алтайские языки родственными друг другу или нет, а по-другому: или алтайский протоязык распался очень рано, или же он не существовал вообще.

Аргумент местоимений. Личные местоимения также являются важной частью основного словарного фонда языка. Сопоставим три реконструированных системы:

	Тюркский	Монгольский	Тунгусский
«я»	*bi*~*bän*(*män*)	*bi* ~ *min*	*bi* ~ *min*
«ты»	*si* ~ *sän*	*ti* ~ *tin*	*si* ~ *sin*
«он, она, оно»	*ol* ~ *an*	*i* ~ *in*	*ni* ~ *nin*
«мы»	*biz*	*ba* ~ *man* (экскл.) *bida* (инкл.)	*büä* (экскл.) *münti* (инкл.)
«вы» (мн. ч.)	*siz*	*ta* ~ *tan*	*süä*
«они»	*anlar*	*a* ~ *an*	*ti*

В алтайской системе местоимений наибольшее число соответствий приходится на 1 и 2-е лица ед. числа; известная соотносимость может быть замечена также в 3-м лице ед. числа (T *ol* является вторичным, первоначально местоимение 3-го лица ед. числа, вероятно, было *i* ~ *in*); *n*-овые формы скло-

[5] Г. И. Рамстедт, указ. соч., стр. 65—66.

няемых основ также соотносимы. Но во мн. числе наблюдается полное расхождение, причем не только фонетическое, но и морфологическое. В тюркском представлено мн. число на *-z* и *-lar*; в монгольском наблюдается явление, похожее на аблаут; в монгольских и тунгусских местоимениях 1-го лица мн. числа можно обнаружить эксклюзивные и инклюзивные формы, которые не имеют следов в тюркском. Итак, ясно, что в системе алтайских местоимений мн. число развивалось в отделившихся языках. В сепаратной жизни тюркского языка развилась форма мн. числа на *-z*, однако это случилось до распада тюркских языков, потому что в чувашском регулярно проявляется *-r*-соответствие (*epĕr* < *a* + *bir*; *esĕr* < *a* + *sir*). Этот факт наводит на мысль, что независимая жизнь алтайских протоязыков должна рассматриваться как долгий исторический процесс.

Культурно-исторический аргумент. Если данный комплекс терминов культуры, экономики и социальной истории совпадает в языках А и Б и если этот комплекс начал существовать позже, чем разделение общего протоязыка на языки А и Б, то можно предполагать, что рассматриваемая терминология была заимствована или в языке А, или в языке Б, или же в обоих этих языках. Разумеется, и здесь речь должна идти никак не об отдельных словах. Может легко случиться, например, что в двух родственных языках термин «молодой олень» превратится в термин «теленок», в этом случае мы должны считать это результатом конвергентного развития. Однако целый комплекс явлений может сделать факт заимствований очень вероятным, если доказательства недвусмысленны.

В тюркском и монгольском языках существует терминология высокоразвитого животноводства, которая связывается регулярными фонетическими соответствиями. В приводимых ниже парах первое слово — тюркское, второе — монгольское: *aγuz* — *uγuraγ* «молозиво»; *ašuq* → тунг. *alčuka* «кость лодыжки»; *azïγ* — *araγa* «коренной зуб»; *biš-* — *büli-* «сбивать (масло)»; *buzaγ*, *buzaγu* — *biraγu* «теленок»; *boγazla-* — *boγorla-* «заколоть; задушить» (животное); *buγuz* — *mögüresün* «хрящ»; *ešäk* — *eljigen* «осел»; *ikiz* — *ikire* «близнецы, двойня»; *kösek* «молодой верблюд» — *gölüge* «щенок»; *omuz* «плечо» — *omuruγun* «ключица»; *höküz* (ср. уйг. *höküz*, узб. *ҳўқиз*, гагауз. *yöküz*) — *hüker* «бык»; *qïmïz* — *kimir* «кумыс»; *qozï* — *quraγan* «ягненок»; *qaš* — *qaljan* «белое пятно на лбу животного»; *qazï* — *qarbing* «подбрюшный жир»; *qovïš* — *qoγulai* «горло»; *tišek* — *silegü* «трехлетнее животное с полным набором зубов»; *süz-* — *sör-* «прийти с противоположной стороны» < «бодать»; *tüš* (ст.-уйг.) — *töl* «плод; приплод; потомок»; *yaš-* «прятать» — *dal* «укрытие для крупного рогатого скота»; *bōz* — *boro* «серый» (о масти животных); *yaγïz* — *dayir* «бурый; олень»; *käz-* «бродить; ходить» — *kerü-* «бродить, странствовать»; *tāz* — *tar*, *taraqai* «лысый, лысая часть».

Вышеуказанные слова были подобраны с учетом явлений ротацизма и лабдаизма. Но факт заимствования происходит независимо от фонетической формы слова. Поэтому мы вправе ожидать подобной картины и в остальной части животноводческой терминологии, где ротацизма и ламбдаизма не наблюдается. Итак, мы должны допустить следующее: или единство алтайского протоязыка сохранялось и тогда, когда появилось высокоразвитое животноводство, или эти слова должны считаться заимствованиями. Поскольку исторические и археологические исследования исключают возможность первого объяснения, следует принять второе. Эта возможность увеличивается, если принять во внимание то, что говорилось выше об основном словарном фонде. Помимо животноводческой терминологии, рассмотрим важные термины металлообработки в тюркском и монгольском (первый компонент пары — тюркский, второй — монгольский): *tarqan* «рабочий-металлист» (> титул) — *darqan*; *qorγašun* «свинец» — *qorγoljin*» *jez* «медь» — *jer* (*jebe*) (монг. *jes* более позднее заимствование); *sīz-* «плавиться;

— *sire-* «закаливаться (о металле)»; *aγïz* «рот; устье» — *aγurqai* «шахта, рудник; дыра»; чув. *tuxlan* < *toqlan* «свинец» — *tuγulγan*.

Итак, лингвистические данные подтверждают то, что уже известно из истории: отдельные алтайские языки были уже развитыми в позднем бронзовом веке, и между ними существовали исторические контакты, что нашло отражение, между прочим, и в булгаро-тюркских заимствованиях в монгольском языке.

Аргумент иноязычных заимствований. Если два соответствующих слова имеются в языках А и Б и если можно доказать, что в языке Б это слово является заимствованием из третьего языка, тогда оно должно быть заимствованием и в языке А. В калмыцком языке имеется словосочетание *demsŋ tämk*^{e} «тюркский табак»; уже само значение подсказывает, что мы, по-видимому, имеем дело с заимствованием. В казахском и в новоуйгурском имеется слово *dämsiz* «безвкусный» (*däm* «вкус» + приативный аффикс *-siz*), оно встречается и в других тюркских языках. Основа этого слова — *däm* — арабского происхождения (араб. *t'am* «вкус»). Если оно является заимствованием в тюркских языках, то оно должно быть заимствованием и в калмыцком; вопрос только в том, каким образом Т *-siz* превратился в калм. *-sir* > *-sŋ*. Это слово вошло в калмыцкий язык благодаря торговым связям, через посредство булгаро-тюркских купцов. В современном чувашском языке оно существует в форме *tĕmsĕr* < *temsir* (ср. татар. *təmsez*), которая является производной от заимствования из арабского и образована при помощи чувашского приативного аффикса *-sĕr* < *-sir* [6]. В калмыцком это слово может быть довольно новым, но во всяком случае оно не могло быть заимствовано после переселения калмыков на Волгу: во-первых, к этому времени начальный булгарский *d-* превратился в *t-*; во-вторых, булгарские купцы играли важную роль на Волге до XIII—XIV вв. (об этом может свидетельствовать, например, широкое распространение слова *bulγari* «сорт кожи»). В монгольском, несомненно, есть слова булгарского типа, заимствованные благодаря торговым связям.

Но имеется также большое количество древних слов булгарского типа, заимствованных в более ранний период. Т, М, тунг. *yez* ~ *jez* ~ *jes* «медь; бронза» — индоевропейского (тохарского) происхождения. М *jes* имеет также параллель булгарского типа в сочетании *jer jebe* «(бронзовое) оружие». И.-е. форма основы этого слова *ɥes* (лат. *aurum* < *ausum*, сабинск. *ausom*, литов. *ausas*, др.-прусск. *ausis*); оно проникло также и в уральские языки (**ɥeski* ~ **ɥaski*), откуда через южносамодийское и древнекиргизское посредничество попало в монгольский [7] (др.-самодийск. *ɥes* > южносамодийск. *kɥas* → др.-кирг. *quas* → старомонг. *qasu*). Индоевропейская первоначальная форма доказывает, что здесь Т *-z* является первичным по отношению к М *-r*, а так как это слово является в тюркском заимствованием, то оно должно быть заимствованием и в монгольском.

Аргумент лингвистической географии. Если языки А, Б и В генетически родственны, соответствия, унаследованные ими от общего протоязыка, должны быть распространены в них более или менее одинаково. Таким образом, когда в языках А и Б большое количество соответствий, которые не являются общими для языков Б и В, а в свою очередь Б и В имеют много соответствий, которые не являются общими для языков Б и А, и, наконец, если практически в языках А и В нет соответствий (или их очень мало), то, вероятнее всего, что эти соответствия — результат заимствований. В ли-

[6] Ср. чув. *harsăr* «старательный, смелый» от араб. *'ar*; *xalsăr* «слабый, больной» от араб. *hal*.

[7] См. об этом: L. L i g e t i, Mots de civilisation de Haute Asie en transcription chinoise, «Acta Orient. Hung.», I, 2, 1950; P. A a l t o, Ein alter Name des Kupfers, UAJb, XXXI, 1, 1959.

тературе уже указывалось [8], что именно так обстоит дело с тюркскими, монгольскими и тунгусскими языками. Имеется достаточное количество тюркско-монгольских и монгольско-тунгусских соответствий, но очень мало тюркско-монгольско-тунгусских и тюркско-тунгусских соответствий; к тому же большинство из тех, которые существуют, являются поздними заимствованиями. Эти соответствия точно согласуются с историко-географическим положением соответствующих языковых групп, так что возможность заимствования поддерживается и лингвогеографической дистрибуцией.

Аргумент фонемной системы. Языки А и Б родственны, если каждый элемент их древнейшей реконструированной фонемной системы совпадает. Реконструкция фонемной системы алтайских языков во многих отношениях все еще является дискуссионной (именно поэтому проблема внутренней реконструкции и вопрос об алтайском родстве неразделыны). Прежде всего бросается в глаза, что реконструируемые тюркская, монгольская и тунгусская фонемные системы существенно различаются между собой. Рассмотрим начальные согласные в этих трех системах:

	Тюркский	Монгольский	Тунгусский[9]
лабиальные	*p-*[10], *b-*	*p'-*, *B-*, *m-*	*p-*, *p'-*, *b-*, *m-*
дентальные	*t-*	*t'-*, *D-*, *n-*	*t-*, *t'-*, *d-*, *n-*
гуттуральные	*k-*	*k'-*, *G-*	*k-*, *k'-*, *g-*, *ŋ-*
аффрикаты	*č-*, *ǰ-* ~ *y-*	*č'-*, *DŽ*	*č-*, *ǰ-*, *ń-*
спиранты		*y-*	*y-*
сибилянты	*s-*	*s-*	*s-*
латеральные			*l-*

Итак, рассмотренные три системы отличаются одна от другой по своей структуре: к тому же они несовершенны в самих себе, являясь результатом более раннего развития. Эти два обстоятельства наводят на мысль, что следует предполагать долгий путь индивидуального развития каждого протоязыка. Приведенные выше реконструкции являются древнейшими вероятными формами, которые восстанавливаются из диалектных данных и языковых памятников отдельных языковых групп. Эти реконструкции фонемных систем ранних, уже независимых языков отстоят друг от друга

[8] См., например: L i g e t i L., Az uráli és altaji nyelvek viszonyának kérdése, «A Magyar Tudományos Akadémia nyelv-és irodalomtudományi osztályának közleményei», IV, 1953, стр. 348 (отд. отт.).

[9] Реконструкция прототунгусской фонемной системы идентична с системой, которую предложила В. И. Цинциус в своей «Сравнительной фонетике тунгусо-маньчжурских языков» (Л., 1949). Я предпочел бы только p^{ϵ} вместо pf^{h}, постулируемого В. И. Цинциус, и k^{ϵ}- вместо ее kx^{h}. Наиболее трудным является вопрос о придыхательном t^{ϵ}-, который отсутствует в системе В. И. Цинциус. В. М. Иллич-Свитыч (см. его «Алтайские дентальные: *t*, *d*, δ», ВЯ, 1963, 6, стр. 51—52) предлагал: ПА *t-* = тунг. *t-*; ПА *d-* = тунг. *d-*, ПА δ- = тунг. *d-*, в то время как в «Опыте сравнения ностратических языков. Введение. Сравнительный словарь», [I] (М., 1971, стр. 168) читаем: ПА t^{ϵ}- = тунг. *t-*; ПА *t-* = тунг. *d-*, ПА *d-* = тунг. *d-*. Возможно, что t^{ϵ} и *t* совпали в тунгусском, а оппозиция сохранилась только в маньчжурском в таких случаях, как: маньчж. *sunǰa* «пять» ~ тунг. **tun'-ŋ-a*, маньчж. *san* «вытягивать» ~ другие тунг. **tan* или М *t'ergen* → маньчж. *seǰen* «повозка, телега», в то время как маньчж. *terge* является поздним заимствованием (об этом последнем слове см.: L. L i g e t i, Les anciens éléments mongols dans le mandchou, «Acta Orient. Hung.», X, 3, 1950, стр. 243).

[10] После того, как были выявлены халаджск. *h-* (см.: G. D o e r f e r, Khalaj materials, The Hague, 1971, стр. 163—167) и тибетская транскрипция др.-тюрк. *h-* (см.: L. L i g e t i, À propos du «Rapport sur les rois demeurant dans le Nord», «Études tibétaines dédiées á la mémoire de M. Lalou», Paris, 1971, стр. 188—189), не может быть сомнений в том, что в прототюркском был начальный согласный, который развился в *h-*. Вероятнее всего, это был **p-*, хотя при этой гипотезе несколько вопросов остаются неразрешенными. См.: Э. В. С е в о р т я н, К источникам и методам пратюркских реконструкций, ВЯ, 1973, 2, стр. 39—41.

на целый эволюционный период. Если исходить из предположения, что тунгусская система сохранила лучше всего основные черты древней алтайской фонемной системы, тогда сначала придется наметить в общих чертах путь, пройденный тюркской и монгольской системами до того, как они достигли указанной выше стадии. Необходимо попытаться восстановить относительную, а если это возможно, то и абсолютную хронологию этого процесса. И эта работа еще нам предстоит.

Сравнительная алтаистика доказала наличие очень старых соответствий между тюркской, монгольской и тунгусской системами начальных согласных, причем появились они, вероятно, раньше XIII в. Таковы соответствия тюрк. *j-/y-* ~ монг. *d-*, *j-*, *n-*; тюрк. *t-* ~ монг. *t-*, *d-*.

Вопрос в том, к какому времени эти системы начального консонантизма отнести? И принадлежат ли они одному хронологическому пласту? Согласно утверждению сторонников алтайской гипотезы, они относятся к одному периоду, и соответствия возводятся к общему протоязыку. Противники генетического родства алтайских языков полагают, что слова, в которых представлены указанные соответствия, заимствованы монголами из древнетюркского языка. Если это верно, мы должны предположить, что тюркский язык — источник заимствований — имел более богатую систему начальных согласных, чем реконструированная выше.

Сама рассмотренная подсистема наводит на мысль, что инвентарь тюркских начальных согласных был, несомненно, богаче (отсутствие в этой подсистеме звонких зубных, гортанных и носовых звуков).

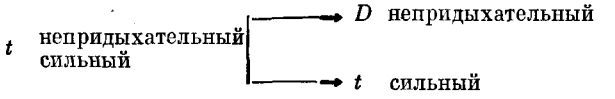
Единственным затруднением является то, что выдвинутые соответствия противоречивы. М *d-* соответствует как Т *y-* ~ *j-*, так и Т *t-*. Например, Т *yaγïz* ~ М *dayir* «коричневый; олень»; Т *tüš* ~ М *düli* «полдень». Это противоречие можно разрешить двумя путями. Во-первых, предположить, что в алтайском протоязыке были три зубных фонемы: T_1 = М, Т *t-*; T_2 = = М *d-* ~ Т *t-*; T_3 = М *d-* ~ Т *y-* ~ *j-* [11]. Во-вторых, допустить, что различные соответствия относятся к нескольким пластам заимствований. Во втором случае приходится предположить, что язык — источник заимствований — подвергся развитию, в то же время монгольский показывает два различных этапа этого развития: Т *d'* → М *d-*, Т *d'* > *j* → М *j-*, Т *ń* → М *n-*, Т *ń-* > *j* → М *j-*.

Первое из этих соответствий могло восходить к протоязыку, но могло также возникнуть и за счет заимствования, второе же из этих соответствий не может быть ничем иным, как заимствованием. Второе предположение может быть доказано теми фактами, когда одно слово заимствовалось монгольским языком из тюркского дважды. Такие случаи редки, но не беспрецедентны: Т *d'eg* «лучший» → М *dege-dü* «верхний»; Т *d'eg* > *jeg* → М *jegü-* «поднимать»; Т *n'āl* «молодой» → М *nilqa* «молодой»; Т *n'āl* > *jāl* → М *jalaγun* «молодой».

Эта гипотеза дает ответ на вопрос, почему иногда монг. *d-* и *j-* противопоставлены тюрк. *y-* < *d'-*, но не объясняет, почему в монгольском появляется то *d-*, то *t-* как соответствие тому же самому тюрк. *t-*. В тюркском *t-* был непридыхательным глухим взрывным звуком, в то время как в монгольском он был придыхательным глухим взрывным звуком, противопоставленным глухому непридыхательному слабозвонкому: [t'] : [D]. Итак, тюрк. *t-* соответствует монгольскому *t-* как глухой сильный и в то же время монгольскому *d-* как непридыхательный. В итоге возникает возможность двойной субституции фонемы. Двойственное соответствие также может быть

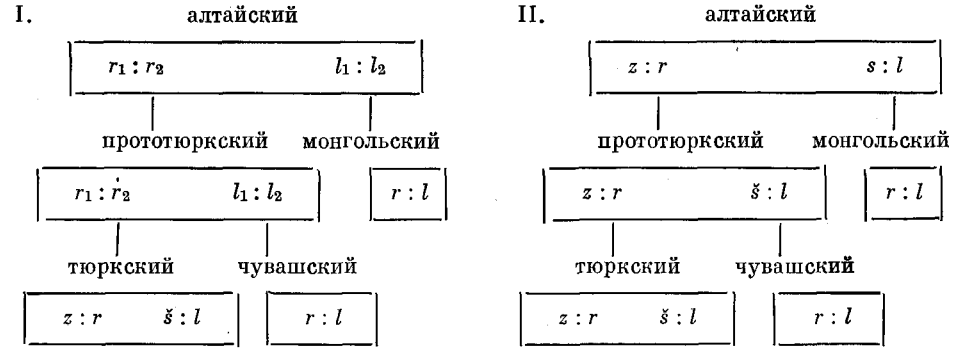
[11] См.: Z. Gombocz, Zur Lautgeschichte der altaischen Sprachen, KSz, XIII, 1912—1913, стр. 22—37; В. М. Иллич-Свитыч, Алтайские дентальные: *t*, *d*, δ, стр. 37—56.

объяснено различием тюркской и монгольской консонантных систем, а не только древним единством этих двух систем:



Система начальных согласных трех протоязыков различается также другими своими аспектами, причем отдельные начальные консонанты не имеют вообще никакой аналогии. Так, монгольские слова с начальным *m-* можно разделить на две группы. В одной из таких групп *m-* произошел из более древнего *b-* под влиянием последующего носового: Т *biŋ* > *miŋ* → → М *mingγan* «тысяча»; Т *bi* «я» > *min* (склоняемая основа). В словах второй группы нет носового во втором слоге. В этой группе ни одно из слов не имеет тюркской параллели. Следовательно, если допускать существование общего тюрко-монгольского протоязыка, то необходимо объяснить, откуда развился М *m-* и во что превратился первоначальный звук в тюркском [12].

Из вопросов о неначальных согласных остановимся лишь на многократно обсуждавшейся проблеме ротацизма и ламбдаизма. Здесь также существуют две противоположные точки зрения, которые можно продемонстрировать в виде двух схем, которые не показывают никаких фонологических различий, отличаясь одна от другой только фонетически [13]:



Из обеих схем видно, что в алтайском протоязыке имелись две оппозиции, в то время как в чувашском и монгольском только одна. Итак, с точки зрения фонологической в чувашском и монгольском представлена инновация, в то время как тюркский сохранил старую систему. При этом возникает вопрос, происходили ли отдельно и независимо чувашский и монгольский процессы или же нет.

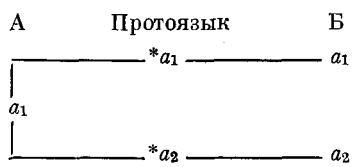
[12] Н. Поппе (см.: N. P o p p e, Vergleichende Grammatik der altaischen Sprachen, Tl. 1, Wiesbaden, 1960, стр. 34—36) полагает, что протоалтайский *m-* «...хуже всего сохранился в тюркских языках». Он также заметил, что *m-* перед носовыми является вторичным, таким образом он предполагает развитие *m* > *b* > *m*, но добавляет: «Во многих случаях довольно неясно, представлен ли в соответствующем корне первоначальный или вторичный *m-*». Поппе привел восемь примеров монгольско-тюркских соответствий, в шести из которых за начальным *b-* следует носовой гласный звук. Компонент *meriyen* в М *eriyen-meriyen* «разноцветный, пестрый» является словом-эхо и не имеет ничего общего с Т *bäzä-* «украшать». Единственное оставшееся соответствие — ПТ *bïqï* «бедро, бок» ~ М *miqa* «мясо» — вызывает семантические и фонетические трудности при его объяснении. В то же время существует много обоснованных соответствий М *m-* ~ тунг. *m-*.

[13] См. об этом: A. R ó n a - T a s, указ. соч., стр. 396.

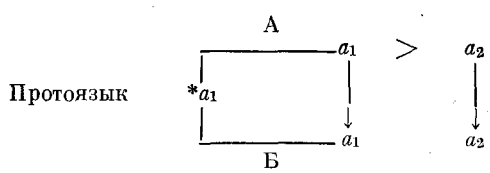
Если иметь в виду другие характерные черты, общие для монгольского и чувашского языков, возможность независимого развития должна быть признана незначительной. Но если эти два параллельных изменения связаны между собой и они не консервируют древние алтайские черты, а являются инновациями, тогда они должны быть результатом исторических контактов. Здесь могут быть предложены несколько гипотез, объясняющих, каким образом возникли эти чувашско-монгольские общие черты. Можно допустить, что в монгольском двойной оппозиции никогда не было, и в результате долгого чувашско-монгольского сосуществования чувашский также утратил одну из оппозиций. Не исключено, однако, что обе оппозиции когда-то были представлены и в монгольском, а изменение в двух языках произошло одновременно. И, наконец, можно принять во внимание влияние третьего языка (= субстрата). В любом случае явление ротацизма и ламбдаизма доказывает, что задолго до XIII в. существовала тесная связь между предшественниками чувашского и монгольского языков, что и отражается в заимствованиях.

Аргумент исторической фонологии. Если фонема языка А имеет два регулярных соответствия в языке Б, то этому факту могут быть даны следующие два объяснения.

1. Фонема a_1 в языке А является результатом конвергенции двух старых фонем a_1 и a_2:



2. Можно допустить развитие (историческое, диалектное или то и другое) $a_1 > a_2$ в языке А. В этом случае фонема a_1 в языке Б может быть наследием или заимствованием, но синхронная фонема a_2 в языке Б может быть только заимствованием.



Следует принять то объяснение, которое подтверждается и другими аргументами.

Между тюрко-монгольскими губными гласными обнаружены следующие типы соответствий:

Тюрк	Монг.	Тюрк.		Монг.
ö	*ö*	*öyüz*	«налет»	*önggür*
ö	*ü*	*höküz*	«бык»	*hüker*
ü	*ü*	*küzen*	«хорек»	*kürene*
ü	*ö*	*küvez*	«гордый»	*köger*

Здесь также можно предположить четыре алтайских передних губных[14], но можно допустить и следующие соотношения: Т *ö* $\rightleftarrows$ М *ö*; Т *ö* $>$ *ü* $\rightarrow$ М *ü*; Т *ü* $\rightleftarrows$ М *ü*; Т *ü* $>$ *ŏ* $\rightarrow$ М *ö*.

[14] Г. Дёрфер (см. его «Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen», 1, Wiesbaden, 1967, стр. 99) предполагал в прототюркском шесть губных: *o*, *ǫ*, *u*, *ö*, *ǫ̈*, *ü*. О тенденции сужения см. также: G. Doerfer, Ein Kompendium der Türkologie, UAJb, 40, Hf. 3—4, 1968, стр. 244.

Последнее решение подтверждается тем фактом, что в группе тюркских языков (в чувашском и некоторых кыпчакских) могут происходить переходы *ö* > *ü* и *ü* > *ő*, т. е. сужение открытых гласных и, наоборот, сокращение и расширение узких.

Другой пример — тюркский конечный *-k* имеет два эквивалента в монгольском: а) Т *-k* (*kök* «синий») → М *-k* + V (*köke*); б) Т *-k* (*ingek* «корова») ~ М *-g* + V (*ünige* > *üniye*). Здесь также можно предположить существование двух **-k* в алтайском протоязыке, один из которых совпал с монгольским **-g*. Но это предположение можно подтвердить только исходя из алтайской гипотезы, которая сама, как известно, требует доказательства. Аналогичные два соответствия наблюдаются в чувашском: Т *kök* > > чув. *kăvak*, но Т *ingek* > чув. *ĕne*. Мы знаем, что в этом случае чувашский конечный *-g* исчез, превратившись предварительно в спирант, следы которого остались в венгерском: др.-чув. *ineγ* → венг. *ünեɰ* > *ünő*. Здесь можно допустить следующее развитие: Т *-k* ⇄ М *-k* + V; Т *-k* > *-g* (> *-γ* > Ø) → М *-g* + V [15].

Что М **ünige* является заимствованием, подтверждается не только тем фактом, что М *-g* показывает более позднюю булгарскую *g*-стадию. В тюркском протоязыке в середине слова часто имеется звук *-g-*, который в чувашском, как и в некоторых других тюркских языках, утрачен. Например: Т *qazγuq* > др.-чув. *qaruγ* → венг. *karó* «кол», Т *qāzγan* > др.-чув. *qaran* > чув. *хуран* «котел». Тот же *-g-* исчез в слове *ingek* как в монгольском, так и в древнечувашском (→ венгерском); разумеется, не существует он и в современном чувашском. Монгольский, следовательно, отражает форму, более развитую, чем в прототюркском, причем даже в двух отношениях.

Мы видели, что первоначальный *-k* стал звонким *-g-*, затем — спирантом, а позднее исчез вообще, как и первоначальный *-g*. Этот процесс прослеживается и в монгольском; ср., например: Т *bögrek* «почка» → М *bögere*, Т *bürtük* «крошка» → М *börtü*, Т *kőbek* «пуп» → М *küyi-sün* < *küβi*, Т *köpek* «пена» → М *köge-sün*, Т *qarsaq* «степная лиса» → М *kirsa*.

Анализ приведенных выше примеров показал, что несмотря на большие трудности, вызванные объективными и субъективными условиями изучения алтайских языков, мы располагаем методами для доказательства того, что монгольский язык имел тюркские заимствования раньше XIII в. Важно подчеркнуть, что это доказывается не анализом изолированных слов и не использованием разрозненных аргументов, а взятыми в системе соответствиями и аргументами, которые усиливают друг друга.

Многие из рассмотренных слов подходят почти под все сформулированные выше аргументы; например, М *üniye* (фонетические аргументы: ПТ *-k* ~ М *-g*V, ПТ *-g-* ~ М Ø; географический аргумент: отсутствие слова в тунгусском; исторический аргумент: слово принадлежит к терминологии развитого скотоводства) или *hüker* (фонетический аргумент: ПТ *-ö* ~ М *-ü*; фонемная структура: ПТ *-z* ~ М *-r*; иноязычное происхождение слова: тохар. → Т → М; исторический аргумент: слово принадлежит к терминологии развитого скотоводства).

Примеры можно было бы умножить, но, думается, картина уже ясна. Тюркские заимствования в монгольском до XIII в. вполне определенно свидетельствуют о том, что заимствовались они из множества различных тюркских языков в различные исторические периоды. Одним из тюркских языков — источников подобных заимствований должен был быть язык, принадлежащий к чувашско-булгарской группе. Надо думать, что после-

[15] См.: A. R ó n a - T a s, указ. соч., стр. 224.

дующие исследования выявят еще больше пластов древних булгаро-монгольских контактов.

Роль гипотез. Как известно, наука не может существовать без гипотез, которые она стремится обосновать и превратить в доказательные законы. Одной из основных ошибок современной алтаистики является то, что она занимается очень многими гипотезами одновременно, причем это характерно особенно для тех исследователей, которые разделяют идею генетического родства. Проиллюстрируем это лишь двумя примерами.

В своем весьма полезном этимологическом словаре М. Рясянен предложил следующие соответствия [16]: Т *ayïl* «загон» ~ М *ayil* «соседний шатер» ~ маньчж. *falga*, *falka* «семья», «деревня», «улица» ~ венг. *falu* «деревня» ~ хант. *pōγăl*, манс. *pāβl*.

Но чтобы принять это урало-алтайское соответствие, нужно допустить, по крайней мере, 11 гипотез: 1) угорское слово должно быть уральского происхождения, хотя слово встречается только в венгерском, мансийском и хантыйском; 2) мы должны допустить метатезу *l* и *γ* в венгерском или в обско-угорских языках; 3) если в венгерском была эта метатеза, тогда обско-угорская форма должна была сохранить неизменной форму уральского протоязыка; 4) рассматриваемое слово, имея такую структуру, не может представлять собой непроизводную основу; если же это производное слово, то мы должны предположить, что оно было сформировано во времена урало-алтайского единства; 5) но в этом случае должны быть выделены основа и суффикс; 6) если уральская протоформа была такова, то придется также допустить метатезу *-l* и *-g* в маньчжурском; 7) М *ayil* могло развиться из более древнего *ayïl*; допустить форму *payil* было бы возможно только при ср.-монг. *hayil* и монгорск. *xayir*; но на самом деле в среднемонгольском имеем *ayil*, а в монгорском *ayir*; 8) чтобы преодолеть эту трудность, можно было бы считать монгольское слово заимствованием из тюркского (что очень вероятно), но тогда из цепи доказательств выпадает один из членов алтайского единства, и нам опять придется объяснить, почему слово исчезло из монгольских языков и почему они должны были заимствовать его; 9) если маньчж. *falγa* и *falxa* считать результатом метатезы (*falγa* $<$ $<$ *faliγ* $<$ *paliγ* $<$ *payil*), тогда следует отделить это слово от маньчж. *falan* «закрытое пространство», «округ» и от нанайск. *palan* «пол»; 10) в этом случае придется исключить возможность того, что маньчжурское слово является членом большого гнезда слов со значением «плоское место» и связано с тунг. **palγan* «ладонь», также родственным М **palaγan* $>$ *halaγan* $>$ *alaγan* (то же). Если же оно относится к этому гнезду слов, тогда корень здесь **pal*, и все соответствие окажется несостоятельным; 11) тюркское слово следовало бы тогда отделить от гнезда слов *aγ-* «поднимать», *aγïm*, *aγïš* «высота», что было бы очень трудно, потому что первоначально слово означало «забор, огораживающий животных», «каменное укрытие, воздвигаемое для защиты от ветра» и т. д.

Уже теперь можно было бы принять во внимание одну или две из названных гипотез; возможно также, что некоторые из них будут доказаны в ходе дальнейших исследований. Тем не менее, очень рискованно иметь дело сразу с таким множеством гипотез.

В. М. Иллич-Свитыч в посмертно опубликованной работе «Опыт сравнения ностратических языков» представил очень важные и новые для алтаистики результаты [17], хотя его итоговые заключения не во всем убеди-

[16] M. R ä s ä n e n, Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen, I, Helsinki, 1969, стр. 8.

[17] «Опыт сравнения ностратических языков», [I], М., 1971, стр. 254. Иллич-Свитыч был одним из ученых, глубоко понимавших фундаментальные проблемы сравнительного изучения алтайских языков. Он писал (там же, стр. 69): «Родство трех алтай-

тельны. В частности, пытаясь установить родство, например, М *ora-* «войти» и Т *ör-* «подниматься», по необходимости он вынужден был принять следующие гипотезы.

1) В алтайском протоязыке не было гармонии гласных; 2) противопоставляемая монгольской форме древняя монгольская форма была не *oro-*, а *ora-*, потому что Иллич-Свитыч исходит из ностратической формы *Horă*; 3) в монгольском имело место семантическое развитие «подниматься» > > «войти»; 4) или М *örṅi-* «расти» не связано со всеми названными словами, или это тюркское заимствование, или же существовало древнемонгольское развитие (или «вариация») *ora-* > *ör-*; 5) в этом последнем случае придется также допустить различие в значениях монгольских слов-пар; 6) М *üre* «семя; плод; растение» или не относится к этому гнезду слов, или это заимствование; 7) или долгий гласный в туркменском глаголе *ör-* «расти» не отражает древний долгий гласный, или в монгольском произошло вторичное сокращение, потому что в монгорском, по мнению В. М. Иллича-Свитыча, древняя алтайская долгота должна была сохраниться, а в форме *uro-* гласный является кратким; 8) нанайск. *oyā* «верх» восходит к форме **ora*, но оно не родственно следующим тунгусским словам: эвенк. *oyo*, негидальск., ульч., уд., орокск. *oyo*, эвенск. *oy*, маньчж. *oyle* «верхняя часть»; 9) долгий гласный *ā* в нанайск. *oyā* является результатом вторичного удлинения; 10) баргуз. *oro-* «войти», «вторгнуться» — не монгольское заимствование.

Помимо того, нельзя забывать, что постулированное исследователем родство рассматриваемого алтайского слова с индоевропейскими и дравидийскими формами само по себе требует новых гипотез.

В то же время было бы ошибкой отрицать, что эти гипотезы возбуждают мысль и полезны именно этим, однако всегда существует опасность, что они не помогут алтаистам обнаружить реальные связи.

Родственны ли алтайские языки генетически? После того как первоочередная, на наш взгляд, задача отграничения заимствований от общего наследия будет выполнена, появится возможность ответить на вопрос: останутся ли такие алтайские соответствия, которые являются более ран-

Алтайские		Прототюрк.	Протомонг.]	Прототунг.
amγa	«отверстие»	*an* ~ *aγ*	*angga** ~ *aman*	*amγa*
boγ ~ *boy*	«узел», «кость»	*boγ*	*boγi* **	*moygo*]
top	«пыль, земля»	*top* ~ *toγ*	*toγo* ***	*toba* ~ *toka*
teŋ	«равный»	*teŋ*	*teng(ge)* ****	*teŋ*
sa-	«думать»	*sa-*	*sa-*	*sa-*
qa-	«соединяться»	*qa-*	*qa-*	*ka-*[18]
al-	«взять»	*al-*	*al-*	*al-*
d'a-	«класть»	*ya-*	*da-*	*da-*

Примечания. *М *aγurqai* является заимствованием из ПБ *aγïr* < *aγïz* < *aγ*.

** М *boγorla-* «перерезать горло, задушить» является заимствованием из ПБ *boγor* < *boγaz* < *boγ*.

*** М *toro* «пыль» (← ПБ *tōr* < *tōz*) и *tobraγ* «пыль, земля» (← *toprag* < *top*) являются заимствованиями.

**** М *tenggis* «море» — заимствование (← *teŋiz* < ? *teŋ*).

ских языковых групп, несомненно, является весьма отдаленным. К такому выводу приводит, в частности, анализ основного словарного фонда соответствующих языков и глоттохронологическое исследование. Алтайская языковая общность, по-видимому, распалась значительно раньше других пяти больших языковых общностей, сравниваемых в этой работе». Примечательно, что большинство этимологий, признаваемых сторонниками генетического родства алтайских языков, не принято В. М. Иллич-Свитычем, и не без основания.

[18] Ср.: И. В. Кормушин, Лексико-семантическое развитие корня **qa* в алтайских языках, сб. «Тюркская лексикология и лексикография», М., 1971, стр. 9—29.

ними, чем древнейшие заимствования? В настоящее время было бы преждевременным отвечать определенно на этот вопрос, но не хотелось бы исключать возможность такого «остатка»; при этом следует сослаться на выше перечисленные соответствия (см. стр. 44).

Теоретически можно допустить, что: 1) такие соответствия не будут очень многочисленными; 2) соответствия будут действительны только для корневых морфем (ср. примечания *—****); 3) мы вправе предположить такие соответствия, которые не всегда согласуются с фонетическими правилами, постулированными до сих пор. Например, Т *beŋi* ~ М *p'eki* ~ ~ тунг. *p'eki* «голова» не является «регулярным» из-за *b-* в тюркском.

В заключение подчеркнем: если алтайские языки генетически родственны, то доказывается это не на основании соответствий, а вопреки соответствиям, приводимым до сих пор в пользу алтайской гипотезы. Важнейшей задачей в изучении алтайских языков в историческом плане и условием для разрешения проблемы генетического родства алтайских языков является исследование исторических контактов в течение периода между началом второго тысячелетия до н. э. и началом второго тысячелетия н. э.

Перевел с английского *В. С. Сергеев*

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1974

Л. Г. ГЕРЦЕНБЕРГ

ОБ ИССЛЕДОВАНИИ РОДСТВА АЛТАЙСКИХ ЯЗЫКОВ

1. В связи с выходом в свет сборника «Проблема общности алтайских языков» (Л., 1971) на страницах журнала «Вопросы языкознания» (1972, 3) напечатана дискуссионная статья Г. Дёрфера «Можно ли проблему родства алтайских языков разрешить с позиций индоевропеистики?», большая часть которой представляет критику моей статьи в этом сборнике — «Алтаистика с точки зрения индоевропеиста». Продолжение дискуссии по вопросу алтаистики свидетельствует прежде всего об актуальности этого отдела сравнительно-исторического языкознания. Поэтому целесообразно вновь обратиться к ряду вопросов, обсуждавшихся в статье Г. Дёрфера, в его предшествующих публикациях, в ходе всей дискуссии.

Рассматриваются следующие три проблемы:

а) Существуют ли фонетические (resp. фонологические) критерии для различения звуковых законов, связывающих родственные (генетически) языки, и звуковых законов, связывающих заимствованный слой лексики в том или ином языке с соответствующим материалом в языке — источнике заимствований?

б) Действительно ли метеорологическая лексика в отдельных ветвях алтайской семьи языков в своем различии принципиально несравнима с подобными же фактами в индоевропейских языках?

в) Можно ли опираться на отношения между таджикским и узбекским языками как на своего рода эталон при различении генетического и ареального родства, языковой семьи и языкового союза?

Прежде чем перейти к этим вопросам, хотелось бы поблагодарить Г. Дёрфера за уточнение некоторых из предложенных мной этимологий и с удовлетворением отметить, что выдвинутая в моей статье реконструкция праалтайских слоговых акцентов/тонов находит подтверждение в приводимых Дёрфером халаджских данных. Но с доводами, которые приводятся против генетического истолкования родства алтайских языков, согласиться нельзя, несмотря на обещания дать новую сравнительную фонетику с негативными выводами, несмотря на попытку поставить под сомнение значение системы звуковых законов, прочно связывающих алтайские языки, а также несмотря на поиски крайне сомнительного «третьего» — негенетического и нетипологического — пути объяснения.

2. Отрицать алтайскую теорию [1] значит отказываться от реальной и убедительной возможности проникновения в предысторию тунгусо-маньчжурских, монгольских и тюркских языков. Достоверность и очевидность теории генетического родства алтайских языков следует прежде всего из того, что каждый подтверждающий ее звуковой закон выводится из доста-

[1] Совершенно неубедительны возражения против алтайской теории, основанные на глоттохронологических вычислениях (Дж. Клоусон, Лексикостатистическая оценка алтайской теории, ВЯ, 1969, 5). На несостоятельность этой методики применительно к алтайским языкам указывает и Л. Лигети («Алтайская теория и лексикостатистика», ВЯ, 1971, 3). В нашей статье путем reductio ad absurdum продемонстрировано, к чему могут привести глоттохронологические подсчеты.

точного [2] числа тунгусо-маньчжурско-монгольско-тюркских соответствий. Среди выдвигаемых Дёрфером возражений важно замечание о том, что звуковые законы связывают между собой не только генетически родственные языки, но и заимствованные пласты лексики с источником заимствования в неродственных языках. Разрабатываемая на основании этого предположения гипотеза о том, что общее в алтайских языках — результат заимствования, ставит перед сравнительно-историческим языкознанием проблему: как можно определить, связывают ли данные звуковые законы генетически родственные языки между собой или же заимствованный слой лексики с его источником в неродственных языках? Существуют ли лингвистические критерии, которые позволили бы устанавливать значения звуковых законов, т. е. природу отношений между языками, определяющую их существование?

Прежде всего, плодотворно разрабатываемый в течение более полутораста лет сравнительно-исторический метод [3] позволяет сформулировать положение о том, что звуковые соответствия между родственными языками должны иметь закономерный характер, их фонетические системы должны быть изоморфны, отличаться измеримым в дифференциальных элементах «расстоянием» не столько между отдельными фонемами, сколько между рядами фонем.

Понятие генетического родства предполагает, что сравниваемые языки являются результатами изменения одного и того же языка-источника, «праязыка»; фонологические системы сравниваемых языков представляют, следовательно, результаты закономерного изменения одной и той же исходной фонологической системы и должны обнаруживать сходство в строе. Древнегреческий и древнеиндийский бесспорно родственны генетически — на это указывает соответствие систем согласных:

π	β	φ	)	~	*p*	*ph*	*b*	*bh*
τ	δ	θ	)		*t*	*th*	*d*	*dh*
κ	γ	χ	)		*k*	*kh*	*g*	*gh*

Существовавшее в общеиндоевропейском противопоставление количественно или интенсивностно градуального характера между сегментными единицами — (глухими) согласными, согласными со звонкостью и согласными со звонкостью и придыхательностью — развилось из более простого противопоставления согласных первого и третьего ряда [4] (т. е. звонких придыхательных и глухих непридыхательных), по-видимому, в результате трансформации суперсегментных единиц, в процессе перехода дифференциального признака интенсивности с суперсегментного на сегментный уровень. Дальнейшее развитие вело к формированию более простых, однопризнаковых противопоставлений с маркированным, доминантным глухим непридыхательным: глухая, звонкая и глухая придыхательная в греческом и возникновение четвертого ряда — глухих придыхательных — в индоиранском.

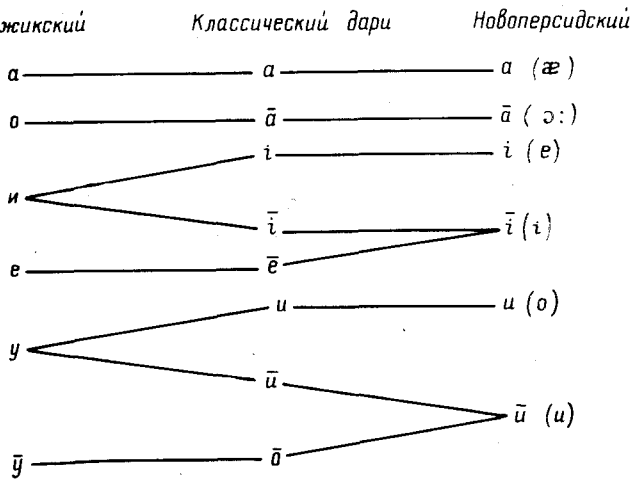
Близкородственны таджикский и новоперсидский языки; известен и их общий источник — классический дари; это позволяет вывести таджикскую и новоперсидскую системы гласных и объяснить их возникновение устранением дифференциального элемента длительности для таджикского вокализма и устранением дифференциального элемента компактности для ново-

[2] Как известно, А. Мейе требовал для доказательности звукового закона наличия не менее трех примеров.

[3] См. об этом, например: Г. А. Климов, Вопросы методики сравнительно-генетических исследований, Л., 1971.

[4] W. L. Magnusson, Complementary distributions among the root patterns of Proto-Indo-European, «Linguistics», 34, 1967.

персидского вокализма, в связь с чем можно поставить большую «ассибилируемость» новоперсидских заднеязычных в сравнении с таджикскими:



Обращает на себя внимание то обстоятельство, что рассмотренные изменения фонологических систем связаны с закономерным «исчезновением» или «возникновением» того или иного дифференциального элемента. Скорее всего, в данном случае происходит переход дифференциального элемента с суперсегментного на сегментный уровень или наоборот. Иначе говоря, дифференциальный элемент выходит из фонемного пучка или же, напротив, входит в него. Это предположение позволяет установить связь между наличием свободных тонов и отсутствием следов звонких придыхательных в балто-славянских языках — в противоположность индоарийским. Греческий, германские и кафирские языки представляют в этом отношении промежуточные ступени: как на распределение тонов, так и на дистрибуцию согласных в них накладываются ограничения. Трансформация системы гласных в таджикском и персидском может быть связана с изменением фонетического облика слова, проявляющимся в ряде специальных ограничений и редукций.

Напротив, когда устанавливаются звуковые соответствия диатопического характера, связывающие заимствованные слова в одном языке со словами-источниками в другом языке, то случайность соприкосновения фонологических систем ведет к тому, что их соотношение несимметрично, часты соответствия нескольких (трех и более) фонем одного языка одной фонеме в другом языке. Так, тадж. [s] соответствует арабским *s*, *s̱*, *ṯ*, а индонезийск. *s* передает санскритские *s*, *ś*, *ṣ*, *c*, *ch*, и т. д. В терминах дифференциальных элементов здесь — произвольное устранение элемента, к тому же — без компенсации.

Для систем согласных алтайских языков, если их рассматривать с точки зрения системности соответствий, характерны две особенности. Центральная часть этих систем — смычные — не только структурно гомоморфны, но просто совпадают, это одни и те же *p*, *b*, *t*, *k*, *g*, *č*, *ǯ*[5]. Признаки генетической общности, как это часто бывает, таятся и в маргинальных явлениях: различение $*r^1$ и $*r^2$, устанавливаемое на основании тюркского материала, сохраняется в тунгусских сочетаниях согласных: $*r^1b > rb$, $*r^2b > lb$. Анализ маргинальных, реликтовых явлений, как известно, дает

[5] Неясно, почему Г. Дёрфер полагает, что монг. *č* не имеет соответствия с тюркским, ср.: N. P o p p e, Verglelchende Grammatik der altaischen Sprachen, Tl. I — Vergleichende Lautlehre, Wiesbaden, 1960, стр. 25—26, 62—63.

особенно важные доказательства генетического родства. Здесь вслед за Дёрфером можно привести реликтовое мн. число на *-t* в тюркском (узб. *qul* «раб» ~ якут. *kulut* «слуга», *tegin* ~ *tegit* «принц», *alp* «герой» ~ *alpaγut* «герои», аффиксы принадлежности в якутском — *-bi-t* «наш», *-γi-t* «ваш»), сравнимые с монг. *-d* и сев.-тунг. *-tī-(l)*. Непродуктивное *-n* (аффикс?) характерен для слов со значением частей тела в различных алтайских языках, восходя, возможно, к древнему значению сингулятива (ср. выше *tegi-n*): монг. *aman* «рот», *mörün* «плечо», *nirūn* «спина»; эвен. *билэ̄н* «запястье»; маньчж. *симэн* «лимфа», *шугин* «костный мозг», эвенк. *ǯalan* «сустав»; тюрк. *tapan* «подошва», *kötan* «зад», *bojun* «шея» [6]. Исключительно важна и столь характерная для алтайских языков черта, как тесная связь между согласным и количеством последующей гласной, указывающая на единство просодического строя праязыкового состояния.

Картина не меняется, если принимать три исходных ряда согласных по способу артикуляции; тогда различение между тунгусо-маньчжурскими и тюркскими языками сравнимо с различием между индийскими и иранскими языками. Еще более важно то, что в дальнейшем развитии алтайских согласных действуют одни и те же тенденции, достаточно характерные на фоне, например, индоевропейских языков. Для индоевропейских языков, как известно, на различных этапах их развития в разных языках проявляется тенденция к расщеплению гуттуральных на гуттуральные и на среднеязычные (под воздействием гласных). Для всех групп алтайских языков характерна совершенно иная, но притом единая тенденция: «отщепление» среднеязычных не от заднеязычных, а от переднеязычных, параллельное расщеплению заднеязычных на чисто заднеязычные (*k*, *g*) и увулярные (*q*, *γ*); этот процесс менее обычен для индоевропейских языков. Более частная тенденция, прослеживаемая, однако, во всех алтайских языках,— переход $p > f > h$. Подобный переход хотя и известен в ряде индоевропейских языков, но не может считаться характерной тенденцией их развития; к тому же в индоевропейских языках переход $> h$ нередко является судьбой не только одного из глухих спирантов. Могущие показаться типологическими, эти закономерности на самом деле имеют источниками своеобразный консонантизм в алтайском с его увулярным рядом, с одной стороны, и консонантизм в индоевропейском с несколькими гуттуральными рядами без увулярного, с другой; особенные для каждой семьи тенденции развития являются отношениями диахронического порядка, функциями, соединяющими свои функтивы и тем самым отделяющими их от чужих.

Эти установленные алтаистами закономерности указывают на то, что основные звуковые законы, связывающие алтайские языки, имеют генетическое происхождение. Такие факты, как совпадение большого числа согласных в тюркском *j*, не могут служить аргументом против вывода о том, что данный процесс относится к позднему периоду, к внутренней истории тюркских языков и, возможно, объясняется индоевропейским, в первую очередь — иранским, субстратом.

Заключение о том, что генетическое родство в качестве непременного условия подразумевает системный характер звуковых законов, установлено на материале индоевропейских языков, но, естественно, не вследствие их особенного характера, а лишь в силу их большей изученности, что и позволяет выводить общие закономерности для сравнительно-исторического языкознания в целом. При этом во многом совпадающие пратунгусско-маньчжурское, пратюркское и прамонгольское состояния оказываются в некоторых отношениях значительно ближе друг к другу, чем, например,

[6] G. D ö r f e r, Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen, I—III, Wiesbaden, 1963—1967, s. v.

праиндоиранское и прагреческое, праславянское и прагерманское. Конечно, принцип закономерного соответствия не является единственным и всегда применимым. Наиболее ярко его действие проявляется при наличии в одном языке нескольких серий звуковых соответствий, из которых одна носит явственно выраженный генетический характер, другие же, несомненно, связывают определенные лексические пласты с источником заимствования. Самым же спорным является сдвиг артикуляции под влиянием субстрата; возможно, в этом случае на негенетические связи укажет неожиданное и незакономерное изменение распределения дифференциальных элементов, их исчезновение и т. п.

3. Индоевропейское языкознание достигло значительных успехов в своей scientia etymologica. Еще недавно Л. Шпитцер в своих знаменитых парадоксах указывал, что наилучший путь этимологизирования — воздержание от создания новых этимологий [7]. В настоящее время, особенно после этимологических разысканий Бейли и Фриска [8], можно попытаться обобщить основные принципы в этой области: п е р в ы й ш а г — внутриязыковой (филологический, историко-лингвистический, морфологический и т. п.) анализ слова или другой рассматриваемой единицы — с целью подготовки достаточного основания для этимологического построения; в т о р о й ш а г — фонетическое переведение, перекодирование слова или другой единицы по звуковым законам — на родственные, часто более древние языки и поиски сконструированной единицы в сравниваемом языке [9]. Т р е т и й ш а г необходим в том случае, когда обнаружена фонетически соответствующая единица с отличающимся значением. Тогда — из-за отсутствия семантических законов, которые могли бы быть практически использованы — приходится обращаться за поддержкой к семантическим аналогиям, причем нередко приводятся различные типы изменения значения в языках, далеких от сравниваемых; более убедительны, однако, семантические закономерности, засвидетельствованные в кругу тех же сравниваемых языков [10]. На это же направлена методика выявления семантического потенциала, разработанная В. И. Цинциус: сперва исследуется спектр значений данного корневого гнезда, установленные семантические связи служат затем для этимологических выкладок на материале родственных языков [11]. Ч е т в е р т ы й ш а г — проверка и подкрепление этимологического рисунка; приемы, применяемые для этой цели, показаны Ю. В. Откупщиковым и О. Семереньи [12].

Заметим, что в ряде случаев именно в работах Г. Дерфера [13], несомненно, поднявшего строгостью своего метода сравнительно-историческое ал-

---

[7] L. S p i t z e r, Aus der Werkstatt des Etymologen, «Jahrbuch für Philologie», I, 1925, стр. 129.

[8] См.: R. E. E m m e r i c k, D. H. J o h n s o n, Writings of N. W. Bailey, BSOAS, XXXIII, 1970, стр. X—XIV; H. F r i s k, Griechisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg, I—III, 1960—1971.

[9] Этот шаг ведет либо к сопоставлению слова в одном языке со словом в другом языке, либо к реконструкции праформы, что является разновидностью того же перекодирования.

[10] От этого шага практически отказывается Гатри (M. G u t h r i e, Comparative Bantu, I, London, 1967), который сравнивает лишь семантически совпадающие, но не семантически близкие единицы.

[11] В. И. Ц и н ц и у с, Задачи сравнительной лексикологии алтайских языков, сб. «Очерки сравнительной лексикологии алтайских языков», Л., 1972, стр. 11—12.

[12] См.: Ю. В. О т к у п щ и к о в, Из истории индоевропейского словообразования, Л., 1967, стр. 192—224; О. С е м е р е н ь и, Славянская этимология на индоевропейском фоне, ВЯ, 1967, 4.

[13] G. D ö r f e r, Türkische und mongolische Elemente...; в ряде случаев, однако, сам автор допускает нестрогие выражения: «irgendwie zusammenhängt»— о тюрк. *qaya* «доска» и *qayli* «телега» или «merkwurdig ähnlich klingt»— о тюрк. *qul* «раб» и маньчж. *guli* «маньчжурский раб».

тайское языкознание на очень высокий уровень, проявляется чрезмерная осторожность. Так, сопоставление тюрк. *kelin* «невестка» и эвенк. *kəlī* «свояк» (№ 1700) объяснимо происхождением от общего термина для некровного родства, ср. лат. *adfīnis* «породнившиеся посредством брака» ← «близкие»: здесь мы видим основание и для отнесения этих слов к $\sqrt{kel}$- «приходить». Тюрк. *sev-* «любить», монг. *seb*, эвенк. *sevǰen* «радость, спокойствие» (№ 1319) соотносятся так же, как лат. *venus* «любовь» и др.-в.-нем. *wunna* «большая радость», др.-инд. *prīyate* «любить» и нем. *Freude* «радость», ирл. *cion* «любовь» и др.-инд. *canas-* «удовольствие»; требование не объединять этимологически именные и глагольные корни (т. е. тюркские глагольные и именные в других языках) предполагает невероятный консерватизм системы частей речи [14]. Столь же сводимы тюрк. *sekü* «сидение, скамья» и ульч. *sekte* «расстилать», эвенк. *səktə* «ветка» (№ 1258; ср. и.-е. $\sqrt{ster}$- «расстилать», откуда авест. *stairiš-* «постель», лат. *strātum*, часто то же, или др.-греч. ὄζος, гот. *asts* «ветвь» < **o*-[*z*]*do-s* от $\sqrt{sed}$- «сидеть»); тюрк. *sā-* «считать» и тунг. *sā-* «знать» [ср. лат. *memor* «помнить» и тадж. *шумурдан* «считать» от и.-е. $\sqrt{(s)mer}$-; русск. *считать* родственно др.-инд. *cā́yati*, др.-греч. τηρέω «наблюдать», др.-ирл. *adcī* «разум»].

Конечно, этимологизирование может совершаться и как бы в нарушение приведенных «шагов», силой исследовательской интуиции; но логика исследования остается той же. В основе описанной процедуры лежат звуковые законы. Им, однако, не всегда должно рабски следовать: удачные сопоставления, сделанные даже в нарушение звуковых законов, способны иногда уточнять и дополнять их, ибо нарушимо лишь то, что принято в качестве нормы. Используя эти общекомпаративистские положения, можно обратиться к тезису Г. Дёрфера о том, что между разнообразием индоевропейских метеорологических терминов и разнообразием алтайских метеорологических терминов существует «коренное» различие, а именно: индоевропейские термины сводимы к общеиндоевропейским корням, в то время как для алтайских терминов это, по его мнению, невыполнимо.

Ниже предлагается ряд кратких этимологий, имеющих целью показать, что алтайские термины в этом отношении не отличаются от индоевропейских. Предлагаемые этимологии во многом предварительны: сравнивается лишь тюркский с тунгусско-маньчжурским — наиболее далекие группы [15]. Семантические обоснования приводятся из индоевропейской области — они служат лишь для аналогического подкрепления.

1) Эвенк. *ńūltən* «солнце» (аянский говор) сопоставимо с др.-тюрк. *jūlqa*, *jūla* «факел», *julduz* «звезда». Связь рассматриваемого слова с глаголом *jū-* «выходить» может указывать на первичность значений «солнце», «звезда» и на вторичный характер значений типа «греть». Сходная связь значений предполагается для другого слова с тем же значением: уже Г. Рамстедт [16] сравнивает эвенк. *dilačā* с др.-тюрк. *jïlï-* «согреваться» (воз-

[14] Сравнительно прозрачный агглютинативный строй изучаемых языков, по-видимому, настораживает Г. Дёрфера при восстановлении «неочевидных» корней, хотя несомненно, что от ряда корней должны были остаться лишь их дериваты. Это делает вполне допустимым сопоставление казах. *quzγal*, староузб. *quzγun-* и монг. *quruγulǰa-* «быть возбужденным» (* $\sqrt{qōr}$-) или тюрк. *qïzïl* «красный» и монг. *kiraγa* «начало зари» или тюрк. *čāl* «сероватый», монг. *čagān* «белый», эвенк. *čabbān* «береза» (* $\sqrt{ča}$-).

[15] Формы приводятся по следующим работам: «Древнетюркский словарь», Л., 1969; В. И. Цинциус. Сравнительная фонетика тунгусо-маньчжурских языков, Л., 1949; Г. П. Василевич, Очерки диалектов эвенкийского языка, Л., 1948; M. Räsänen, Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen, Helsinki, I — 1969, II — 1971.

[16] G. J. Ramstedt, Einführung in die altaische Sprachwissenschaft, I — Lautlehre, Helsinki, 1957, стр. 42.

можно, с «солнцем» же связано др.-тюрк. *jïl* «год»). Индоевропейская параллель: ирл. *grian* «солнце» < *greina- < и.-е. * $\sqrt{g^{u}her-}$ «гореть»/др.-инд. *ghramsa-*, брет. *groez* «солнечная жара». Для общеалтайского можно реконструировать два корня с близким значением * $\sqrt{dil°}$ «греть(ся)» [17] и * $\sqrt{jül°}$ «сверкать». Их контаминация может объяснить такие формы, как эвенк. *dul-* «согревать». Третье эвенкийское слово для «солнца» — учурско-зейск. *sigun*, сымск. *siwun*, *sigun*, илимпийск. *higun*. В. И. Цинциус (устное сообщение) предлагает видеть в этом слове тот же корень, что и в эвен. *hiē-* ~ эвенк. *siγin-* «высовываться»; эта этимология подтверждается др.-тюрк. *siz-* «показываться над горизонтом» (о солнце) [18]. Возможно, в протоалтайском различно обозначались отдельные «фазы» солнца.

2) Эвенк. *ńaŋńa* «небо», эвенк. *ńānin* «небо», «воздух», сопоставляемые с др.-тюрк. *jaŋ* «свет, блеск, день»; здесь представлен тот же круг значений, что у и. -е. * $\sqrt{di̯eu̯-}$. Древнетюркское слово считается заимствованием из китайского; но возможно и смешение китайского заимствования и исконного слова: в таком случае *jaŋ* могло бы быть связанным с *jaŋi* «новый».

3) Эвенк. *tigdə* «дождь», сол. *tɛgdɛ* «идти дождю», эвенк. *tik-* «падать» [ср. эвенк. *tigdɛlɛ̄n*, орок. *tugdylɛ* «бревно, переброшенное (< упавшее) через ручей для перехода»], можно сравнить с др.-тюрк. *tög-* «толочь, молотить» *tuγ* «завал»; общеалтайский * $\sqrt{tik/g-}$ «падать, ронять». Связь глагола движения и имени со значением «дождь» известна в тюркском: *jaγ-* «приближаться» и *jaγmur* «дождь».

4) Эвенк. *tur* «земля», эвен. *tör* «земля, место» содержит, вероятно, тот же корень, что и тюрк. *tur-* «стоять», ср. ср.- тюрк. *tura* «крепость» и т. п. Ср. др.-инд. *bhūmī* «земля» < * $\sqrt{bhū-}$ «быть» и * $\sqrt{sthā-}$ «стоять», который во многих языках выполняет функции вспомогательного глагола, близкого по значению к связке. Индоевропейский материал типологически подкрепляет предположение о связи значений «земля» ~ «находиться» ~ «стоять». Не относится ли эвенк. *turkū* «нарта» к тому же корню?

5) Маньчж. *mukə*, эвенк. *mū* «вода» фонетически сопоставимо с др.-тюрк. *buγra* «верблюд-производитель». Отдаленность значений с первого взгляда кажется парадоксальной. Для индоевропейского, однако, подобная связь не вызывает сомнений; Э. Бенвенист [19] убедительно показал связь между следующими словами: авестийск. **varəšan-* «производитель» (из *maēša-varəšni-* «баран»), др.-инд. *vṛ́ṣā* «муж, производитель» (< semen emittens), ср. *varṣa-dhara-* «евнух» (< semen retinens); в более узком значении — лат. *verres* «кабан», литов. *vẽršis* «теленок» и др.-инд. *varṣati* «идти (о дожде)»; др.-греч. ἐ(F)έρση «роса, влага; новорожденные ягнята» — они все возводятся к и.-е. * $\sqrt{u̯ers-}$ «влага; дождь, роса», «семя».

Приведенные этимологические выкладки имели целью показать, что в области алтайских языков применима та же методика корневого анализа, как и для индоевропейских языков или любых других языков, исследуемых при помощи сравнительно-исторического метода. И для индоевропейских языков, как неоднократно доказывалось, основы с метеорологическим значением образованы от корней, не имеющих, естественно, такого значения, и поэтому они связаны с весьма различной лексикой.

4. Предложенное Г. Дёрфером различение «аналогического» и «гомологического» родства языков представляет переформулировку традици-

[17] Обозначение *dil°* (не *dil-*) сигнализирует о неясности морфемного шва.

[18] Эта этимология указывала бы на актуальность детерминантного анализа для алтайского.

[19] E. Benveniste, Le vocabulaire des institutions indo-européennes, 1—2, Paris, 1969.

онного противопоставления генетической и типологической близости, диахронических и диатопических отношений. С попыткой доказать, что алтайское единство является лишь типологическим, можно спорить. Рассмотрим один из наименее удачных способов антиалтаистической аргументации — доказательство «от противного», основывающееся на том, что признаки, объединяющие алтайские языки, якобы достаточны и для того, чтобы считать генетически родственными таджикский и узбекский языки [20]. В действительности отношения между именно этими двумя языками исключительно сложны и требовали бы специального исследования — как исторического, так и лингвогеографического; чрезвычайно актуальной задачей остается сопоставительное изучение двуязычных памятников авторов-зуллисанайн. Обращаясь к пунктам, сформулированным Г. Дёрфером, необходимо указать на то, что факты интенсивных лексических заимствований в наиболее маргинальных говорах таджикского языка — типа касансайского — в общем нехарактерны для всех северных говоров в столь сильной степени. Приведенная им схема «падежных» соответствий в этих двух языках абстрактна, функционирование сопоставляемых форм не столь параллельно: ср., например, тадж. *-а* < *ро* и узб. *-ни* и *-нинг* [21]. Самое трудное для сопоставительного анализа — глагол — автор оставляет в стороне, хотя именно глагол позволяет осветить таджикско-узбекские языковые отношения. Для системы глагола как таджикского, так и узбекского языка характерно наличие специфических грамматических категорий: 1) категории глагольной модификации; 2) категории определенности/неопределенности; 3) категории эвиденциала.

Категория глагольной модификации выражается аналитическими формами, состоящими из отглагольного имени («деепричастия») и одного из полувспомогательных глаголов, образующих особый ряд: *гирифтан//олмоқ* «брать», *гаштан//юрмоқ* «двигаться», *додан//бермоқ* «давать», *шудан//бўлмоқ* «становиться», *истодан//турмоқ* «стоять», *рафтан//кетмоқ* «уходить», *шиштан//ўтирмоқ* «сидеть», *дидан//кўрмоқ* «видеть» и др.

Основная функция этой категории — определение отношения процесса или глагольного действия к другим процессам, их актантам и т. п. Эта категория отчасти подобна падежам, определяющим отношения актантов; ее аналитическое оформление в индоиранских языках [22] хронологически совпадает со сложением новых падежных систем, ограниченных преимущественно синтаксическими отношениями. В тюркских языках здесь значительна вероятность иранского влияния; в древних индоевропейских языках существовала тенденция использования вспомогательных глаголов, хотя в основном данный круг значений выражался приставками, возникшими из наречий; для общеалтайского можно предполагать в качестве соответствующего грамматического средства скорее аффиксы. Но, несмотря на несомненные конвергентные процессы, приведшие к хотя и не полной, но весьма значительной изоморфности систем модификаторов в таджикском и узбекском, этимологически совершенно бесспорны иранское и тюркское происхождение соответствующих модифицирующих глаголов: здесь существенное препятствие для «генетического» сближения.

Категория (глагольная) определенности/неопределенности представлена как в таджикском [ср. *навишта истодаам* «я (сейчас) пишу», определенный имперфект *навишта истода*

[20] G. Doerfer, Zur Verwandtschaft der altaischen Sprachen, IF, 71, 1966.

[21] Именно смешение этих последних форм в некоторых узбекских диалектах можно приписать иранскому влиянию.

[22] K. Ch. Bahl, A study in the transformational analysis of the Hindi verb, Chicago, 1964.

будам «я писал (когда...)»], так и в узбекском (ср. *ёзаяпман*, *ёзаётган эдим* — те же значения); примечательно, что близкие по значению формы известны в индоевропейских языках атлантического ареала (например, в кельтских). Узбекская форма *ёз-моқ-да-ман* «я именно сейчас пишу, продолжаю писать», локативная по происхождению и длительно-определенная по значению, сопоставима с аналогичной формой в другом иранском языке среднеазиатского ареала — шугнанском: *wuz-um nivištowand* (то же).

В связи с происхождением этих форм интересен и параллельный диахронический сдвиг в употреблении соответствующих глагольных форм в таджикском и узбекском: *мехонам* заменило *хонам*, а *ёзаман* «я пишу» — *ёзарман* («возможно) я напишу» в функции настоящего-будущего времени изъявительного наклонения. В свою очередь *хонам* (сослагательное наклонение) и *ёзарман* (неопределенное будущее) сохранились. Это объясняет отсутствие таджикского эквивалента со значением неопределенного будущего.

Категория эвиденциала[23] представлена грамматическими значениями повествовательности, субъективности; ср. тадж. *навиштаам* и узб. *ёзибман* «я, оказывается, написал».

Ко всем этим явлениям можно обращаться, лишь имея в виду, что тюркские языки с их развитым глаголом представляются ветвью алтайских языков[24], сложившейся в процессе активного взаимодействия с индоевропейскими языками. Узбекский язык к тому же испытал сильное влияние иранского субстрата — он сформировался там, где раньше пользовались хорезмийским и дари, согдийским и сакским языками. В частности, для становления тюркского глагола важно учитывать, что в индоевропейских языках глагол со значением «стоять» * $\sqrt{sthā-}$ с древнейших пор используется как вспомогательный[25]. Особое развитие в этой функции он получил в иранских языках[26]. В хотаносакском языке были также грамматикализованы глаголы со значением «сидеть», «лежать»[27].

Таджикский язык занимает в рассматриваемой диахронической и диатопической перспективе особое место. Генетически он связан с классическим дари. Использование дари в роли культурного наддиалекта для обширной и лингвистически разнообразной территории обусловило своего рода его «грамматическую минимальность». При учете именно этой особенности становится понятным различие между современным узбекским, где эти категории структурно соотносимы с таджикскими, и староузбекским[28], где они скорее могут быть сопоставимы с аналогичными грамматическими структурами в классическом дари. Ареально и типологически

---

[23] Об этой категории см.: R. Jakobson, Shifters, verbal categories and the Russian verb, Harvard, 1957. Для истории этой грамматической категории важно выявление соответствующих значений в английском языке [П. Джамшедов, Длительный вид глагола (сопоставительно-типологический анализ Present и Past Continuous с формами таджикского глагола), Душанбе, 1971] и открытие К. Гофмана, доказавшего существование этой категории в общеиндоевропейском (K. Hoffmann, Das Kategoriensystem des indogermanischen Verbums, «Münchener sprachwissenschaftliche Studien», 28, 1970; его же, Der Injunktiv im Veda, Heidelberg, 1967).

[24] См. об этом: K. Menges, The Turkic languages and peoples, Wiesbaden, 1968, стр. 57—58, 128.

[25] См. об этом: F. Mossé, Histoire de la forme periphrastique *être* + participe présent en germanique, pt. I, Paris, 1938.

[26] E. Benveniste, Le verbe *stā-* comme auxiliaire en iranien, AO, XXX, 1966, стр. 45—49.

[27] Л. Г. Герценберг, Хотаносакский язык, М., 1965, стр. 117.

[28] Г. Ф. Благова, О характере так называемого «чагатайского» языка конца XV в., сб. «Тюрко-монгольское языкознание и фольклористика», М., 1960, стр. 33 и сл.

таджикский язык близок, прежде всего, к среднеиранским языкам Центральной Азии, а также к тюркским языкам, сложившимся под древне- и среднеиранским влиянием.

Данными фактами определяется значение тюркского адстрата в таджикском литературном языке и в его диалектах. Эти явления — закономерное следствие многотысячелетних контактов Ирана и Турана; они же показывают, что за большой типологической близостью, близостью «характерологической», стоят причины генетической природы: узбекский язык явился своего рода медиатором, передававшим различные характерные черты от среднеиранских языков таджикскому языку.

Заметим, что подобная интерференция характерна и для лексики. Так, в таджикском языке слово *алав, алов* «пламя» справедливо рассматривается как узбекское заимствование; это слово, действительно, представлено в различных тюркских языках; но старейшая тюркская лексикография определяла его как иранское заимствование. То, что об этом сообщает Махмуд Кашгарский, позволяет предполагать происхождение данного слова скорее из какого-то согдийского диалекта: согд. *"ϑ'(')ʷ легко связать с $\sqrt{ϑaw}$ «гореть» (хорезм. ϑ'*w*-, язгул. *ϑəп*, шугн. *ϑow*, хот.-сак. *paṭhuta-* < * *pati-ϑu-ta-*). Для этого корня, однако, не совсем ясны более глубокие связи: либо он представляет модификацию $\sqrt{tap-}$ «гореть», либо связан с др.-греч. ϑύω «совершать жертвоприношения». К этому же корню, по-видимому, относится *аланга* «пламя» (< **ă-ϑav-ana-ka-*). Иранское происхождение вероятно и для многих других слов, таких, как *ўрмон* «лес» (< **var-man-*, ср. авест., др.-инд. *urvarā-* «растение» или авест. *varəša-*, др.-инд. *vṛkṣa-* «дерево», а также и.-е. $\sqrt{u̯er(dh)}$- «расти»), *кіč* «маленький» (< **ka -ϑyačī-*) и др. Одним из препятствий, стоящих на пути выявления иранского лексического пласта в узбекском, является недостаточность данных о хорезмийском языке.

Отношения таджикского и узбекского языков являют собой смешение генетических и типологических факторов. Если алтайские языки в отдаленнейшем прошлом обнаруживали такие же тенденции к сближению, как таджикский и узбекский в настоящем, вряд ли что-нибудь может препятствовать их анализу как родственных: индоевропейское праязыковое состояние, как это неоднократно предполагалось, также сложилось в результате взаимодействия нескольких источников. Общее же наследие как в алтайских, так и в индоевропейских языках заставляет восстанавливать не только процессы конвергенции, но и сохранявшуюся близость и единство, независимо от их предшествующей истории [29].

[29] Приношу глубокую благодарность В. И. Цинциус, Т. И. Бугаевой, О. П. Сунику, Д. М. Насилову, принявшим участие в обсуждении рукописи этой статьи.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1974

Д. И. АРБАТСКИЙ

О СУЩНОСТИ ТАВТОЛОГИИ В СЕМАНТИЧЕСКИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯХ

Явление тавтологии хорошо известно не только логикам, но и лингвистам, лексикографам: тавтологичные определения не имеют познавательной ценности и перестают служить средством анализа лексических значений слов. Естественно, что усилия составителей толковых словарей всегда были направлены на устранение этого недостатка, на повышение познавательного уровня семантических дефиниций. Однако результаты этих усилий оцениваются различно. В лексикографических работах прошлых лет проблема тавтологии не занимала сколько-нибудь значительного места. Не выражалось какого-либо сомнения относительно нетавтологичности подавляющего большинства определений национальных толковых словарей. В работах же современных авторов проблема тавтологичности словарных определений выдвигается на первое место. По мнению этих авторов, большое число (если не большинство) современных семантических дефиниций толковых словарей неправомерны в силу своей тавтологичности. Считается, что тавтологичность современных семантических дефиниций невозможно преодолеть традиционными методами, поэтому предлагаются весьма кардинальные меры для ее устранения — отказ от вербальных определений и использование вместо них остенсивных дефиниций, сведéние языка определений к минимальному языку науки, создание нового особого семантического языка для описания лексических значений слов. Такие идеи развиваются, в частности, в ряде работ Ю. Д. Апресяна [1]. Несомненно, что вопросы сущности тавтологии семантических определений, а также способы ее преодоления заслуживают всестороннего и глубокого обсуждения.

В современной логической науке еще нет единого общепринятого решения вопроса о сущности данного явления. С одной стороны, имеются попытки содержательного анализа тавтологии и порочного круга. Они трактуются в этом случае как недостаточность информации об определяемом объекте [2], или как повторение в поясняющей части дефиниции того же понятия или той же мысли, которые фиксируются поясняемой частью [3]. С другой стороны, тавтология рассматривается с точки зрения формы, структуры определения, она трактуется в этом случае как общность языка поясняемой части (ДФД — definiedum) и поясняющей части (ДФН — definiens) определения. В отличие от логиков, Ю. Д. Апресян и некоторые другие авторы не проявляют каких-либо сомнений относительно сути тавтологии, они без колебаний выбирают чисто формальную трактовку тавтологии как использование языка ДФД в языке ДФН и кладут его в ос-

[1] Ю. Д. Апресян, Толкование лексических значений как проблема теоретической семантики, ИАН ОЛЯ, 1969, 1; его же, О языке для описания значений слов, там же, 5.

[2] См.: R. Robinson, Definition, Oxford, 1950, стр. 40; G. Tamás, Die wissenschaftliche Definition, Budapest, 1964, стр. 157.

[3] В. Ф. Асмус, Логика, М., 1947, стр. 54.

нову анализа толковых словарей. Между тем, как будет показано в дальнейшем, это понимание не раскрывает сути тавтологии, искажает ее.

Все элементы языка, участвующие в построении определения, с этой точки зрения разделяются на две замкнутые, не связанные между собой группы. Одну группу составляют слова и выражения, которые выполняют роль поясняемой части определения (язык ДФД), другую группу образуют слова и выражения, выполняющие роль поясняющей части определения и его составляющих (язык ДФН). Если слагаемые языка ДФД и языка ДФН находятся на своих местах (соответственно в левой и в правой части), то определение нетавтологично. Если же они меняются местами, переходят из одного языка в другой, то неизбежно возникает тавтология, или порочный круг, определение теряет свою познавательную ценность. Исходя из этого положения, формулируется правило, запрещающее смещение языка ДФД и языка ДФН: определяющее не должно содержать в себе определяемого и наоборот. Выяснение вопроса о том, почему же все-таки повторение в поясняющей части определения языка поясняемой части ведет к тавтологии, могло бы привести к иному, более глубокому пониманию этого явления. Однако Ю. Д. Апресян не ставит этого вопроса, что позволяет ему остаться в рамках чисто формальной трактовки тавтологии.

Само по себе формальное определение тавтологии отражает некоторые реальные факты. Однако в целом оно явно односторонне, фиксирует лишь внешнюю, формальную сторону тавтологии и в силу этого не раскрывает ее сущности. С одной стороны, это определение тавтологии узко, не охватывает многих действительно тавтологичных определений, у которых, однако, нет общности языка поясняемой и поясняющей части. Рассмотрим следующие примеры. *Слон — животное, рождающее себе подобных. Правило — то, что противоположно исключению.* В данных определениях, как видно, нет того условия, которое считается главной причиной тавтологии — общности языка ДФД и ДФН. Тем не менее они тавтологичны, поскольку поясняющая часть в них не содержит в себе никакой новой информации по сравнению с тем, что уже известно до определения из поясняемых слов. И тот, кто не знает смысла данных слов, фактически ничего не узнает из этих бессодержательных определений. Такие тавтологичные определения появляются всякий раз, когда мы пытаемся раскрыть значение требующих пояснения слов путем указания всем известных признаков, например, *звук — то, что мы слышим, свет — то, что мы видим, ромашка — это цветок, который расцветает летом* и т. д.

С другой стороны, рассматриваемое определение тавтологии слишком широко, оно включает в себя такие определения, у которых имеется общность языка ДФН и ДФД, но которые тем не менее не являются тавтологичными. Поясняющая часть у таких определений содержит достаточное количество информации, необходимой для раскрытия значения поясняемого слова. Вот некоторые примеры из известного «Словаря лингвистических терминов». О. С. Ахмановой (М., 1966). «Вокализованный **согласный — согласный**, образуемый при участии голоса, который прибавляется к шуму; **Глагольно-адвербиальное словосочетание — сочетание** глагола с постпозитивным предложным наречием, функционирующее наподобие сложного **глагола**; второстепенные **члены предложения — члены предложения**, не являющиеся главными и различающиеся по способу включения в **предложение**». То языковое различие между ДФД и ДФН, которое имеется в этих определениях, вполне достаточно для точного раскрытия смысла поясняемых слов.

Но дело здесь не в особенностях сложного термина. Если поясняющая часть определения содержит в себе достаточно сведений для раскрытия

значения поясняемого слова, то даже полное повторение его в поясняющей части не приведет к тавтологии. Чрезвычайно важный вывод, который вытекает из сказанного, состоит в том, что повторение поясняемого слова в поясняющей части дефиниции само по себе отнюдь не означает тавтологии или порочного круга, что существуют (возможны) нетавтологичные определения с элементами общности языка между ДФД и ДФН.

Более внимательное изучение познавательной роли логических определений в последнее время привело к переоценке познавательной ценности подобных квазитавтологичных дефиниций. Оказалось, что они совершенно необходимы для раскрытия разнообразных взаимных отношений между предметами и словами и не заключают в себе какого-либо порока. В математике и математической логике широко используются так называемые рекурсивные определения, спецификой которых является повторение одних и тех же знаков в поясняемой и поясняющей части. Однако они не утрачивают от этого своей познавательной ценности. Как показал И. Бар-Хиллел, такие «рекурсивные» определения широко применяются в эмпирических науках, не вызывая каких-либо явлений тавтологичности. Несомненно, такие рекурсивные (мнимо тавтологичные) определения используются и в толковых словарях. Можно даже утверждать, что здесь они находят наиболее широкое распространение.

Ю. Д. Апресян рассматривает два таких квазитавтологичных типа семантических определений, которые он толкует как действительно тавтологичные. Первый тип встречается при истолковании значений синонимов. В толковых словарях русского языка для взаимного пояснения нередко используются такие синонимические пары, как *большой — значительный*, *благодарность — признательность*, *мебель — обстановка*, *принимать — получать*, *помощь — содействие*, *утрачивать — лишаться*, *необходимость — надобность*, *потребность — нужда* и др. Конечно, если тавтологией считать всякое повторение поясняемого слова в поясняющей части, то перед нами тавтология. Но этот чисто формальный подход неубедителен. Взаимно рекурсивные определения как раз показывают несостоятельность чисто формального определения тавтологии.

Предположим, что мы располагаем лишь непонятными для читателей синонимическими парами, например, *ительмены* и *камчадалы*, *пума* и *кугуар*. Взаимные пояснения этих слов оставались бы для читателя тавтологичными, ибо ни одно из этих синонимических слов не вносит необходимой ясности, не раскрывает смысла поясняемых слов. Здесь мы встречаемся с реальной тавтологией и реальным порочным кругом. Однако если мы будем иметь дело с общеизвестными словами с достаточно ясными значениями (именно об этом случае говорится в работе Ю. Д. Апресяна), то при взаимном пояснении тавтологии уже не возникает. Рассмотрим это на примерах, которые Ю. Д. Апресян использует для иллюстрации тавтологичности синонимических определений: *несчастье* — «беда, горе», *беда* — «несчастье», *горе* — «беда, несчастье». Поясняющие слова в каждом из этих трех определений достаточно понятны для читателей словаря, содержат всю необходимую информацию о смысле поясняемого слова. И если у кого-либо возникает неясность относительно значения поясняемого слова (именно на этот случай они и приводятся), то данные определения дадут необходимые и достаточные пояснения. Если попытаться раскрыть реальный смысл поясняемых слов иным путем, иными словами, то нельзя указать никакой информации, кроме той, которая содержится в поясняемых словах. Можно получить лишь более длинные по объему толкования.

Разумеется, пояснительная способность слов *несчастье*, *горе* и *беда* неодинакова. Наиболее распространенным и более известным является, по-

видимому, слово *несчастье*. Поэтому второе и третье определения являются в этом смысле более ясными и содержательными. Однако слова *горе* и *беда* достаточно хорошо известны читателям, для которых они предназначены, и в совокупности дают достаточно содержательное пояснение. Замена этих слов другими словами отнюдь не улучшит толкование.

В статье «Толкование лексических значений как проблема теоретической семантики» Ю. Д. Апресян признает необходимость и возможность синонимических толкований. Он требует лишь, чтобы хотя бы один синоним из данного синонимического ряда «был разложен на семантические составляющие» (стр. 13), т. е. раскрыт иным языком. Однако это требование чрезмерно. Один из синонимов рекурсивных синонимических определений необходимо раскрывать путем описания лишь в том случае, когда в синонимическом ряду имеются слова, значение которых недостаточно ясно и понятно для читателей, типа *микроб — бактерия — бацилла* и под. И это требование выполняется в современных толковых словарях русского языка. В тех же случаях, когда синонимический ряд состоит из слов, значение которых достаточно хорошо известно читателям, данное требование излишне: предполагаемое описание не внесет ничего нового.

Другой тип тавтологии Ю. Д. Апресян усматривает в толковании значения слов, обозначающих взаимосвязанные предметы и явления типа *звук — слух*, *лемех — плуг*, *комната — квартира*, *гореть — огонь*, *глаз — зрение*, *бритва — брить*. Чисто формальный подход к тавтологии здесь опять вынуждает автора отыскивать несуществующие недостатки в этих вполне достаточных определениях. Возьмем, к примеру, слова *звук*, *слух*, *слышать*. Они обозначают неразрывно связанные явления и вполне естественно, что в определении их значения раскрываются эти реальные взаимные связи. Слово *звук* в толковых словарях обычно определяется как «воспринимаемые слухом колебания воздушной среды», значение слова *слух* — как «одно из пяти внешних чувств, дающее возможность воспринимать звуки, способность слышать», смысл слова *слушать* — как «различать, воспринимать слухом издаваемые чем-либо или кем-либо звуки». Несмотря на то, что указанные слова в приведенных толкованиях встречаются и в поясняемой, и в поясняющей части, эти определения не являются тавтологичными, ибо в каждом из них содержится достаточно информации для пояснения, выраженной общепонятным языком.

Существует еще одна группа мнимо тавтологичных словарных определений, которые различными авторами обычно объявляются ошибочными. Это определения, в поясняющей части которых употребляется близкое по значению и однокоренное с поясняющим термином слово. Например: *приемник* — аппарат, который *принимает* радиоволны; *привратник* — сторож, который стоит у *ворот* тюрьмы; *арестовать* — подвергать *аресту*; *беседовать* — вести *беседу*; *выкорчевывать* — *корчуя*, удалить; *вырубить* — *рубкой* уничтожить; *слепнуть* — становиться *слепым*; *расширяться* — становиться *шире* и под. То, что Ю. Д. Апресян не зачисляет эти толкования в разряд тавтологических — это его непоследовательность, ибо они полностью подходят под формальное определение тавтологии: у них в наличии — общность языка ДФД и ДФН. В действительности эти определения также нетавтологичны в силу того, что в поясняющей части этих определений содержится информация, вполне достаточная для раскрытия смысла поясняемых слов.

Таким образом, основные положения, из которых исходит формальное толкование тавтологии, противоречит фактическому материалу. С одной стороны, в практике толкования встречаются такие определения, у которых нет общности языка, тем не менее они оказываются тавтологичными. С другой стороны, в практике часто применяются определения, которые

обладают общностью в языке ДФД и ДФН, тем не менее эти определения оказываются нетавтологичными. Более того, такие квазитавтологичные определения оказываются или совершенно необходимыми или более эффективными, чем соответствующие определения без общности языка основных компонентов определения.

Формальное понимание тавтологии сложилось на основе односторонней трактовки логического определения, как выражения логического равенства, в котором два синонимических выражения (ДФД и ДФН) имеют один и тот же смысл. В применении к семантическим определениям Ю. Д. Апресян формулирует это положение следующим образом: «Значения определяемого и определяющего выражений должны быть тождественны; если A — определяемое, а BC — определение, то должны иметь место следования $A \rightarrow BC$ и $BC \rightarrow A$ (условие необходимости и достаточности признаков BC для A). Применительно к лексикографии это значит, что в любом случае употребления А и ВС они должны быть по смыслу взаимозаменимы» [4]. Если это так, что какова же роль семантического определения в раскрытии смысла слова? Оно лишь устанавливает тождество сформировавшихся до определения значений слов, но не вносит ничего нового, не меняет смысла слова. Но это и есть то, что называется тавтологией, что неизбежно ведет к тавтологии. Действительная роль семантических определений иная. Если значения слов ясны и понятны, то семантические толкования не нужны. Потребность в толковании возникает лишь в том случае, когда смысл слова в данной ситуации не известен или не ясен в том или ином отношении, когда необходимо уточнять его смысл. И назначение семантического определения как раз в том и состоит, чтобы уточнять, углублять смысл слова, делать его более ясным и содержательным. Это основная функция определения осуществляется лишь в силу того, что составляющие его части по смыслу не равны и не взаимозаменяемы. Несмотря на то, что в целом ДФД и ДФН обозначают один и тот же класс предметов (имеют один и тот же объем именования), они тем не менее не тождественны по фиксируемой информации. Иначе говоря, в любом семантическом определении, кроме отношения равенства, есть еще и отношение неравенства [5].

Анализ толковых словарей русского языка с точки зрения содержательного определения тавтологии показывает, как и следовало ожидать, что подавляющее большинство словарных определений конструктивно и не является тавтологичным. В них отражается большой опыт углубления, уточнения значений слов в связи с развитием науки, культуры, распространением образования. По крайней мере, все те упреки, которые были сделаны в адрес толковых словарей с точки зрения тавтологичности, основаны на недоразумении, вытекают из одностороннего, чисто формального понимания тавтологии. Однако отсутствие достаточно ясного и глубокого представления о тавтологии дает себя знать в толковых словарях советской эпохи, не говоря уже о словарях предшествующих эпох, где содержится немало действительно тавтологичных определений.

Наиболее широкая сфера распространения тавтологичных дефиниций в толковых словарях русского языка — это область аналитических по своему содержанию слов: абстрактных существительных, глаголов, прилагательных. Здесь принято правило: достаточно полно и точно толковать в системе однокоренных слов с близким значением лишь одно производящее или мотивирующее слово. К производному же слову дается обычно

[4] Ю. Д. Апресян, Толкование лексических значений как проблема теоретической семантики, стр. 12.

[5] См.: Д. И. Арбатский, Определение как логическое равенство, «Уч. зап. [Удмуртск. пед. ин-та]», Философия. Научный коммунизм, 13, Ижевск, 1968.

чисто формальное определение, которое по своему существу является отсылкой на значение производящего слова. Поэтому утверждение Ю. Д. Апресяна о том, что «одно и то же значение в словарях толкуется столько раз, сколько различных способов выражения оно имеет в данном языке»[6], не соответствует реальным фактам. Однако эти формальные отсылки, как правило, подаются как самостоятельные, независимые от других слов определения. Естественно, что в этом случае они оказываются тавтологичными. Например: *Солипсист* — сторонник солипсизма; *евгенист* — последователь евгенетики; *паслен* — семейства пасленовых растений; *сфагновый* — относящийся к сфагнуму; *сольный* — исполняемый соло. У недостаточно опытных читателей такие определения неизменно вызывают недоумение.

Особенно неудачны в этом смысле используемые большим академическим «Словарем современного русского литературного языка» толкования значения абстрактных существительных, образованных от прилагательных по схеме: «X —свойство такого-то». Например, *специальность* — свойство специального; *разборчивость* — свойство разборчивого; *извращенность* — свойство извращенного. Дело здесь не только в их тавтологичности, но и в неверной отсылке. Фактически эти определения отсылают к субстантивированным прилагательным, в то время как на самом деле они образованы от прилагательных со значением признака предмета. Такие определения одновременно и двусмысленны, и тавтологичны.

Тавтологичны по своей сути и некоторые синонимические определения современных толковых словарей, поясняющий синоним которых столь же неясен по значению, как и поясняемый, например, «сопелка — то же, что сопель, кафель— то же, что изразец, упырь — то же, что вампир»[7]. Выражение «то же, что» здесь можно было бы понять как отсылку к тому месту словаря, где дается достаточно полное раскрытие значения поясняющих слов. На самом же деле оно не имеет такого характера, ибо используется в тех синонимических определениях, в которых не требуется никакой отсылки, например: «средина — то же, что середина, хрипучий— то же, что хриплый» и под. В результате синонимические определения, в которых недостаточно ясное слово для читателей поясняется еще менее ясным и понятным, оказываются самостоятельными толкованиями, не зависимыми от толкования этих же слов, и в силу этого тавтологичными.

Приведенные примеры, количества которых легко увеличить, в целом снижают содержательность словарных определений, отнюдь не способствуют эффективному использованию толковых словарей для уточнения, углубления смысла слов. Однако важно отметить, что недостаток этих определений не столько в форме, сколько в их содержании. Поэтому для устранения отмеченных недостатков нет необходимости менять их язык, следует лишь наполнить их необходимым содержанием. Это может быть достигнуто без существенной перестройки определений — путем применения четко разработанной системы графических отсылок.

Положительная разность в информации между ДФН и ДФД отнюдь не постоянна, она изменяется в связи с изменением уровня знания, развития науки. В силу этого одно и то же определение оказывается часто тавтологичным в одной ситуации и нетавтологичным в другой (например, в среде специалистов и школьников). Поэтому для установления тавтологичности или нетавтологичности той или иной дефиниции решающее значение имеет определение уровня знаний тех читателей, для которых

[6] Ю. Д. Апресян, Идеи и методы современной структурной лингвистики, 1966, стр. 259.

[7] См.: Д. И. Арбатский, Синонимический способ определения значений слов, «Уч. зап. [Удмуртск. пед. ин-та]», 18 — Языкознание, Ижевск, 1968, стр. 46 и сл.

они предназначены. Современные толковые словари, несомненно, всегда исходят при толковании слова из определенного уровня развития его читателей, хотя и не формулируют его четко и определенно. Несомненно, что они опираются прежде всего на уровень неспециалистов. Этот уровень определяет конкретное содержание всех словарных определений указанных словарей. В теоретических же рассуждениях Ю. Д. Апресяна какой-либо конкретный уровень развития или знания читателей не только не предполагается, но и вообще полностью отвергается. Единственным критерием эффективности семантических толкований оказывается осуществление автоматического перевода. Естественно, что многие из конкретных предложений толкования значения общеизвестных слов оказываются без достаточно определенного адреса.

Сторонники формальной трактовки тавтологии предлагают чисто формальные средства для ее устранения: отказ от вербальных определений, создание особого семантического языка и др. Поскольку тавтология — это по сути содержательное явление, то, очевидно, эти приемы непригодны для ее преодоления. Для этого необходимо выявление реальных (а не словесных) семантических компонентов слова, систематическое повышение содержания семантических определений. Однако семантическая информация в конце концов фиксируется словами, поэтому здесь не бесполезно выявить те качества языка, которыми должны обладать нетавтологические определения.

1. Несомненно, что язык поясняющей части определения должен быть ясен и понятен читателям или слушателям. Как было видно из приведенных выше примеров, одна из причин тавтологии — это неясность поясняющих слов в определениях такого типа, как «сфагновый — относящийся к сфагнуму» и под. В силу этого в общенациональном толковом словаре в качестве поясняющих слов используются наиболее распространенные, всем известные нейтральные слова.

2. Лексико-семантическая система современных развитых языков весьма сложна, она постоянно усложняется в связи с расширением и углублением познания. Понятно, что язык поясняющей части определений должен быть достаточно богатым, чтобы выразить все значения и смысловые оттенки поясняемых слов. Более того, этот язык должен постоянно развиваться, обогащаться в связи с появлением новых значений слов, новых оттенков смысла. Логические определения в рамках строгой дедуктивной теории могут обходиться минимальным словарем. Раскрытие же лексико-семантической системы современного естественного языка требует весьма развитого, богатого, разностороннего языка, который не может быть заменен никаким искусственным суррогатом.

3. Язык поясняющей и поясняемой части современных семантических определений, несомненно, различен. Язык ДФД составляют слова менее ясные и менее известные читателям. Язык же ДФН образуют наиболее известные или общеизвестные слова, составляющие основной словарный фонд языка. Поэтому утверждение Ю. Д. Апресяна о том, что язык поясняемой и поясняющей части определения одинаков, не соответствует действительности. Тем не менее значительная часть словаря ДФД и ДФН действительно общая, одни и те же слова в толковых словарях применяются и в той и в другой части определений. Чем же вызвана эта общность языка ДФД и ДФН? Во-первых, она вызвана необходимостью время от времени вновь и вновь уточнять, углублять смысл тех слов, которые прежде или в иной ситуации были уже определены. Во-вторых, она вызвана необходимостью систематического обогащения языка поясняющей части определений (а язык ДФН может обогащаться лишь за счет языка ДФД). Одним словом, общность словаря языка ДФН и языка ДФД от-

нюдь не случайна, она в целом является отражением процесса непрерывного углубления и уточнения языка в связи с непрерывным расширением и углублением познания и одним из важных условий нетавтологичности семантических определений.

Как видно из анализа, формально-логическая в своей основе теория семантического определения не раскрывает сути тавтологии, не показывает реальных путей ее преодоления. Вместо действительно строгой теории предлагается весьма неясные и неопределенные рассуждения, суть которых в итоге сводится к отрицанию важной познавательной роли семантических определений. Это неизбежное следствие одностороннего подхода к сложной проблеме, результат преувеличения значения формы определения за счет его содержания. Глубокая всесторонняя теория семантических определений и лексических значений слова может быть построена лишь на основе диалектико-материалистической теории определения.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1974

Л. В. БОНДАРКО, Л. А. ВЕРБИЦКАЯ, М. В. ГОРДИНА,
Л. Р. ЗИНДЕР, В. Б. КАСЕВИЧ

СТИЛИ ПРОИЗНОШЕНИЯ И ТИПЫ ПРОИЗНЕСЕНИЯ

Понятие стиля произношения реально занимает в фонетике периферийное место, несмотря на то, что этого вопроса касаются в той или иной степени многие авторы [1]. Различение произносительных стилей признается существенным для теории и практики преподавания языка, однако и для этой цели в большинстве случаев отсутствуют разработанные рекомендации.

Считается, что противопоставление «полного» и «разговорного» стилей, введенное в обиход Л. В. Щербой еще в 1915 г. [2], находится в том же ряду, что и различение стилей торжественного, ораторского, официального, фамильярного и т. п. Щербовская классификация рассматривается лишь как более обобщенная.

Повод для этого был дан самим Щербой. Во-первых, употребив термин «стиль», он сам провоцировал слишком широкое и даже неверное истолкование рассматриваемого им явления. Во-вторых, в некоторых высказываниях он прямо включал свои стили в стили речи вообще, как, например, в следующих строках: «Разные формы речи, приспособленные к разным социальным условиям, называются стилями речи. Разные стили отличаются друг от друга не только лексически и синтаксически, но и фонетически. В соответствии с большим разнообразием социальных условий речи можно различать множество стилей. Мы будем различать для простоты всего два» [3].

Наряду с этим, у Щербы можно найти и иные высказывания. Так, в одной из последних работ, опубликованной посмертно, мы находим существенно отличающуюся от приведенной формулировку: «Совершенно очевидно,— читаем мы,— что тут возможно бесконечное число переходных ступеней, начиная от абсолютной ясности и четкости (например, при произношении по слогам) до небрежной скороговорки, когда все неударные слоги наполовину съедаются. Практически достаточно различать два типа произношения, которые назовем один — полным стилем, а другой — разговорным» [4]. Здесь, как мы видим, речь идет уже только о четкости и нечеткости произношения, однако поскольку термин «стиль» все же

---

[1] См., например: Р. И. Аванесов, Русское литературное произношение, М., 1972: P. R. Léon, Essais de phonostylistique, «Studia Phonetica», IV, Monteréal, 1971; M. Shapiro, Russian phonetic variants and phonostylistics, Berkeley — Los Angeles, 1968; в последней работе вводится различие между «стилем» и «кодом», близкое различению стиля произношения и типа произнесения.

[2] Л. В. Щерба, О разных стилях произношения и об идеальном фонетическом составе слов, в кн.: Л. В. Щерба, Изб. работы по русскому языку, М., 1957, стр. 21. В этой статье нет еще терминов «полный» и «разговорный», но само противопоставление сформулировано вполне отчетливо.

[3] Л. В. Щерба, Фонетика французского языка, Л.— М., 1937, стр. 19.

[4] Л. В. Щерба, Теория русского письма, в кн.: Л. В. Щерба, Избр. работы по русскому языку, стр. 154.

сохранился, возникала и возникает возможность смешения явлений, по природе своей существенно различных.

Целесообразно, очевидно, терминологически разграничить эти два понимания «стиля произношения», закрепив данный термин лишь за общей фонетической характеристикой высказывания. Для детальной же фонетической характеристики элементов речи, вплоть до характеристики сегментов фонемной протяженности, можно было бы предложить термин «тип произнесения» [5].

Сколько же существует типов произнесения и как они различаются? Л. В. Щерба различал два стиля произношения (в нашей терминологии — типа произнесения): полный и разговорный или, лучше сказать, «неполный». Дихотомичность этой классификации имеет принципиальный характер: она вытекает из того, что критерием различения полного и неполного типов произнесения должно служить не то или иное качество фонетического исполнения, не та или иная ступень его совершенства, а возможность ф о н е м н о й и н т е р п р е т а ц и и соответствующего отрезка речи: о полном типе произнесения следует говорить тогда, когда данный отрезок получает вполне определенную фонемную интерпретацию. Если же однозначная фонемная интерпретация невозможна, то перед нами неполный тип.

Например, слово *часы* может быть произнесено так, что будет неясно, звучит ли в первом слоге аллофон фонем /i/, /e/ или /a/. Не подлежит в то же время сомнению, что данное слово можно произнести и так, чтобы указанная неоднозначность исключалась; это может быть объективно установлено артикуляторно-акустическим анализом и, что особенно важно, восприятием этого слова носителями русского языка. В первом случае мы будем иметь дело с неполным типом произнесения, во втором — с полным.

Таким образом, критерием определения полного типа является однозначное распознавание фонемного состава соответствующего отрезка речи, а это в свою очередь обеспечивается сохранением в произнесении основных фонетических характеристик (применительно к такому случаю Щерба употреблял термин «идеальный фонетический состав»). Полный тип произнесения позволяет в с е г д а установить фонемный состав данного отрезка речи (значит, и в с е г д а повторить услышанное). Напротив, при неполном типе для этого требуется наличие соответствующего контекста или ситуации.

Из этого следует, что ни одно высказывание не может принадлежать ц е л и к о м неполному типу (за исключением, вероятно, реплик, полностью предсказуемых контекстуально и ситуативно). Иначе говоря, полный тип обязательно должен характеризовать произнесение по крайней мере некоторых частей любого высказывания. Если бы это не было так, если бы все сегменты высказывания одновременно допускали множественность интерпретации, восприятию не на что было бы опереться в понимании текста.

В то же время даже поверхностные наблюдения над связной речью свидетельствуют, что далеко не все ее сегменты реализуются как принадлежащие к полному типу произнесения. В этой связи уместно вспомнить следующие слова Щербы из статьи «О разных стилях произношения»: «Звуковая сторона слова, которая казалась всегда такой ясной, непреложной, которая представлялась определенным ядром более или менее расплывчатых семасиологических представлений, оказывается, таким образом,

[5] Термины «произношение» и «произнесение» не равнозначны: первый обозначает нечто постоянное для данного индивида или коллектива, второй характеризует отдельный акт говорения, рассматриваемый с чисто звуковой стороны.

сама не менее расплывчатой и неопределенной» [6]. Аналогичное высказывание принадлежит Р. Якобсону и М. Халле, которые пишут: «Поскольку во многих случаях функциональная нагрузка фонемы для слушателя оказывается в действительности сниженной, говорящий в свою очередь освобождается от необходимости в точности соблюдать все звуковые различия; ... Звуковой облик речи может быть не менее эллиптичным, чем ее синтаксическое построение» [7].

Таким образом, речевая цепь обычно неоднородна. Она образуется сегментами полного типа произнесения, которые в восприятии однозначно ассоциируются с определенными фонемами (или последовательностями фонем) и сегментами неполного типа. Неполный тип произнесения допускает много градаций с точки зрения объективного качества сегментов, может происходить и полное выпадение какого-нибудь из них. Возникающая в таких случаях фонетическая неопределенность может характеризоваться разной степенью выраженности и может быть устранена либо в результате расширения контекста, либо в результате сужения круга возможных решений (например, при отсутствии слов с близким фонемным составом).

Объективная неоднородность речевой цепи (выраженная в определенных пределах) практически не влияет на восприятие речи. Не только восприятие сегментов полного типа, но и восприятие сегментов, характеризующихся неполным типом произнесения, остается в общем случае категориальным, а не основанным на законах вероятностной логики; в результате устанавливается вполне определенная, соответствующая данной значимой единице последовательность фонем. Более того: произносительная неоднородность речевой цепи нормально даже не фиксируется сознанием. Следовательно, с функциональной точки зрения такая речевая цепь должна считаться однородной.

Объективная неоднородность речевой цепи проявляется (если рассматривать ее с точки зрения восприятия), очевидно, не в конечном результате анализирующей деятельности человека, а в методах принятия им решений. Сегменты, произнесенные с использованием полного типа, могут опознаваться благодаря их объективным характеристикам, решение же относительно сегментов неполного типа принимается в результате иных процедур, основанных не только (иногда не столько) на анализе фонетической картины, но и на учете грамматических, смысловых и прочих связей, вплоть до экстралингвистических.

Таким образом, восприятие речи даже в самом узком смысле, т. е. как установление фонемного состава высказывания, никак не может считаться относящимся только к фонологическому аспекту. Строго говоря, последний ведает распознаванием только того, что принадлежит к полному типу произнесения. В случае же неполного типа идентификация определенной языковой единицы не только не является результатом установления ее фонемного состава, но, напротив, достаточно часто установление фонемного состава есть лишь побочный продукт опознавания данной единицы благодаря контекстной избыточности.

Сказанное отнюдь не противоречит противопоставлению произносительных типов. Непреложным остается тот факт, что должен существовать некий минимум речевых отрезков, фонемный состав которых не нуждается в дополнительной информации для своей идентификации. В такой, например, ситуации, когда вводится слово, безусловно незнакомое слушающим, различие типов произнесения выступает особенно наглядно:

[6] Л. В. Щ е р б а, Избр. работы по русскому языку, стр. 21.

[7] Р. Я к о б с о н, М. Х а л л е, Фонология и ее отношение к фонетике, «Новое в лингвистике», II, М., 1962, стр. 234.

в этом случае абсолютно необходимо использование полного типа при произнесении корневого элемента со словообразующими аффиксами, в то время как произнесение предсказуемых из контекста формообразующих аффиксов не требует этого.

В нормальном случае при наличии контекста распознавание сегментов полного типа также может происходить при действии внефонетических факторов, так что фонетический, грамматический и семантический анализ воспринимаемого отрезка речи проходит параллельно.

Реальность существования разных процедур восприятия фонетических последовательностей можно считать достаточно очевидной. Несмотря на однородность результатов этих разных процедур, фонологична лишь процедура восприятия сегментов полного типа, основывающаяся на использовании собственно фонетической информации; если же, например, автоматически восстанавливается благодаря смысловым факторам полностью отсутствующий в произнесении сегмент, то это не имеет отношения к фонологическим процедурам и в этом смысле к фонологии.

Релевантную фонетическую информацию несет не только соответствующий сегмент и его непосредственное окружение. Важную роль играет просодическая модель слога, слова, синтагмы и т. д. Для русского языка — в первую очередь, естественно, для гласных — существенно положение сегмента относительно ударения. В экспериментах Л. В. Бондарко и Л. А. Вербицкой [8] было обнаружено, что, например, последний гласный слова *няня*, будучи изолирован, устойчиво воспринимается аудиторами как /i/. Однако в составе слова этот же гласный столь же устойчиво опознавался как /a/ (и это нельзя было отнести на счет доминирования основной, словарной формы — поскольку слово *няни* воспринималось с /i/). Было бы, однако, преждевременным на основании изложенного считать, что критерий устойчивой опознаваемости может оказаться неэффективным. Описанные экспериментальные данные можно объяснить следующим образом. Для принятия решения о фонемной принадлежности гласного в русском языке человек должен использовать информацию о просодической модели слова; соответствующие правила квалифицируют звук не только на основании измерения определенных акустических параметров, но также на основании знания о корреляции этих параметров с местом сегмента относительно ударения. При изолировании гласного, как это имело место в эксперименте, информация о его безударности снималась, что и обусловило расхождение в восприятии.

Однозначное восприятие, следовательно, свидетельствует о присутствии полного типа произнесения лишь в том случае, когда обеспечены условия использования релевантной фонетической информации. При этом релевантной фонетической информацией следует считать такие характеристики речевой цепи, о которых известно, что они используются носителями языка для фонемной идентификации. Так, правила коартикуляции и редукции, безусловно, должны считаться такой релевантной фонетической информацией, ибо без их учета не может быть обеспечено ни порождение, ни распознавание фонетического облика слова.

Само по себе однозначное восприятие еще не говорит о том, что мы непременно имеем дело с отрезком речи, характеризующимся полным типом произнесения, поскольку такое восприятие весьма часто обеспечивается использованием внефонетической информации. Это можно утверждать только тогда, когда снята возможность обращения к внефонетической информации — фактически тогда, когда высказывание лишено смысла

[8] См.: Л. В. Бондарко, Л. А. Вербицкая, О фонетических характеристиках заударных флексий в современном русском языке, ВЯ, 1973, 1.

(или — у́же — когда смысловая интерпретация высказывания возможна только после установления его п о л н о г о фонемного состава).

С практической точки зрения это говорит о том, что наиболее надежным материалом для исследования фонетических коррелятов фонологических единиц являются бессмысленные фонологические «слова», т. е. «слова», лишенные смысла, но построенные по фонотактическим правилам данного языка. Можно представить себе такую схему подготовки экспериментального материала: составляются фонологические слова (синтагмы, предложения), которые предъявляются для воспроизведения диктору; для того чтобы убедиться в том, что диктор произнес экспериментальный материал, используя полный тип, звучащая запись произнесения предъявляется аудиторам; уже после этого можно приступать к исследованию объективной фонетической картины, будучи уверенным, что в материале отсутствуют сегменты, фонемная отнесенность которых реально не поддается точному определению.

Все это отнюдь не означает, что не следует стремиться к выяснению картины, действительной для связной спонтанной речи. Необходимо лишь учитывать, что в ней значительный процент речевой цепи представлен сегментами неполного типа, точная квалификация которых с фонологической точки зрения не осуществима [9]. С одной стороны, это значит, что исследование таких сегментов не дает информации об инвариантных характеристиках фонем в системе; с другой стороны, если мы обладаем такой информацией, то, получив данные о параметрах конкретных сегментов неполного типа произнесения речевой цепи, мы не сможем привести эти две группы данных во взаимно-однозначное соответствие.

Разумеется, нельзя не учитывать большой вариативности характеристик фонем в системе, в связи с чем может возникать необходимость в достаточно сложных операциях над речевой цепью для идентификации фонем, имеющих большое «поле рассеивания» своих характеристик. Иначе говоря, отсутствие п р о с т ы х правил идентификации еще не говорит о ее принципиальной невозможности. Это приводит к мысли о необходимости сложных исследовательских операций над речевой цепью для определения «поля рассеивания» характеристик фонем.

Из всего сказанного ясно, что понятие типа произнесения имеет капитальное значение для методики определения фонемного состава как языка в целом, так и отдельных языковых единиц. Практически в фонологии это понятие полностью исключается; считается, что нужно опираться на связную спонтанную речь, особенно при выявлении состава фонем слов и морфем. Однако Л. В. Щерба еще в 1915 г. связывал фонемный анализ с «идеальным фонетическим составом слов», а Р. Якобсон и М. Халле писали: «Небрежное произношение является лишь сокращенным производным вариантом полной, отчетливой формы речи, которая несет наибольшее количество информации. При анализе системы фонем и различительных признаков, которые их составляют, нужно исходить из наиболее полного кода, который имеется в распоряжении говорящих на данном языке» [10].

Как же можно представить себе соотношение фонологических данных, полученных на основании анализа преимущественно искусственного материала, и нормальной речи? Будем исходить из того, что некоторая часть сегментов любого высказывания должна обязательно реализоваться в полном типе произнесения. Тогда можно было бы установить, какой процент и каких именно сегментов должен произноситься таким образом, чтобы высказывание однозначно интерпретировалось с фонологи-

[9] Проблема автоматического распознавания речи, как явствует из изложенного, является значительно более сложной, чем она обычно представляется.

[10] Р. Я к о б с о н, М. Х а л л е, указ. соч., стр. 234—235.

ческой точки зрения, т. е. отождествлялось с определенными языковыми единицами.

Кроме того, целесообразно изучать степень допустимой деформации сегментов неполного типа произнесения в некоторых данных условиях. Степень такой деформации может сильно варьировать: от звука, фонетически промежуточного по отношению к парадигматической ближайшей фонеме, до полного выпадения звука. Очевидно, что процент сегментов полного типа и степень деформации сегментов неполного типа определенным образом коррелируют.

Точно так же можно устанавливать характеристику произношения отдельных носителей языка.

Варьирование доли и качества сегментов полного и неполного типа в тексте диктуется не только задачей обеспечения взаимопонимания, но связано также с условиями общения, которые определяют функциональный стиль произношения. Каждый такой стиль находит свое выражение и в фонетических характеристиках — в частности и в особенности в относительной доле сегментов полного и неполного типов произнесения, а также, возможно, в их особом качестве и в распределении их в синтаксической ткани высказывания.

Большая или меньшая выявленность соответствующих характеристик могла бы свидетельствовать об отнесенности данного высказывания к тому или иному стилю. Можно было бы установить некую шкалу, которая позволяла бы определять, что высказывание, содержащее такой-то процент сегментов полного типа, есть высказывание, например, разговорного стиля, высказывание же с иным удельным весом такого рода сегментов следует отнести к какому-либо иному функциональному стилю, «выше» или «ниже» разговорного. Тем самым фоностилистика получила бы в свое распоряжение некоторый инструмент для объективного различения функциональных стилей.

Распределение сегментов полного и неполного типов произнесения в речевой цепи, очевидно, подчиняется определенным закономерностям. Не касаясь экспрессивных и т. п. задач, которым принадлежит известная роль в выборе произносительного типа, нужно, прежде всего, указать на естественную связь сегментов полного типа с сильной позицией: как правило, полный тип произнесения отличает, прежде всего, ударный слог. Напротив, количественная и качественная редукция, характерные для слабых позиций, создают условия для реализации неполного типа. Это, впрочем, не означает того, что редуцированный звук обязательно является элементом неполного типа произнесения. Так, в русской речи предударный гласный [u], несмотря на свою относительную краткость и некоторую качественную редукцию, может сохранять однозначную фонемную отнесенность.

Более полное изучение вопроса о соотношении в речи разных по произносительному типу сегментов позволило бы выяснить своего рода «скелетную схему» слова, на которой базируется восприятие. Здесь усматривается возможность интерпретировать известное понятие общего облика слова также и с точки зрения его цельности. Известно, что фонетическую цельность слову в языках, обладающих ударением, сообщает именно ударение, которое выполняет, прежде всего, кульминативную и объединяющую функции. Выделенность ударного слога создает иерархичность фонетической структуры слова, которая в свою очередь обеспечивает более экономное восприятие. Строго последовательное, «посегментное» восприятие было бы, очевидно, менее экономным (даже при одноа временном использовании внефонетической информации), чем своего роде уровневое восприятие, которое ориентируется на некоторые опорны-

точки. К таким «опорным точкам» относятся, можно думать, не только ударный слог, но и ритмическая структура слова в целом, а также начальный слог слова (это объясняет достаточно последовательную большую интенсивность начального гласного). В этом же плане можно рассматривать и информационную неравнозначность гласных и согласных.

Для уточнения понятия типа произнесения важно иметь в виду, что полный тип, в котором реализуется идеальный фонетический облик языковой единицы, никак не связан с орфоэпической нормой. Слово *семь*, например, может быть произнесено двояко при сохранении полного типа: с твердым и с мягким согласным на конце (/s'em/ и /s'em'/); какое из этих произношений считать правильным — это вопрос нормы, орфоэпии. Точно так же и слово *памятник* может произноситься с разным вторым гласным (/pam'itn'ik/, /pam'etn'ik/), /pam'atn'ik/), и какое бы из этих трех произношений ни считать орфоэпическим, оно будет осуществляться по полному типу, если идентификация этого гласного как /i/, /e/, или /a/ не вызывает сомнений.

В подобных случаях речь идет о вариативности, которая наблюдается в фонемном составе тех или иных слов. Такая вариативность и побуждает устанавливать соответствующие орфоэпические нормы.

Даже и такой случай, как *Сан Саныч*, при полной реализации всех фонем с несомненностью следует относить к полному произносительному типу. Неполным он окажется только тогда, когда по объективным фонетическим данным невозможно будет определить, какая фонема была произнесена после /n/ в *Саныч*: /ы/, /e/ или /a/.

В заключение следует вернуться к вопросу о преподавании иноязычного произношения. Конечной задачей обучения, разумеется, должно быть усвоение обоих произносительных типов в их взаимодействии. Однако поскольку прежде всего следует овладеть фонемными отношениями, обнаруживаемыми в речевых единицах изучаемого языка, начинать надо с полного типа — тем более, что переход к неполному типу может быть сформулирован в определенных правилах, но не наоборот.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1974

И. С. УЛУХАНОВ

КОМПОНЕНТЫ ЗНАЧЕНИЯ ЧЛЕНИМЫХ СЛОВ

Членение слова на значимые части есть одновременно выделение в его лексическом значении семантических компонентов, выражаемых этими частями. Членение значения мотивированного слова можно осуществить с целью определения: 1) компонентов значения, выраженных каждой из словообразовательных морфем, входящих в состав слова: *по-вы-везти* «/действие, названное глаголом *везти*/, направленное за пределы чего-нибудь/, поочередно распространить на все или многие объекты/» (знаком/ выделены компоненты лексического значения слова); 2) компонентов, выраженных мотивирующей основой и формантом: *по-вывезти* «/действие, названное глаголом *вывезти*/, поочередно распространить на все или многие объекты/». Первый способ членения семантики соответствует «линейному» членению слова на морфемы, второй — «перспективному» членению [1]. В дальнейшем мы будем рассматривать только второй способ членения значения мотивированных слов. В конце статьи речь идет о компонентах значения членимых немотивированных слов.

Рассмотрим, каким образом в значении мотивированного слова выделяются те компоненты значения, которые выражены мотивирующей основой и формантом.

В словарном составе отыскивается семантически непосредственно мотивирующее слово, т. е. слово с тождественным корнем, обладающее следующими двумя свойствами: 1) его значение полностью входит в значение мотивированного слова; 2) его значение в наименьшей степени по сравнению с другими словами с тем же корнем отличается от значения мотивирующего [2]: *запеть* — «начать п е т ь», *повывезти* — «в ы в е з т и поочередно все или многое», *грязнить* — делать г р я з н ы м», *словарик* — «маленький с л о в а р ь» и т. п.

Нередко в качестве семантически непосредственно мотивирующего выступает не слово, а комплексное наименование; тогда в мотивированном слове может быть представлена основа лишь одного из слов, входящих в это наименование: *фигурист* — «лицо, занимающееся ф и г у р н ы м к а т а н и е м», окказ. *академист* — «лицо, занимающееся а к а д е м и ч е с к о й г р е б л е й»: «Да и сама академическая гребля многолика... Не знаю случая, чтобы «академист» уходил в другие виды гребли» (Г. Аронов, И. Масленников, Приглашение к восьмерке, «Юность», 1972, 8, стр. 106), (ср. *футбол — футболист*, *теннис — теннисист*); *ядерщик* — «лицо, по профессии занимающееся я д е р н о й ф и з и к о й», и *физик* —

---

[1] Ср.: Ю. С. М а с л о в, Морфология глагольного вида в современном болгарском литературном языке, М.— Л., 1963, стр. 150.

[2] В некоторых случаях семантически непосредственно мотивирующее слово не является в формальном отношении наиболее близким мотивированному (ср. *обводнить*, семантически мотивированное словом *вода*, а в формальном отношении наиболее близкое слову *водный*). Подробнее см.: И. С. У л у х а н о в, О принципах описания значений словообразовательно мотивированных слов, ИАН О ЛЯ, 1970, 1, стр. 15—16 (там же указаны предшествующие работы по данному вопросу).

«лицо, по профессии занимающееся физикой», *заполярье* — «местность, находящаяся за полярным кругом» (ср. *заволжье* — «местность, находящаяся за Волгой»), окказ. *домашничать* в значении «заниматься домашним хозяйством»: «Им бы только домашничать, а не о сенокосе думать» (Ф. Абрамов, Братья и сестры); *санитарить* в значении «работать санитарным врачом» (а не санитаром):

Там вот как необходимы
Санитарные врачи!
Санитарить там не просто....
(М. Лисянская, Бокари)

(ср. *шоферить* и т. п.).

Определив непосредственно мотивирующее слово, выделяем в основе мотивированного слова два компонента: мотивирующую основу (т. е. ту часть, которая в формальном отношении тождественна или наиболее близка к основе мотивирующего слова [3]) и оставшуюся часть — формант. В значении мотивированного слова одновременно выделяется мотивирующая часть и вся остальная часть лексического значения. Так, в слове *синеть* выделяется мотивирующая основа *син'-*, тождественная основе мотивирующего слова (*син'-ий*) и формант *-е-* [4]; в плане содержания также выделяются две части — мотивирующая («синий») и оставшаяся — «становиться». Выделив мотивирующую часть как в плане выражения, так и в плане содержания, перейдем к рассмотрению соотношения между значением форманта и оставшейся частью лексического значения мотивированных слов.

Если формант представлен лишь в одном слове (случаи типа *пастух*, *стеклярус*), то этому форманту приписываются все те компоненты значения слова, которые остались после «вычитания» мотивирующей части [5]. Если имеется ряд слов с формально тождественным элементом, входящим в основу этих слов, но не входящим в их мотивирующую основу, т. е. занимающим позицию словообразовательного форманта, то выясняется, имеются ли в немотивирующей части лексических значений этих слов общие компоненты значения.

В результате этого анализа может выявиться, что немотивирующая часть лексического значения всех слов с каким-либо формально тождественным элементом, не входящим в мотивирующую основу, содержит одни и те же компоненты. Так, на долю элемента *-е-* в основах слов типа *белеть*, *прочнеть* и т. п. остается значение «становиться (каким)». Это же значение входит в состав всех других слов с данным элементом, следовательно, оно образует «формантную» часть значения слова *белеть* и является значением форманта *-е-*. В данном случае «формантная» часть зна-

[3] В случае несовпадения семантически мотивирующего и формально наиболее близкого слов в мотивированном слове можно выделять две основы: семантически мотивирующую (об*вод*нить) и формально наиболее близкую (об*вод*нить). Формант (в данном случае префиксально-суффиксальный *об- — -и-*) обычно выделяется по соотношению со второй из основ.

[4] Как известно, основа мотивирующего слова и мотивирующая основа мотивированного слова далеко не всегда в формальном отношении полностью совпадают. Их формальные различия сводятся к трем типам: 1) чередование фонем: *белый — белить* (*л — л'*); 2) отсечение фонем: *толкать — толкнуть* и т. д.; 3) наращение фонем: *столб — столбенеть*, причем все эти различия могут иметь разную степень регулярности; кроме того, встречаются и уникальные (нерегулярные) соотношения указанных выше основ: *иней — индеветь* и т. п. В других работах находим иные интерпретации тех фактов, которые мы рассматриваем как отсечение и наращение. Однако в задачу данной статьи не входит сравнение этих интерпретаций. См. об этом: «Грамматика современного русского литературного языка», М., 1970, стр. 38, 43—45.

[5] Ср.: Е. А. Земская, Унификсы (об одном виде морфем русского языка), Уч. зап. [МГПИ им. В. И. Ленина]», 341 — Вопросы филологии, М., 1969.

чения каждого слова тождественна со значением форманта, причем формант является однозначным.

Если ряд слов с материально тождественным элементом, занимающим позицию словообразовательного форманта, делится на группы, в каждую из которых входят слова с тождественными компонентами немотивирующей части значения, то либо формант, выступающий в этих словах, является многозначным (например, глагольные префиксы), либо в каждую из этих групп входят слова с омонимичными формантами (например, глагольные суффиксы *-ну*$_1$- и *-ну*$_2$-, ср. *толкнуть* и *слепнуть*) [6]. «Формантная» часть значения каждого слова в данном случае также тождественна значению (или одному из значений) форманта.

Однако такое тождество далеко не всегда имеет место. Так, семантическую разность между мотивирующим словом *кожаный* и словом *кожанка* образует значение «пальто или куртка» (*кожанка* — «кожаное пальто или куртка»). Но значение «пальто или куртка» нельзя приписать суффиксу *-к(а)*: он выступает во многих словах, которые означают другие реалии, имеющие отношение к тому, что названо мотивирующим словом: *овсянка* «овсяная каша», *дюймовка* «дюймовая доска», *анисовка* «анисовая настойка» и т. п.[7] Какое место в лексическом значении слов занимают эти компоненты («пальто, «каша», и т. п.)? К мотивирующей части («кожаный», «овсяный») они не относятся. Может быть эти семантические компоненты следует отнести не к «формантной», а к дополнительной части значения слова, не выражаемой ни формантом, ни мотивирующей частью? Но тогда в значении мотивированного слова на долю аффикса вообще не останется никаких семантических компонентов, и аффикс перестанет быть аффиксом. Очевидно, следует признать, что данные элементы образуют формантные части значений слов с данным аффиксом, но эти формантные части, во-первых, не тождественны во всех словах с данным аффиксом; во-вторых, число их принципиально не ограничено, как не ограничено разнообразие реальных предметов; в-третьих, они могут быть подвергнуты лексической абстракции, т. е. подведены под более общую категорию («пальто», «каша» и т. п.→ «предмет»). Если бы мы приписали суффиксу *-к(а)* значения «пальто», «каша», «доска», «настойка» и т. п., то мы не смогли бы обозримо описать его семантику, не установили бы его функции в системе. Как видим, в отличие от слов типа *белеть*, в словах типа *кожанка* формантная часть лексического значения и значение форманта, свойственное ему как элементу системы языка, не тождественны. Точно так же, например, формантная часть значения слова *вощить* «покрывать (чем)» не тождественна значению аффикса *-и-* («действие, имеющее отношение к тому, что названо мотивирующим словом»), формантная часть значения слова *наблюдатель* «лицо...» отличается от значения суффикса *-тель* [«нечто (= субстанция), совершающая действие, названное мотивирующим словом»].

---

[6] В данной статье не рассматривается сложный и не решенный еще вопрос о различении полисемии и омонимии аффиксов. Отметим лишь возможный критерий такого разграничения: значения полисемантичного аффикса имеют общие компоненты, а значения омонимичных аффиксов не имеют. О наличии общих компонентов у разных значений одного и того же префикса см.: И. С. Улуханов, указ. соч., стр. 18—21. Ср. также: Р. С. Манучарян, Об аллосемии и полисемии, «Актуальные проблемы русского словообразования», I, Самарканд, 1972, стр. 209.

[7] Ср. аналогичные рассуждения Н. А. Янко-Триницкой по поводу значения суффикса *-ник* (Н. А. Янко-Триницкая, Закономерность связей словообразовательного и лексического значений в производных словах, сб. «Развитие современного русского языка», М., 1963, стр. 84, 85). В польской и чешской литературе по словообразованию различают структуральное значение формации (польск. *szarak* «нечто серое») и лексическое значение (*szarak* «серая лошадь»). См.: J. Puzynina, Nazwy czynności we współczesnym języku polskim, Warszawa, 1969, стр. 25; M. Dokulil, Tvoření slov v češtině, Praha, 1962, стр. 94—102.

В данном случае мы имеем дело с явлением системы (значение аффикса), представленным в тексте различными нормативными реализациями (формантная часть значения слова) [8]. Значение форманта выводится путем объединения в более общие категории тех компонентов немотивирующей части лексического значения мотивированных слов, которые поддаются такому объединению. Значение форманта в данном случае представляет собой семантический инвариант, а сам формант можно назвать семантически инвариантным, в отличие от формантов типа *-е-*, которые можно назвать семантически неинвариантными.

Системное значение инвариантных формантов типа *-и-*, *-н-*, *-щик* и т. п. состоит в указании того, что слова, в которых они выступают, представляют собой названия действий (или признаков или субстанций) и что эти действия (признаки, субстанции) имеют отношение к тому, что названо мотивирующим словом.

Формантная и мотивирующая части — это обязательные компоненты значения мотивированного слова. Семантика последнего может исчерпываться этими частями. Однако во многих словах после выделения этих частей остаются дополнительные семантические компоненты. Так, и мотивирующие и формантные части значений у слов *певец* и *певун* тождественны («лицо, которое поет»); семантическое различие этих слов создается только за счет дополнительных компонентов значений (эти компоненты ниже ставятся в квадратные скобки): *певец* «лицо, которое [по профессии] поет», *певун* «лицо, которое [охотно и много] поет»; ср. также *писатель*, *писец* и *писарь*; *читатель* и *чтец*; *игрок*, *игрун* и *игрец* и мн. др.

Эти дополнительные компоненты могут быть индивидуальными, присущими только одному из слов с данным формантом, но могут и повторяться в семантике ч а с т и слов с каким-либо формантом, образуя дополнительные лексические объединения в пределах этих слов, например, названия профессий среди слов с суффиксом *-тель* (*писатель*, *учитель*), глаголы с суффиксом *-нича-*, содержащие в своем значении семантический компонент «неодобрение»: *школьничать*, *акробатничать* и т. п. (но *сапожничать*, *столярничать*), существительные с суффиксом *-н(я)*, также содержащие этот семантический компонент: *солдатня*, *шоферня*, *матросня* (но *ребятня*). Если такие компоненты повторяются в ряде слов с различными аффиксами, то они образуют особую подкатегорию в пределах общей словообразовательной категории, создаваемой компонентами, входящими в формантную часть семантики мотивированных слов (ср., например, подкатегорию названий лиц по профессии). В пределах этих подкатегорий взаимодействуют разные способы выражения одного и того же значения. Так, в названиях профессий становится все более продуктивным суффикс *-щик/-чик*, а продуктивность остальных «агентивных» суффиксов снижается.

Наличие дополнительных семантических компонентов делает мотивированное слово идиоматичным: *белить* «делать белым [покрывая мелом, известью и т. п.]»; *соучастник* «участвовавший совместно с кем-либо в каком-нибудь [предосудительном] деле» [9]; *красивость* «[мнимая] красота».

[8] Вопросу о различии системных и нормативных явлений в словообразовании уделяется много внимания в работах Н. Д. Арутюновой, ср. ее: «Очерки по словообразованию в современном испанском языке», М., 1961, стр. 34.

[9] Впрочем в последнее время нередки употребления этого слова и в неидиоматичном значении: «он безусловный *соучастник* исследований и законный соавтор всех выходящих из лаборатории публикаций» (Л. газ., 1 III 72). Идиоматичное слово в данном случае превратилось в неидиоматичное (произошла так называемая «актуализация морфологического состава слова». См. об этом «Тезисы пражского лингвистического кружка», в кн.: В. А. З в е г и н ц е в, История языкознания в очерках и извлечениях, II, М., 1960, стр. 79).

Идиоматичность слова может создаваться не только дополнительными компонентами значения, но и компонентами формантной части семантики мотивированного слова — в том случае, если эти компоненты, будучи обобщены, образуют инвариантное значение форманта, ср. «пальто», «каша» и т. п. → «предмет» у существительных с суффиксом *-к(а)*; «лицо», «орудие», «приспособление», «помещение», «учреждение» → «нечто» (или «субстанция») у слов с суффиксами *-тель*, *-ун*, *-ак* и т. п. Вряд ли можно согласиться с Е. А. Земской, по мнению которой «значения потенциальных слов *вдыхатель*, *обрыватель* целиком складываются из значения составляющих их морфем... „тот, кто вдыхает"... „тот, кто обрывает"»[10]. Неидиоматичными являются лишь те слова с суффиксом *-тель*, которые могут выступать в значении «субстанция, совершающая действие» (без дальнейшей конкретизации: «лицо», «механизм» и т. п.), например: «основной „выводитель" сахара инсулин... теперь уже не справляется со своей обязанностью» (ВМ, 6 IV 71). Что же касается слов типа *писатель* «лицо, которое по профессии пишет художественные произведения», то их идиоматичность создается как дополнительными семантическими компонентами («по профессии», «художественные произведения»), так и тем, что суффикс *-тель* выступает в нем не в своем инвариантном значении («действователь»), а в одном из своих контекстных значений («действователь — лицо») (ср. окказиональное *писатель* в значении неодушевленного предмета: «Мама, у карандаша сломался писатель», Ленингр. пр., 15 XII 68).

К числу неидиоматичных следует отнести, например, те существительные с суффиксом *-к(а)*, которые могут выступать в значении «предмет, имеющий признак, названный мотивирующим словом»: *дешевка*, *времянка* в отличие от слов типа *кожанка* «кожаное пальто», *овсянка* «овсяная каша». Слово *выводитель*, равно как и слово *времянка*, может быть применено к любому явлению, предмету, характеризующемуся определенным действием или признаком [11].

Многие прилагательные с суффиксом *-н-*, *-ов-*, *-ск-* могут выступать в значении, равном сумме значений мотивирующей основы и аффикса («признак, имеющий отношение к тому, что названо именем существительным»), например, «Надеемся, что мимо „ватной проблемы" не пройдут Красноярский краевой и Саратовский областной комитет партии» (Пр., 20 VII 66). Такие прилагательные в словарях толкуются с помощью формулы «прилаг. к...». Значение таких прилагательных сближается со значением родительного падежа того существительного, которым мотивировано прилагательное. В то же время среди прилагательных с этими суффиксами имеются и идиоматичные слова: *жирный* «содержащий много жира» (ср. неидиоматичное *жировой*) и др.

Таким образом, есть инвариантные суффиксы (например, *-тель*, *-к-*, *-н-*), способные выступать как в идиоматичных словах (*учитель*, *жирный*, *кожанка*), так и в неидиоматичных (*подталкиватель*, *ватный*, *времянка*). Другие инвариантные суффиксы всегда выступают только в идиоматичных словах. Таковы, например, инвариантные суффиксы глагола (*-и-*, *-ова-*, *-нича-*, *-ствова-*, *-а-*): не существует глаголов с этими суффиксами и лексическим значением «действие, имеющее отношение к тому, что названо мотивирующим словом». Такие глаголы, как, например, *партизанить*, *мотыжить* и т. п., означают (независимо от контекста) не просто «действие, имеющее отношение к партизану, мотыге и т. п.», а «действие,

[10] Е. А. Земская, Окказиональные и потенциальные слова в русском словообразовании, сб. «Актуальные проблемы русского словообразования», I, Самарканд, 1972, стр. 25.

[11] См.: Д. Н. Шмелев, Очерки по семасиологии русского языка, М., 1964, стр. 95.

свойственное партизану; совершаемое с помощью мотыги и т. п.». Не существует и существительных с суффиксами *-щик*, *-ник*, *-арь*, *-ун* и т. п., лексическое значение которых было бы равно сумме значений морфем: «субстанция, имеющая отношение к тому, что названо мотивирующим словом».

Как видим, среди инвариантных суффиксов нет и не может быть таких, которые бы выступали только в неидиоматичных словах — именно потому, что сама инвариантность есть результат различия между значением форманта и формантной частью значения мотивированного слова.

Идиоматичность слов с неинвариантными аффиксами, естественно, не может создаваться вторым способом (т. е. наличием компонентов, образующих инвариантное значение форманта). Одни неинвариантные аффиксы могут выступать как в идиоматичных, так и в неидиоматичных словах: *-ость*, *-еньк(ий)*, *-е(ть)* (ср. неидиоматичное *смелость* и идиоматичное *красивость*, неидиоматичное *белеть* и идиоматичное *холоднеть*). Другие неинвариантные аффиксы выступают только в неидиоматичных словах; так, отглагольные глаголы (префиксальные и суффиксальные) — обычно неидиоматичны: *запеть* «начать петь», *толкнуть* «однократно совершить действие по глаголу *толкать*» и т. п.

Третий источник идиоматичности мотивированных слов — мотивация комплексным наименованием (см. стр. 71). Слово, мотивированное комплексным наименованием, является идиоматичным в том случае, если значение этого слова включает в себя все компоненты значения этого наименования, но не включает в свой состав основ всех слов, входящих в это наименование. Если эти основы входят в состав мотивированного слова (сложения, сращения), то мотивация комплексным наименованием не создает идиоматичности слова: *нефтяная промышленность — нефтепромышленность*.

Итак, в значение словообразовательно мотивированных слов входят следующие части: 1) мотивирующая часть, выраженная словом или комплексным наименованием; 2) часть, выраженная словообразовательным формантом (инвариантным или неинвариантным); 3) семантические компоненты, не входящие ни в мотивирующую, ни в формантную части. Третья часть, в отличие от первой и второй, может отсутствовать.

Неидиоматичными словами являются слова, которые, во-первых, мотивируются словом или комплексным наименованием, причем основы всех слов, входящих в комплексное наименование, входят и в состав мотивированного слова; во-вторых, включают неинвариантный формант (*прочь*, *домик* и т. п.) или инвариантный формант в его инвариантном значении (случаи типа *выводитель*); в-третьих, не включают никаких иных семантических компонентов. Все остальные мотивированные слова являются идиоматичными.

Если членимое слово является немотивированным, то в его значении выделяются два компонента: 1) значение, выражаемое аффиксом (например, «мясо, употребляющееся в пищу» в словах *говядина*, *буженина*, «ягода» в словах *ежевика*, *малина*, «химическое вещество» в *лизол*, *асидол*, *фенол*, *фталазол* и т. п.; 2) вся остальная часть лексического значения, которую естественно приписать части, оставшейся после вычленения аффикса. Так, в слове *ежевика* «съедобные черные ягоды, растущие на колючем кустарнике» на долю отрезка *ежев-* приходится вся часть значения, кроме компонента «ягоды», на долю отрезка *говяд-* в слове *говядина* «мясо, коровы или быка как пища» компоненты «коровы или быка» и т. д. Такое приписывание семантического остатка оставшейся части слова является, естественно, чисто условным, поскольку последняя с данным значением в других словах в свободном виде не выступает (в отличие от мотивированных слов, ср. *свинина* «мясо свиньи»).

Словообразовательный аффикс в немотивированном слове выделяется, как известно, благодаря тому, что имеются другие слова с тем же формальным элементом перед флексией и теми же компонентами в лексическом значении.

Аффикс «узнается» носителями языка даже в том случае, когда неясно значение слова в целом. Эксперименты типа «глокой куздры» Л. В. Щербы или стихотворения «Jabberwocky» из «Алисы в Зазеркалье» Л. Кэрола показывают, что значение словообразовательного аффикса может быть «узнано» в искусственных словах, вообще не обладающих лексическим значением. Так, в известной фразе Л. В. Щербы *глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокрёнка* в словоформе *будланула* легко выделяется суффикс *-ану-* со значением однократного и экспрессивного действия, а в словоформе *бокрёнка* — суффикс *-онок* со значением «невзрослости».

Значение аффиксов немотивированных слов типа *буженина* или искусственных типа *будланула*, *бокренок* выясняется на фоне мотивированных типа *свинина*, *долбанула*, *котенок*. Но, как показал А. И. Смирницкий, значение аффикса может быть выявлено и в группе таких слов, ни одно из которых не является мотивированным, ср. например, название ягод *малина*, *смородина*, названия химических элементов с суффиксом *-ол*: *асидол*, *лизол*, *скатол*, *тимол*, *фталазол*, *фурфурол*.

Приведенные факты свидетельствуют о том, что значение аффикса может быть установлено независимо от значения мотивирующей основы. Поэтому, с нашей точки зрения, неправы те ученые, которые предпочитают отказаться от определения значения аффикса как такового, вне слова, «самого по себе» — подобно тому, как определяется в словаре значение слова. Так, Г. О. Винокур полагал, что «аффикс может иметь какой-нибудь смысл только тогда, когда он применен к какой-нибудь основе, а не существует сам по себе» [12]. По мнению Н. А. Янко-Триницкой, «правильнее было бы говорить не о значении отдельного аффикса, а о значении, которое создается совокупностью всех структурных компонентов производного слова, иначе говоря, о значении образца» [13]. С нашей точки зрения, аффиксы (как и другие значимые единицы языка) имеют значение вне контекста — в системе, хотя формулирование значений многих аффиксов вызывает большие трудности [14].

Для того чтобы выделить аффикс в немотивированном слове, необходимо, чтобы значение, приписываемое тому или иному формальному элементу, было достаточно определенным — во всяком случае более узким, нежели значение части речи [15].

В словах *будланула*, *бокрёнок* легко выделяется аффикс и определяется его значение, но этого нельзя сделать с той же определенностью в слове *курдячит*, входящем в то же самое предложение, придуманное Л. В. Щербой. Есть ли в этом слове суффикс и если есть, то какой? Далеко не во всех глаголах на *-ить* (если допустить инфинитив *курдячить*) *-и-* является суффиксом (ср. немотивированные *носить*, *ходить*, *водить*, *говорить*).

---

[12] Г. О. Винокур, Заметки по русскому словообразованию, в его кн.: «Избр. работы по русскому языку», М., 1959, стр. 426.

[13] Н. А. Янко-Триницкая, указ. соч., стр. 85.

[14] Ср.: И. Г. Милославский, К вопросу о морфеме как значимой единице языка, ФН, 1969, 2, стр. 74.

[15] Ср. восприятие ребенком сочетания *флюгера не* как названия народа, благодаря закрепленности за элементом *-ан(е)* значения «житель или уроженец местности»: «...лет до шести, произнося „не гнутся высокие мачты, на них флюгеране шумят", думала, что флюгеране — это такой неспокойный народец, снующий среди парусов и преданный императору» (А. Эфрон, Страницы воспоминаний, «Звезда», 1973, 3, стр. 163).

Попытки рассматривать этот элемент в качестве суффикса со значением глагольности малоубедительны в силу того, что значение глагольности в составе глагольной словоформы имеет иные средства выражения — флексии, а предфлексионная фонема /и/ в немотивированных глаголах типа *ходить* не несет никакой семантической нагрузки — равно как и другие предфлексионные фонемы (ср. *а/аj* в *знать*, *е/ej* в *зреть*, *е/ø* в *смотреть*). Не более убедительна и трактовка данных элементов в качестве суффиксов, функцией которых является отнесение глагола к тому или иному классу глаголов с тождественным формальным соотношением основ. Эта функция не является семантической, а суффиксом целесообразно считать лишь тот элемент, который обладает семантикой.

Конечно, значение форманта можно установить лишь в результате обобщения тех значений, которые «приходятся на его долю» в контекстах, т. е. в слове («внутренний контекст» форманта) и в словосочетании или предложении («внешний контекст» форманта). Установленное таким путем значение форманта является его системным значением (или «словарным значением», если можно пользоваться этим термином при отсутствии словарей аффиксов). Как видим, значение аффикса устанавливается тем же путем, что и значение слова — от контекстных значений к значению в системе.

Выделение в членимых (мотивированных и немотивированных) словах компонентов значения, выражаемых значимыми единицами, входящими в состав этих слов, и последующее обобщение компонентов, выражаемых словообразовательными формантами, необходимо для определения границ и объема словообразовательной семантики, более отчетливого отграничения ее от лексической и грамматической семантики.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1974

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Х. ФЕНРИХ

К ИБЕРИЙСКО-КАВКАЗСКОЙ ГИПОТЕЗЕ

Методы исследования, выдвинутые сравнительно-историческим языкознанием, первоначально были апробированы при изучении индоевропейских языков. Однако для того, чтобы их можно было обобщить, их следовало подтвердить и на материале неиндоевропейских языков. В этом отношении коренные кавказские языки предоставляли в распоряжение исследователей весьма ценные сведения. Кавказоведение и сравнительно-историческое языкознание, связанные давними и тесными контактами, и теперь взаимообогащаются и стимулируют развитие друг друга.

Кавказ, называвшийся в древности «горой языков», вмещает на своей территории языки самых различных семей. Здесь рядом с картвельскими, абхазско-адыгскими и нахско-дагестанскими соседствуют также позднее распространившиеся языки других семей: индоевропейской (осетинский, курдский, армянский и др.), семитской (ассирийский) и алтайской (азербайджанский, кумыкский, балкарский и др.).

С давних пор Кавказ является родиной для трех семей языков, обозначавшихся раньше как собственно «кавказские»: 1) картвельские (грузинский, занский, сванский), 2) абхазско-адыгские (абхазский, абазинский, убыхский, кабардинский, адыгейский) и 3) нахско-дагестанские (чеченский, ингушский, бацбийский; аварский, андийский, ботлихский, годоберинский, каратинский, ахвахский, багвалинский, тиндинский, чамалинский, дидойский, хваршинский, гинухский, гунзибский, бежитинский, лакский, даргинский, лезгинский, табасаранский, агульский, рутульский, цахурский, арчинский, крызский, будухский, хиналугский, удинский). Н. С. Трубецкой справедливо заметил, что термин «кавказские языки» характеризует лишь географическое распространение языков и не указывает ни на их генетическое родство, ни на их обособленность от индоевропейских, семитских и алтайских языков [1].

В языках трех семей, с давних пор соседствующих на Кавказе, имеется много сходных черт, однако при этом между ними обнаруживаются и большие расхождения. Каждый из входящих в эти три семьи языков располагает особого рода фонемами, так называемыми абруптивами, которые образуются при помощи двойного затвора (обычного затвора взрывных и гортанного затвора). Кроме того, в языках всех трех семей господствует «результативное языковое мышление» (resultatives Sprachdenken), т. е. прямой объект при переходных глаголах трактуется так же, как и субъект при] непереходных глаголах (правда, в некоторых языках, например, в грузинском, эта черта ограничена определенной частью глагольной си-

[1] N. Troubetzkoy, Langues caucasiques septentrionales, сб. «Les langues du monde», Paris, 1924, стр. 327.

стемы). Все три семьи языков обладают развитой системой спряжения. Строй этих языков в основном синтетический и агглютинирующий. Этим в основном и исчерпывается структурный параллелизм, свойственный абсолютно всем языкам трех семей. Кроме того, конечно, имеется и много других схождений, однако чаще всего они не прослеживаются по всем рассматриваемым языкам.

Так, например, картвельские, абхазско-адыгские и нахско-дагестанские языки часто характеризуются как языки с богатой консонантной системой и слабо развитой вокалической. Что касается богатства консонантной системы, то это утверждение, конечно, весьма относительно, однако для большей части языков, несомненно, справедливо. Г. Фогт усматривает, например, в фонологической системе убыхского языка 80 согласных фонем [2], которым противостоят три гласных. В большинстве языков этих семей мы также найдем подобное соотношение согласных и гласных. Однако существуют и языки, обладающие сравнительно развитой вокалической системой. Так, например, в чамалинском языке насчитывается пятнадцать, в ахвахском двадцать и в гунзибском двадцать четыре гласных.

Фонологические системы отдельных языков весьма различны по своему инвентарю, так что даже между языками одной и той же семьи обнаруживаются значительные расхождения. Аваро-андийские языки отличаются значительным числом латеральных, которые в большинстве других языков нахско-дагестанской семьи (за исключением арчинского, хиналугского, бацбийского) отсутствуют. «Усиленные» (verstärkte) согласные нахско-дагестанских языков не имеют эквивалентов в картвельских языках. Точно так же свистяще-шипящие, существующие в языках абхазско-адыгской семьи, отсутствуют в нахско-дагестанских и современных картвельских языках.

Отличительной чертой языков всех трех семей часто называют эргативную конструкцию, в которой субъект переходных глаголов ставится в эргативе, прямой же объект, напротив, в качестве центрального предмета действия выступает в номинативе. Не говоря о том, что эргатив в этих языках, кажется, является сравнительно новым образованием, следует заметить, что не все они располагают системой склонения (ср. абхазский), а некоторые из них, не имея собственных показателей эргатива, используют в его функции инструменталис или какой-либо другой падеж. Наличие эргатива влечет за собой отсутствие аккузатива, так что мы можем рассматривать отсутствие аккузатива в качестве общего негативного признака, присущего всем этим языкам.

В большинстве языков этих трех семей глагол *хотеть* и вообще глаголы, передающие чувственные восприятия, образуют дативную конструкцию предложения, в которой субъект стоит в дательном падеже, а прямой объект — в номинативе.

Имена в нахско-дагестанских языках распределены по общим, строго определенным классам, которым соответствует определенная форма глагола. Южнокавказские (картвельские) языки не знают именных классов в этом смысле. Таким образом, классному спряжению нахско-дагестанских языков противостоит личное спряжение в картвельских и абхазско-адыгских языках. Однако даже внутри нахско-дагестанской семьи картина неоднородна. В то время как большинство языков этой семьи располагает классным спряжением, имеются также и такие, в которых наблюдается заметная тенденция к замене классного спряжения личным, например, табасаранский, южный диалект которого уже почти полностью утратил

[2] H. V o g t, Dictionnaire de la langue oubykh, Oslo, 1963, стр. 13.

спряжение по классам [3]. В некоторых же языках, например, в лакском и даргинском, личное спряжение утвердилось уже окончательно.

Уже давно в сравнительно-историческом языкознании обсуждается проблема взаимоотношения этих трех семей автохтонных кавказских языков. Мнения разделяются: в то время как одни языковеды считают структурные параллелизмы второстепенными и не признают генетического родства этих языков, другие выступают за их генетическую общность. Однако ни одну из этих точек зрения нельзя считать доказанной.

Иберийско-кавказская гипотеза предполагает, что картвельские, абхазско-адыгские и нахско-дагестанские языки родственны генетически и все вместе образуют семью иберийско-кавказских языков, восходящих к одному языку-основе. Таково мнение А. Чикобава [4]. К иберийско-кавказским языкам этот ученый относит также субстрат в армянском и языки древних албанцев близ Каспийского моря [5].

Иберийско-кавказская гипотеза принадлежит к числу в высшей степени интересных и важных соображений об отношениях трех языковых семей Кавказа и Закавказья. Подобными проблемами занимался уже Н. С. Трубецкой, который, отстаивая мнение о том, что абхазско-адыгские языки родственны нахско-дагестанским, в то же время ставил под большое сомнение (правда, не в полной мере владея материалом) их генетические связи с картвельскими языками [6].

До последнего времени иберийско-кавказская гипотеза резко оспаривается. Убедительных доказательств в ее пользу до сих пор еще так и не выдвинуто. Аргументы же могут быть основательными только в том случае, если они соответствуют строгим методическим принципам сравнительно-исторического языкознания.

Таким образом, вполне естественно, что параллелизмы в типологии языков трех семей не могут иметь доказательной силы в пользу генетического родства: ведь при этом речь идет о критериях, при помощи которых мы не в состоянии строго отличить случайные исторические связи от закономерных, первичное от вторичного, древние общности от новых.

Точно так же непригодны для доказательства отдельные лексические соответствия, целый ряд которых был найден между отдельными семьями автохтонных кавказских языков. До тех пор, пока они не обнаруживают системного сходства, они не имеют доказательной силы.

Только регулярные фонемные соответствия могут доказать генетическое родство языков. Однако возникает вопрос о том, в какой области эти соответствия наблюдаются. Если они налицо только в маргинальных пластах лексики или в сфере так называемой «культурной» лексики, значит, мы имеем дело с заимствованиями. Трубецкой обозначил такой тип фонемных соответствий как «Fremdlautgesetze» [7]. Иллюстрацией могут служить примеры соотношения арабского *f* и грузинского *p*:

Арабский		Грузинский
sufrat	«стол»	*supra*
kāfūr	«камфора»	*kapur*
fikr	«мысль»	*pikr*
qafaṣ	«клетка»	*ꝗapaz* (настенная полка)

[3] А. А. Магометов, Табасаранский язык, Тбилиси, 1965, стр. 189.

[4] Арн. Чикобава, История изучения иберийско-кавказских языков, Тбилиси, 1965, стр. 3—4 (на груз. яз.).

[5] Арн. Чикобава, Вместо предисловия, «Иберийско-кавказское языковедение», II, Тбилиси, 1948, стр. VII (на груз. яз.).

[6] N. Troubetzkoy, указ. соч.

[7] N. Trubetzkoy, Gedanken über das Indogermanenproblem, AL, I, 2, Copenhague, 1939.

Но так называемые «Fremdlautgesetze» засвидетельствованы также и в генетически родственных языках: «черкесское *γ* передается в абхазском в заимствованных словах как *kl*, в исконных словах ему соответствует *š*»[8].

Эти «Fremdlautgesetze» обычно характерны для «культурной» лексики, в то время как «основного словаря» (Grundwortschatz) они касаются в крайне малой степени. Регулярные фонемные соответствия в «основном словаре» указывают на генетическое родство языков. Само собой разумеется, что при этом важно правильное толкование понятия «основной словарь». Запас слов, обозначаемый как «основной», вовсе не отделяется от остальной лексики произвольно. В основе его выделения лежат полученные опытным путем данные, накопленные сравнительно-историческим языкознанием в результате исследования многих отдельных семей языков. Обычно им являлась определенная элементарная часть всего языкового богатства, которая давала доказательству генетического родства языков регулярные фонемные соответствия.

Этот «основной словарь», играющий такую большую роль при доказательстве родства языков, имеет почти одинаковый семантический облик как в индоевропейской семье языков, так и в картвельской, нахско-дагестанской, финно-угорской, австронезийской, семитской, банту. Естественно, его лексическое наполнение в разных языковых семьях колеблется, и «основной словарь» в своем семантическом виде не остается абсолютно неизменным, однако различия представляются очень несущественными, так что в общем можно выделить следующие группы значений: отношения родства (*отец*, *мать*, *сын*, *дочь*, *дядя*...), наименования основных качеств и свойств (*холодный*, *горячий*, *старый*, *глухой*, *слепой*), названия частей тела (*глаза*, *нос*, *ухо*, *рука*...), названия животных (*волк*, *лиса*, *корова*, *собака*, *муха*...), названия растений и их частей (*дерево*, *лист*, *ветвь*, *шип*, *трава*, *колос*...), природы и ее явлений (*солнце*, *луна*, *небо*, *дождь*, *гора*, *вода*...), обозначения вещей повседневной жизни (*дом*, *огонь*, *дым*, *деревня*, *мясо*, *мука*, *молоко*, *соль*, *игла*, *молот*...), определения для временны́х границ (*день*, *ночь*, *год*...), обозначения элементарных действий (*видеть*, *гореть*, *варить*, *резать*, *любить*, *пить*, *есть*...).

Раньше к этому относительно устойчивому основному словарному фонду относили также числительные и личные местоимения. Однако вскоре раздались голоса, поставившие под сомнение правомерность этого [9].

Разумеется, факт проникновения заимствований в какой-то язык не является особенностью нового времени. С этим следовало считаться уже с давних пор. Тот лексический запас, который мы относим к изначальному фонду языка-основы, вовсе не обязательно является исконным, но хотя бы частично может быть «пропитан» заимствованиями. Эти заимствования, естественно, переходят в родственные языки уже как исконные слова и в конце концов обнаруживают те же самые регулярные фонемные соответствия, что и унаследованный словарный состав. Наличие таких заимствований, предполагающихся уже для языка-основы, ставит под вопрос дальнейшую внутреннюю реконструкцию и сравнение реконструируемых частей различных праязыков. Вспомогательным средством для устранения некоторых, хотя и не всех подобных трудностей могут служить типологические критерии, позволяющие выявить в языке-основе те из заимствований, которые своей структурой выделяются на фоне остальной лексики праязыка [10].

[8] G. Deeters, W. Meyer-Eppler, Die tscherkessischen *s*-Laute, ZfPh, 1956, стр. 119.

[9] Ср. высказывания Г. Габеленца в кн.: «Die Sprachwissenschaft, ihre Aufgaben, Methoden und bisherigen Ergebnisse», 2. Aufl., Leipzig, 1901, стр. 152.

[10] Ср.: Р. Якобсон, Типологические исследования и их вклад в сравнительно-историческое языкознание, «Новое в лингвистике», III, М., 1963, стр. 102.

Ж. Дюмезиль придерживался мнения, что генетическое родство между отдельными семьями кавказских языков может быть установлено только на основании регулярных фонетических соответствий, выявленных в аффиксальных морфемах [11]. Не говоря о том, что при таком подходе материал для установления подобных соответствий произвольно ограничивается и его ядро, «основной словарь», остается вне поля зрения, следует также учитывать, что языки, которые далеко разошлись в процессе своего развития, едва ли обнаружат еще созвучия в формантах. Более вероятно их выделение только в корневых морфемах. Именно такое отдаленное генетическое родство, когда распад праязыка остался уже далеко позади (гораздо дальше, чем в семитских или индоевропейских языках), приходится иметь в виду, обращаясь к так называемым иберийско-кавказским языкам, если вообще здесь можно говорить о генетическом родстве.

Из сказанного следует, что иберийско-кавказская гипотеза о генетическом родстве картвельских, абхазско-адыгских и нахско-дагестанских языков может быть доказана только путем установления регулярных фонемных соответствий в семантически идентичных или сходных лексических единицах основного словарного фонда. Требование именно такого критерия, касающегося и формальной, и содержательной стороны языкового знака, вытекает из коммуникативной функции языка, из двусторонней природы языкового знака. Так как связь звуковой оболочки и значения не мотивирована, регулярные фонемные соответствия в семантически идентичных или сходных лексических срезах должны с необходимостью указывать на исторические связи, тем более что изменения фонологических систем носят не хаотический, а системный характер [12]. Такой характер фонологических изменений в свою очередь предопределяет системность регулярных фонемных соответствий [13].

Для доказательства генетического родства «иберийско-кавказских» языков сравнительно-историческое языкознание должно располагать данными 1) о наличии регулярных фонемных соответствий в семантически идентичных или сходных единицах основного словарного фонда; 2) о системном характере этих соответствий.

Постоянно проводимые кавказоведческие исследования позволяют еще раз проверить иберийско-кавказскую гипотезу в свете новых данных. В последнее время наибольшие результаты достигнуты в изучении картвельских и аварско-андийской группы дагестанских языков. Думается, что введение этих новых сведений в научный обиход даст хорошие результаты при проверке рассматриваемой гипотезы.

В одной из наших работ была предпринята попытка выявления регулярных фонемных соответствий на базе сравнения картвельской и аварско-адийской лексики [14]. Использованный при этом материал охватывал не периферийные слои лексики, а основной словарный фонд. Внутри этих соответствий мы искали определенную систему. Мы предполагаем, в частности, что аварско-андийским простым переднеальвеолярным согласным могут соответствовать картвельские средние сибилянты, в то время как аварско-андийским «усиленным» переднеальвеолярным согласным — картвельские передние сибилянты. Картвельским глухим велярным взрывным

---

[11] G. Dumézil, Morphologie comparée et phonétique comparée. A propos des langues caucasiennes du nord, BSLP, XXXVIII, 1937, стр. 122—124.

[12] H. L. Koppelmann, Phonologie, strukturelle Linguistik und die Zweckmäßigkeit in der Sprache, «Anthropos», 51, 1—2, Freiburg, 1956, стр. 207.

[13] Ср.: Г. А. Климов, О внешних связях картвельских языков, ВЯ, 1970, 6, стр. 41.

[14] H. Fähnrich, Sprachliche Veränderungen und ihr Erkennen, «Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Jena», 21 Jg., 5/6, 1972.

могут отвечать как «усиленные», так и «неусиленные» глухие велярные взрывные аварско-андийских языков.

Конечно, можно возразить против непосредственного сравнения картвельских языков с аварско-андийскими. Несомненно, было бы логичнее сопоставить сначала аварско-андийские языки с дидойскими [15], затем лакский и даргинский, лезгинскую группу и, наконец, привлечь нахские языки. Однако в настоящее время из всех нахско-дагестанских языков аварско-андийские являются наиболее изученными в сравнительно-историческом аспекте, именно поэтому они оказываются более пригодными для сопоставления с другими языками.

Представляется, что охарактеризованная здесь процедура составляет тот единственный путь, который способен привести к обоснованию родства между всеми семьями коренных языков Кавказа.

Перевела с немецкого *Д. А. Бейлина*

[15] Подобную работу подготавливает Т. Е. Гудава (устная информация).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1974

М. А. КОРОСТОВЦЕВ

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НОВОЕГИПЕТСКОГО СИНТАКСИСА

1. В египтологической филологической и лингвистической литературе очень мало работ, в которых исследуется проблематика египетского синтаксиса и особенно — новоегипетского синтаксиса [1]. В изданной сорок лет назад новоегипетской грамматике, уже ставшей библиографической редкостью [2], вопросам синтаксиса уделено некоторое внимание. За последние годы в разных журналах, сборниках и книгах опубликован ряд статей по отдельным вопросам, но до настоящего времени нет ни одной работы, в которой были бы рассмотрены основы новоегипетского синтаксиса. Анализу его основ посвящена эта статья, в рамках которой возможно лишь весьма лаконичное изложение.

В настоящее время идея универсальности обозначаемых в языках ситуаций стала основой сопоставительных и типологических исследований в области синтаксиса, ведущихся путем сравнения структуры разноязычных предложений со структурой обозначаемого ими одного события [3]. При этом перед синтаксисом в применении к новоегипетскому языку ставятся три важнейших проблемы: 1) классификация предложений по типу предиката; 2) изучение связей между предложениями (проблема гипотаксиса и паратаксиса); прямая и косвенная речь; 3) классификация предложений в соответствии с их значением (предложения утвердительные, отрицательные, вопросительные, условные и т. п.).

История египетского языка — языка мертвого — представлена только письменными источниками и разделяется на пять больших этапов: 1) староегипетский язык (XXX—XXII вв. до н. э.) представлен древнейшими памятниками египетской письменности; 2) среднеегипетский, или классический (XXII—XVI вв. до н. э); 3) новоегипетский (XVI—VIII вв. до н. э.); 4) демотический язык (VIII в. до н. э.— V в. н. э.); 5) коптский язык (III в. н. э.— XVII в. н. э.).

Различия между этими языками имеют не только лексический, но и грамматический характер. С точки зрения грамматической можно с достаточным основанием объединить староегипетский и среднеегипетский как языки синтетические, а новоегипетский, демотический и коптский — как языки аналитические [4].

Новоегипетский язык представлял собою развивающуюся, изменявшуюся структуру, выросшую из классического языка и в конце концов

---

[1] Термин «синтаксис» имеет в данной статье традиционное значение — учение о предложении (см. «Общее языкознание. Внутренняя структура языка», М., 1972, стр. 264).

[2] A. Erman, Neuägyptische Grammatik, Leipzig, 1933.

[3] «Общее языкознание», стр. 297—298.

[4] См.: K. Sethe, Das Verhältniss zwischen Demotisch und Koptisch und seine Lehren für die Geschichte der ägyptischen Sprache, ZDMG, 79, 1925, стр. 304; Fr. Hintze, Die Haupttendenzen der ägyptischen Sprachentwicklung, «Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft», 1, 1947, стр. 85—108. Термины «синтетический» и «аналитический» в нашей статье имеют то же значение, что и в кн.: А. А. Реформатский, Введение в языковедение, М., 1967, стр. 313 и сл.

эволюционировавшую в так называемый язык демотический. Ниже новоегипетский язык рассматривается в плане синхронии.

В новоегипетском языке безглагольное предложение может начинаться вспомогательным глаголом, однако знаменательный глагол в предложении отсутствует. Вспомогательный глагол в сочетании с последующим инфинитивом знаменательного глагола составляет предикат глагольного предложения (ниже под термином «предикат» понимается сказуемое — как глагольное, так и неглагольное).

Глагольная система египетского языка содержит два типа форм: глаголы суффиксального спряжения и глаголы описательного спряжения [5]. Один и тот же глагол может выступать и в суффиксальном спряжении, и в описательном спряжении, причем форма спряжения не изменяет его значения.

Суффиксальное спряжение состоит в том, что к корню (основе) глагола непосредственно присоединяется местоименный суффикс, выполняющий функцию грамматического субъекта: *sḏm·f* «слушает он». При описательном спряжении «спрягается» только вспомогательный глагол — именно к нему примыкает местоименный суффикс, выражающий субъект, затем следует отдельно стоящий предлог *ḥr* «на» (чаще всего), или предлог *r* «к», или иной предлог и, наконец, инфинитив знаменательного глагола: *iw·f ḥr sḏm* буквально: «он на слушании», т. е. «слушает он».

При синтетическом строе языка — в староегипетском и классическом — суффиксальное спряжение (синтетическая форма) явно преобладает. В новоегипетских текстах описательная форма спряжения (аналитическая) почти вытесняет синтетическую. Как справедливо отметил О. П. Суник, «Лингвистический тип языка нельзя, по-видимому, строить на основе одного морфологического признака (чаще всего аффиксальной или флективной морфологии), маскируя затем неудачи такого построения с помощью категории „нечистых“ типов. Проблема установления типа языка как некоторой совокупности разных типологических черт, но все же типа „чистого“, остается пока нерешенной» [6]. Но вместе с тем Н. В. Солнцева и В. М. Солнцев сделали существенное уточнение: «Понятие „аналитическая форма слова“ и „аналитический строй языка“, которые обычно рассматриваются во взаимной связи как обусловливающие одно другое, в действительности являются внутренне не связанными, разноплановыми понятиями» [7]. «Аналитическая форма слова есть явление морфологическое. Аналитичность языка есть явление синтаксическое...» [8], и оно именуется «аналитизмом», причем «аналитичность языка не предполагает обязательного наличия или распространения аналитических форм...» [9]. Отсюда вывод: «в рамках аналитизма (как особого синтаксического строя) возможен синтез (как морфологический прием); в рамках синтетизма (как особого синтаксического строя) возможен анализ (как морфологический прием)» [10].

В новоегипетском языке аналитизм и анализ развиваются параллельно; из этого можно заключить, что аналитизм в новоегипетском эволюционировал иным путем; этот факт представляет несомненный интерес для теории языкознания. Однако конечный этап развития египетского языка — коптский — характеризуется префиксальным спряжением, никаких

[5] См.: М. А. Коростовцев, О природе египетского глагола, ВЯ, 1969, 4.
[6] О. П. Суник, О понятиях «аналитическая форма слова» и «аналитический строй языка», сб. «Аналитические конструкции в языках различных типов», М.— Л., 1965, стр. 79.
[7] Н. В. Солнцева, В. М. Солнцев, Анализ и аналитизм, там же, стр. 80.
[8] Там же, стр. 83.
[9] Там же.
[10] Там же, стр. 85.

следов которого в предшествующих стадиях развития нет. Префиксальное спряжение коптского языка, будучи явлением сравнительно поздним, вторичным, происхождение которого хорошо известно, не имеет ничего общего с префиксальными формами спряжения семитских языков. Так как в новоегипетском языке доминировало описательное спряжение со служебными компонентами перед знаменательным глаголом, эти компоненты в результате фонетических изменений перестали быть отдельными аналитическими элементами и в коптском превратились в стабильные префиксы, потеряв при этом всякое лексическое значение. Таким путем в коптском появился синтетизм, противоположный аналитизму.

Для египетского языка (как, впрочем, и для многих других) характерно, что одна и та же часть речи может функционировать в качестве разных членов предложения, а иногда — переходить в другую часть речи, не изменяя при этом своей формы [11]. В свое время это явление с точки зрения общетеоретической исследовал Л. Теньер [12] («переход» слова из одной части речи в другую он называл «translation»).

2. Классифицируя новоегипетские предложения с точки зрения природы предиката, разделим их, прежде всего, на 1) предложения глагольные и 2) предложения безглагольные.

К первым относятся такие предложения, в которых предикат состоит из глагола, спрягающегося суффиксальным (*sḏm·f*) или описательным способом (*iw·f ḥr sḏm*). В последнем случае спрягаемая часть глагола — это вспомогательный глагол, но тем не менее все же это глагольное предложение: вспомогательный глагол сопровождается знаменательным.

Для египетского, и в частности — для новоегипетского, типичен строго определенный порядок слов; между тем общепризнано, что именно «... для языков аналитического строя очень важным является твердый порядок слов...» [13]. Устойчивый порядок слов в новоегипетском (так и вообще в египетском) выражается прежде всего в том, что глагольные предложения начинаются неизменно с предиката и с субъекта. Порядок слов в глагольном развернутом предложении следующий: предикат, субъект, прямой объект, косвенный объект, обстоятельство, т. е. примерно такой же, как и в арабском языке [14].

Изменение порядка слов развернутого глагольного предложения в египетском (как и в новоегипетском) возможно лишь по строгим правилам. В любом случае, однако, глагольный предикат стоит во главе предложения, хотя нередко ему могут предшествовать неэнклитические частицы, вообще не влияющие на структуру предложения [15].

Каким бы ни было глагольное предложение по содержанию — утвердительное или отрицательное, условное, вопросительное и т. п.— его структура неизменна, и утверждение или отрицание, условность или вопросительность и т. д. выражаются лексически в самом начале или конце предложения. Поэтому все предложения глагольного типа мы можем обозначить символом P^v (proposition verbale). Другая модель глагольных предложений создается за счет того, что субъект или прямой объект глагольного предложения ставится перед предикатом, а затем уже повторяется в предложении в виде соответствующего местоимения. Этот тип глагольного предложения выражается моделью $a + P^v$ (anticipation + proposition

[11] Ср.: О. П. Суник, Общая теория частей речи, М.— Л., 1966, стр. 89.
[12] L. Tesnière, Essai de syntaxe structurale, Paris, 1959.
[13] В. Н. Ярцева, Проблема аналитического строя и формы анализа, сб. «Аналитические конструкции в языках различных типов», стр. 58.
[14] См.: Н. В. Юшманов, Грамматика литературного арабского языка, Л., 1928, стр. 98.
[15] См.: A. Gardiner, Egyptian grammar, London, 1957, § 66.

verbale). Третьим типом глагольного предложения со спрягаемым глаголом является эргативная конструкция. Она состоит или из инфинитива переходного или непереходного глагола, за которым следует субъект в эргативном падеже (для существительного он предваряется частицей *in*, для местоимения личного — местоимением парадигмы *mntf*), или из квалитатива с субъектом в эргативном падеже, или из пассивного причастия переходного глагола с субъектом в эргативном падеже [16]. Порядком следования главных членов эта конструкция весьма близка к модели P^v, где также сначала стоит предикат, а затем субъект. Но эргативная конструкция встречается и в другом виде: сначала идет субъект в эргативном падеже (*in* + существительное или же личное местоимение парадигмы *mntf*), за ним следует причастие. Такие предложения обозначим символом P^p (proposition participale). Таким образом все глагольные предложения выражены тремя моделями: P^v, $a + P^v$, P^p. Первая и вторая модель по сути дела тождественны, так что остаются всего две — P^v и P^p. Поскольку причастие не спрягается и вообще не изменяется, модель P^p может быть отнесена к модели безглагольных предложений тождества. Однако все же предпочтительнее P^p рассматривать как модель именно глагольного предложения, ибо предикат-причастие может иметь прямой объект.

Здесь существенно подчеркнуть, что инверсия членов египетского глагольного предложения в принципе не касается позиции глагольного предиката. Такой словопорядок не ограничивается новоегипетским языком, а является лингвистической универсалией, установленной Дж. Гринбергом: «Все языки с доминирующим порядком VSO имеют порядок SVO как один из альтернативных или как единственно альтернативный основной порядок слов» [17]. Инверсию SVO можно считать частным случаем порядка слов VSO, характерного для египетского (и, в частности, новоегипетского). Поэтому все глагольные предложения новоегипетского языка охватываются моделью P^v. Очень важно также отметить и другую универсалию, а именно, что в языках с доминирующим порядком VSO спрягаемый вспомогательный глагол всегда предшествует знаменательному [18]. Это также типично для новоегипетского языка.

Глагольные предложения, в основном, это повествовательные предложения. Как указал Ж. Вандриес, глагольное предложение описывает действие в определенное время, определенной продолжительности, исходящее от определенного субъекта и направленное на кого-то или на что-то [19].

Предложение с безглагольным предикатом не представляет собой отрезка повествования, это не описание действия, а констатация ситуации, не относящейся к определенному моменту, не выражающей длительности, это описание качества или свойства и т. п. По своему предикату безглагольные предложения новоегипетского языка могут разделяться на три вида: 1) предложения с предикатом-прилагательным (P^{adj}); 2) предложения с адвербиальным предикатом (P^{adv}); 3) предложения с предикатом — существительным, т. е. предложения тождества (P^{id}).

Предикат-прилагательное — это прилагательное или его эквивалент, причастие. Прилагательное или причастие как предикат всегда неиз-

[16] См.: М. А. Коростовцев, Эргативный «падеж» в египетском языке, сб. «Древний Египет и Древняя Африка», М., 1967.

[17] Дж. Гринберг, Некоторые грамматические универсалии, преимущественно касающиеся порядка слов значимых элементов, «Новое в лингвистике», V, М., 1970, стр. 121.

[18] Там же, стр. 127.

[19] G. Vendryes, Le langage, Paris, 1921, стр. 144.

менны и всегда предшествуют субъекту. Предложения этого типа могут быть объединены моделью P^{adj}, но поскольку предикат в с е г д а предшествует субъекту, эти предложения по структуре могут быть отнесены к модели P^{v}. Предложения с адвербиальным предикатом более разнообразны. Общей для них чертой является тот факт, что адвербиальный предикат всегда следует за субъектом, за исключением отрицательных наречий, предшествующих ему. В принципе предложения этого типа не содержат глагола, но целый ряд из них начинается вспомогательными глаголами *iw* и *wn*, предшествующими субъекту. Адвербиальным предикатом является наречие или предложная группа (т. е. предлог плюс существительное). Большинство положительных адвербиальных предложений соответствуют по своему строению формам сложных времен описательного спряжения — Praesens I, Praesens II и Futurum III. Такие адвербиальные предложения с предикатами, коррелирующими с указанными глагольными формами, назовем P^{adv1}, P^{adv2} и P^{adv3}.

Глагольная описательная форма	Адвербиальный коррелят
Praesens I	P^{adv1}
jȝ mȝiw (ḥr) mr ȝḫt · tw · f (ун-Амун, 2.34) «несомненно, лев любит собственность свою»	*tȝj·f šrit m pȝdni* (Anastasi II.8.2) «его дочь в канаве»

И в том, и в другом случае субъект представлен существительным.

Различие между глагольным предложением, где предикат имеет глагольную форму Praesens I, и его адвербиальным коррелятом P^{adv1} заключается лишь в том, что в первом примере после предлога *ḥr* стоит инфинитив *mr*, который синтаксически можно считать эквивалентным существительному, во втором примере после предлога *m* находится существительное *pȝdni* «канава». По сути дела, структура обоих предложений тождественна. Таким образом, все неглагольные предложения типа P^{adv1} по своей структуре соотносимы с предложениями модели P^{v}, имеющими глагольный предикат в форме Praesens I. Рассмотрим другую коррелирующую пару:

Глагольная описательная форма	Адвербиальный коррелят
Praesens II	P^{adv2}
iw·f ḥr sḏm «слушает он»	*iw·k ḥr cwj sntj·k* (Anastasi II, Фрагмент 10) «да пребываешь ты на руках сестер твоих»

Структуры обоих предложений однотипны: последний член в Praesens II — инфинитив, синтаксически эквивалентный существительному, последний член адвербиального коррелята P^{adv2} представлен существительным. И в первом, и во втором примерах инфинитиву/существительному предшествует предлог. На основании того, что обе структуры однотипны, адвербиальные предложения типа P^{adv2} включается в модель P^{v}. В описательном спряжении есть глагольная форма типа *iw·f r sḏm*, всегда выражающая будущее. Эта форма имеет свой адвербиальный коррелят.

Глагольная описательная форма	Адвербиальный коррелят
Futurum III	P^{adv3}
iw·f r sḏm «будет он к слушанию» (т. е. «будет он слушать»)	*iw·s n·f r ḥmt* (Prince, 5.5) «будет она ему в жены»

Легко убедиться в том, что эти структуры в целом строятся по одному принципу и что *r sḏm* и *r ḥmt* можно считать однотипными: в описательной

форме инфинитив синтаксически эквивалентен существительному, в P^{adv*} *ḥmt* «жена» является существительным. Таким образом, этот тип адвербиальных предложений структурно также можно включить в модель P^v. Таким образом, все адвербиальные предложения нами включены в модель P^v.

Обратимся к безглагольным предложениям, имеющим в качестве предиката существительное или его эквивалент. Таких предложений существует три типа, и можно проследить их соотносимость с теми же глагольными предложениями.

Глагольная описательная форма	Коррелят тождественности
Praesens I *sw*(*ḫr*) *sḏm* «он слушает» (буквально: «он на слушании»)	P^{id_1} *sw m but* (Anastasi V, 7.7) «он как отвращение»

В обоих примерах субъектом является личное местоимение. В Praesens I инфинитив *sḏm*, синтаксически эквивалентный существительному; в P^{id_1} последний элемент *bwt* — существительное. Поскольку Praesens I входит в модель P^v, то и P^{id_1} также входит в эту модель. P^{id_1} с субъектом-существительным не отмечено, но личное местоимение разных парадигм является синтаксически эквивалентным существительному. Таким образом, обе структуры синтаксически соотносимы: субъект (личное местоимение) и предикат (предлог + существительное). Но так как Praesens I — глагольная форма, входящая в P^v, то и коррелят тождественности на основе отмеченной соотносимости можно отнести к модели P^v. Рассмотрим следующую корреляцию.

Глагольная описательная форма	Коррелят тождественности
Praesens II *iw·ḫr sḏm* «он слушает»	P^{id_2} *iw·f m šri* (Prince 7.8) «(когда) он был ребенком»

Соотносимость обеих структур заключается в том, что *sḏm* — инфинитив, синтаксически эквивалентный существительному, а *šri* — существительное, первые члены обеих структур в обоих случаях — *iw·f*; собственно, отличие состоит только в предлогах *ḫr* и *m*. На этом основании коррелят тождественности P^{id_2} и Praesens II можно считать структурно эквивалентными; иными словами, можно включать предложение типа P^{id_2} в модель P^v.

Существует еще один тип безглагольного предложения, состоящий из двух соположенных существительных (или их эквивалентов) типа P^{pid} (proposition proprement d'identité). Примером является *mꜣ·ct nb wsr* «истина владыка силы», HS, 1,4. Оно не имеет структурного аналога среди описательных глагольных форм и поэтому в модель P^v не входит. Вообще говоря, этот тип безглагольного предложения не столь распространен, как другие.

Итак, все простые предложения новоегипетского языка по предикату разделяются на глагольные и безглагольные. Все глагольные предложения в полном соответствии с универсалией № 174 представлены предложениями, в которых глагольный предикат предшествует субъекту и объекту VSO, и предложениями с инверсией, где субъект стоит перед глагольным предикатом, за которым следует объект,— SVO (частные случаи общего правила VSO). Таким образом, все глагольные предложения входят в единую модель P^v [20].

[20] См.: Ю. В. Рождественский, Типология слова, М., 1969, стр. 218.

Все предложения типа P^{adj}, P^{adv^1}, P^{adv^2}, P^{adv^3}, P^{id^1}, P^{id^2} могут быть включены в модель P^v, так как по своей структуре они соотносимы с описательными глагольными формами, и только безглагольное предложение типа P^{pid} стоит особняком и по своей структуре не коррелирует ни с одной из описательных или каких-либо других глагольных форм. Таким образом, вся совокупность простых предложений новоегипетского языка может быть сведена к двум моделям: P^v и P^{pid}.

Для того чтобы сделать такой вывод, необходимо было расстаться с традиционной лингвистической египтологической терминологией (вроде: «псевдовербальная конструкция») и заменить ее модернизированной терминологией, которая применяется, в частности, и в данной статье.

Не менее важно учитывать, что в египетском языке вообще, в частности в новоегипетском, очень широко распространено явление «перехода» слова из одной части речи в другую в зависимости от его позиции в предложении. Термин «позиция» не равносилен порядковому номеру слова в предложении, начиная с первого. «Понятие позиции элемента неразрывно связано с понятием функция элемента и его отношений с другими элементами. Тождественность позиций связывается с тождественностью функций. И, наоборот, различие позиций обусловлено различием функций элементов» [21]. Очень ярким примером «перехода» в смысле Л. Теньера и значения позиции является сочетание двух новоегипетских слов, а именно эмфатического личного местоимения парадигмы *mntf* «это он», «именно он» (это местоимение функционально является эквивалентом существительного) с существительным (например, со словом *pr* «дом»). Такое сочетание возможно в двух комбинациях: 1) *mntf pr* и 2) *pr mntf*. В обоих примерах *mntf* имеет различные значения: в первом *mntf* предикат и имеет значение «ему принадлежит», «его», где *pr* «дом», и фраза означает: «ему принадлежит дом» или «дом его»; во втором примере *mntf* имеет атрибутивное значение, и фраза переводится: «его дом». Само же по себе *mntf* обозначает «это он». Таким образом в зависимости от позиции в предложении *mntf* может выступать или предикатом, или атрибутом; подобные «переходы» (translation) в египетском (и в новоегипетском) обычны не только для местоимений, но и для других разрядов слов. Предложение *mntf pr* — безглагольное с предиктом-прилагательным, предшествующим субъекту, и составляет модель P^{adj}, которую мы приравниваем к модели P^v.

Сводя все типы простых новоегипетских предложений к двум моделям— P^v (очень распространенная) и P^{pid} (в общем редкая), поставим в связи с этим вопрос: является ли новоегипетский язык однородным? О проблеме однородности языка Б. А. Успенский писал: «Если все предложения языка однотипны по своей типологической характеристике (т. е. структуры всех предложений языка в одинаковой мере сложны или просты), такие языки можно назвать однородными» [22].

И. И. Ревзин дает следующее определение этому понятию: «Язык называется однородным, если для любых слов X, X_1 и Y, таких, что слова X и Y принадлежат к одному семейству, а слова X и X_1 принадлежат к одной окрестности, найдется такое слово Y_1, входящее в окрестности слова Y и принадлежащее к тому же семейству, что и слово X_1» [23]. Далее разъясняется, что «слова относятся к одному семейству, если они грамматически взаимозаменяемы („эквивалентны“) в любом контексте, например, *столам*

[21] В. М. Солнцев, Язык как системно-структурное образование, М., 1971, стр. 69.

[22] Б. А. Успенский, Структурная типология языка, М., 1965, стр. 140.

[23] И. И. Ревзин, О понятиях однородного языка и языка полной трансформации, сб. «Структурно-типологические исследования», М., 1962, стр. 20.

входит в одну парадигму с *портфелем*. Два слова относятся к одной окрестности, если одно из них является формой другого, иначе говоря, если они относятся к одной парадигме, например, *портфель* входит в ту же окрестность, что и *портфелем*» [24]. Поскольку в египетском (и в новоегипетском) языке все части речи, исключая глагол, парадигм не имеют, то понятие окрестности (а, следовательно — и семейства) отпадает совершенно. Поэтому в вопросе об однородности лучше пользоваться определением Б. А. Успенского [25]. Так как все предложения новоегипетского языка однотипны (преобладающая их часть относится к модели P^{v}), несмотря на некоторое различие словопорядка VSO и SVO (универсалия № 174) и на наличие ограниченного числа предложений типа P^{pid}, новоегипетский можно считать языком, близким к типу однородного языка.

3. После рассмотрения моделей простого предложения естественно возникает вопрос о связи предложений между собой и о том, имеются ли в новоегипетском языке сложные предложения и что они представляют собой конкретно; иначе говоря, встает проблема паратаксиса и гипотаксиса. Об этой проблеме египетского синтаксиса высказался довольно определенно Г. Лефевр: «представление о группе предложений, надлежащим образом организованных, в которой одно главное предложение подчиняет себе одно или несколько придаточных предложений, различающихся своей структурой, представление, которое лежит в основе синтаксиса французского языка (и вообще индоевропейских языков), если и не чуждо, то во всяком случае совершенно второстепенно для египетского языка» [26].

Фр. Домá констатировал, что «египетский язык не пытался подчинить все предложения (какому-либо предложению), как греческий, он гораздо менее требователен, чем греческий, к синтаксическим связям» [27]. А. Гардинер установил наличие в египетском языке типа предложений, которые он назвал термином «virtual subordinale clause» [28]. Этот тип предложений не содержит формального показателя своей подчиненности другому предложению, это предложение «придаточное» семантически, но не структурно. Такое предложение можно назвать вспомогательным. В египетском (и новоегипетском) имеется три типа предложений: 1) главные; 2) вспомогательные и 3) придаточные, вводимые грамматическим показателем, стоящим в начале предложения.

Вспомогательными предложениями могут быть любые глагольные предложения (исключая те, которые начинаются вспомогательными глаголами *ḫḏcn* и *wn·in·f*), а также различные безглагольные предложения. Поскольку сложная описательная глагольная форма Praesens II *iw·f ḥr sḏm* является, по-видимому, самой распространенной глагольной формой в новоегипетских текстах, она очень часто вводит глагольное вспомогательное предложение, а один вспомогательный глагол *iw* может вводить безглагольные предложения.

За главным предложением может следовать целая цепь вспомогательных предложений, начинающихся Praesens II (если это глагольные предложения) или же вспомогательным глаголом (в случае, если это безглагольные предложения). Такая цепь вспомогательных предложений «при

---

[24] Там же, стр. 19.
[25] Б. А. Успенский, указ. соч., стр. 140.
[26] G. Lefebre, Grammaire de l'egyptien classique, Le Caire, 1955, § 578, стр. 279.
[27] Fr. Daumas, Les moyens d'expression du grec et de l'egyptien, Le Caire, 1952, стр. 57, см. также 22, 68.
[28] A. Gardiner, указ. соч., § 182, стр. 139.

атрибутивном типе связи» теоретически ничем не ограничена, так как и количество определений не может быть формально ограничено [29]. И действительно, А. Эрман отметил такое «гигантское предложение (Riesensatz)» в позднем новоегипетском тексте времен XXII—XXIII династии: перевод одного этого предложения на немецкий язык занимает целых три страницы [30].

Такая цепь вспомогательных предложений состоит из формально друг от друга независимых, но семантически связанных предложений. Они равноправны грамматически, но не по смыслу; с точки зрения современного языкового восприятия они являются по смыслу (но не по форме) придаточными предложениями.

То предложение, к которому относятся вспомогательные, является главным предложением. Но если за главным предложением следует цепь вспомогательных предложений, то некоторые из последних могут относиться не к главному, а к непосредственно предшествующему вспомогательному предложению. Так получаются ранги вспомогательных предложений. Для пояснения сказанного приведем пример из Prince, 4.7—8:

iw·f ḥr gmḥ wc n tsm			«он царевич увидел собаку»
iw·f m-sȝ s cȝ			«она была позади человека взрослого»
iw·f ḥr ỉm ḥr mit			«он шел по дороге»

Первое из этих предложений главное; второе — вспомогательное предложение первого ранга; третье — вспомогательное предложение второго ранга. В каждом из них имеется свой субъект, выраженный личным суффиксом *f*: в главном предложении суффикс относится к царевичу, во втором к собаке, в третьем — к взрослому человеку.

Несколько слов о временах. Поскольку египетский (и новоегипетский) глагол большинством своих форм выражает не строго определенное время, а время, соотносительное со временем главного предложения, то время глагола вспомогательного предложения выражает действие, либо одновременное с действием главного предложения, либо ему предшествующее, либо, наконец, последующее. Таким образом, новоегипетский язык выработал своеобразный consecutio temporum.

Описанные синтаксические явления составляют паратаксис, который является доминирующим видом связи предложений в новоегипетском (и вообще египетском) языке.

Но наряду с паратаксисом налицо и элементы гипотаксиса. В широком распространении паратаксиса, особенно в развертывании длинных цепочек вспомогательных предложений разного ранга, заложены элементы гипотаксиса. Теньер отмечает, что «гипотаксис, более абстрактный, чем паратаксис, не всегда замечается говорящими, так что если даже налицо гипотаксис между выражаемыми мыслями» [31], он скрыт паратаксисом в речи.

«Несомненно также и то, что сама потребность сочетать предложения с помощью сочинения не имела бы под собой никаких разумных оснований, если бы между ними не было внутренней связи, то есть если бы одно из них не определяло в какой-то мере другое.

...Коль скоро это заложено в самой природе любого рода связи между предложениями, то отсюда вполне естественно вытекает возможность постепенного, ступенчатого сближения с полным подчинением...» [32].

---

[29] Б. А. Успенский, указ. соч., стр. 90.

[30] A. Erman, Die Legrainischen Inschriften, «Zeitschr. für ägyptische Sprache und Altertumskunde», 35, 1897, стр. 22.

[31] L. Tesnière, указ. соч., стр. 313.

[32] Г. Пауль, Принципы истории языка, М., 1960, стр. 176, 177.

В новоегипетском языке подчиненные, т. е. придаточные, предложения вводятся специальными словами: это либо предлоги, либо наречия. Придаточное предложение большей частью следует за главным предложением. Относительные предложения вводятся словом *ntj* «который», а в случае отрицания — посредством *iwtj* «который не».

После *ntj* следует глагольное или безглагольное предложение. Уместно отметить, что в среднеегипетском языке распространены специфические глагольные суффиксальные формы, которые называются относительными. «Это активные глагольные формы, которые близки к повествовательным формам *sḏm·f* и *sḏm·n·f* и которые употребляются в выражениях, имеющих смысл относительного предложения, субъект которого не идентичен антецеденту, например, „человек, которого я слышу", „которого я слышал". В среднеегипетском имеются специальные релятивные или относительные формы для имперфекта, для перфекта и для будущего» [33].

В новоегипетском имеется только о д н а относительная форма, всегда выражающая прошедшее время. Если же действие придаточного предложения одновременно с действием главного предложения, то употребляется сочетание *ntj* + Praesens I. Если в придаточном речь идет о действии, которое мыслится как будущее по отношению к действию или состоянию, выраженному в главном предложении, то используется *ntj* + Futurum III. Таким образом, две среднеегипетские синтетические формы глагола оказались заменены в новоегипетском аналитическими оборотами речи. В целом же придаточные предложения, вводимые специальными словами, значительно реже вспомогательных.

4. Заключение о том, что все простые предложения новоегипетского языка в утвердительной форме сводятся к двум моделям P^{v} и P^{pid}, относится и к предложениям отрицательным и вопросительным, поскольку такие предложения отличаются от утвердительных словами, выражающими отрицание или вопрос и стоящими в начале или конце предложений, что принципиально не изменяет структуры этих последних.

Что же касается придаточных предложений, то они подразделяются на два типа: 1) на предложения обстоятельственные (времени, сравнения, причины, цели, условные и т. д.) и 2) на предложения относительные. Первые вводятся наречиями, предлогами, частицами в начале или конце предложения, что не изменяет их структуры.

Остается коротко сказать о прямой и косвенной речи. Прямая речь вводится словами «сказал он» или заканчивается словами «так изрек он». В косвенной речи нередко происходит путаница в личных местоимениях — неизбежное следствие того, что язык не располагал специальным приемом для введения косвенной речи.

В связи с проблемой вспомогательных и придаточных предложений несомненный интерес представляет вопрос о пунктуации новоегипетских текстов. Некоторая часть новоегипетских текстов имеет пунктуацию, представленную одним знаком — красной точкой, которой одно простое предложение определяется от другого; в случае сложных предложений, состоящих из главного и придаточного, точка разделяет их. Подобная пунктуация может послужить доводом в пользу того мнения, что египтянами времени Нового Царства речь воспринималась как линейная последовательность предложений — главных, вспомогательных и придаточных, причем сложное предложение рассматривалось не как единица, отличная от простых предложений, а как две единицы — главное и «придаточное». Иначе говоря, это было время становления гипотаксиса. Красная точка в новоегипетских пунктированных текстах выполняла функции

[33] G. L e f e b r e, указ. соч., § 465.

современных разных знаков препинания — не только точки, но и запятой, двоеточия, точки с запятой [34].

5. На примере типологической классификации новоегипетского языка подтверждается мысль Н. Д. Андреева: «... во-первых, из-за многообразия средств выражения, используемых каждым языком внутри одного уровня, и, во-вторых, вследствие гетероморфизма междуязыковых типологических соотношений, полученных для разных уровней, следует считать принципиально неверной такую постановку задачи типологической классификации, при которой язык должен быть однозначно отнесен к тому или иному типу (флективному, агглютинативному, аналитическому или изолирующему). ...Мы должны добавить сюда количественные характеристики каждого из этих строевых средств» [35].

И, наконец, еще один вопрос из области типологии и универсалий. «Основная классификация исходит из дистрибуции основных членов предложения и коррелированного с дистрибуцией появления грамматических категорий, различающих синтагматические классы» [36]. Дистрибуция основных членов предложения в новоегипетском языке выражается формулой VSO. Согласно универсалии № 175, словопорядок VSO обусловливает наличие в языке не послелогов, а только предлогов; именно такое соответствие находим в новоегипетском языке.

В то же время, согласно универсалии № 150, наличие суффиксов имплицирует в языке наличие послелогов и отсутствие предлогов. Эта универсалия никак не распространяется на новоегипетский (и египетский), где представлены только суффиксы и предлоги и нет ни префиксов, ни послелогов. Таким образом, новоегипетский (и египетский) являются несомненными исключениями из этой универсалии Гринберга, которая, по устному разъяснению Ю. В. Рождественского, зиждется на данных языков различных групп, в том числе и семитских. Это исключение свидетельствует о том, что египетский не столь близок к семитским языкам (по крайней мере, в этом плане), как это обычно предполагается.

---

[34] M. Korostovtsev, Punctuation in Late Egyptian, «Australian journal of biblical archaeology», 1, 2, 1968.

[35] Н. Д. Андреев, Статистико-комбинаторные методы в теоретическом и прикладном языкознании, Л., 1967, стр. 112—113.

[36] Ю. В. Рождественский, указ. соч., стр. 228.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1974

Е. П. ЛЕБЕДЕВА

РЕДУПЛИЦИРОВАННЫЕ И ПАРНЫЕ СЛОВА В МАНЬЧЖУРСКОМ ЯЗЫКЕ

За последнее время было написано немало работ о парных словах на материале, главным образом, тюркских языков. Менее изучены парные слова в монгольских и особенно в тунгусо-маньчжурских языках [1]. В языках северной, или собственно тунгусской, группы редуплицированные и парные слова не играют сколько-нибудь значительной роли. В языках же амурской группы (нанайский, ульчский, удэгейский, орочский), как и в маньчжурском, редуплицирование и спаривание слов весьма распространено. Особенно широко распространен этот тип слов в маньчжурском.

Маньчжуры сами давно уже заметили в своем языке наличие двойных слов и назвали их *холбохо гисунь* «спаренные, или соединенные в пары, слова». Отличительной чертой редуплицированных и спаренных слов маньчжурского языка является то, что редупликация и спаривание являются действующими как в письменном языке, так и в диалектах, живыми грамматическими приемами, тогда как в тюркских и монгольских языках имеются лишь застывшие парные слова. Пласты парных слов в этих языках, иногда весьма мощные, представляют собой результат тех же грамматических приемов. Из тюркских языков лишь в якутском, как можно думать на основании работы Л. Н. Харитонова [2], положение сходно с маньчжурским. В маньчжурском многие редуплицированные и парные слова утратили способность членироваться на самостоятельные лексические компоненты. Процесс сращения компонентов идет, как нам кажется, весьма интенсивно, но он еще не завершился.

Редуплицированные слова представляют собой удвоение знаменательных слов различных категорий. Парные слова являются результатом спаривания а) двух близких по значению слов (синонимов), б) маньчжурского слова с аналогичным по значению словом, заимствованным из другого языка, или двух однозначных слов из разных диалектов, в) двух слов, принадлежащих к одной тематической группе, г) двух слов противоположного значения. Не подчиняется правилам редуплицирования или спаривания собственно глагол (verbum finitum), слова же всех прочих знаменательных частей речи могут входить в парные образования. В пределах парного или редуплицированного целого, как правило, сочетаются лишь слова, принадлежащие к одной части речи, т. е. существительные с существительными, числительные с числительными, деепричастия с деепричастиями и т. п. (случаи сочетания слов из разных частей речи очень редки и требуют специального исследования). Каждое из двух

[1] Впервые о грамматическом приеме редуплицирования и спаривания см.: И. И. Захаров, Грамматика маньчжурского языка, СПб., 1879. См. работы В. И. Цинциус, а также: Т. И. Петрова, Удвоенные и парные сочетания в нанайском языке, сб. «В помощь учителю школ Крайнего Севера», 7, Л., 1957; G. Doerfer, Der Numerus im Mandschu, Wiesbaden, 1962.

[2] Л. Н. Харитонов, Современный якутский язык, Якутск, 1947, стр. 85, 126—128, 141—142, 251—252, 257—258, 268; см. также Е. И. Убрятова, Парные слова в якутском языке, сб. «Язык и мышление», XI, 1948.

слов, входящих в состав редуплицированного или парного слова, представляет собой самостоятельную фонетическую единицу. Например: *ба ба дэ* «в различных местах» состоит из удвоения слова *ба* «место»+аффикс дат. падежа *-дэ*, который в письменном маньчжурском пишется отдельно; адвербиализовавшееся *энтэхэмэ гойдамэ* «очень долго, навечно» состоит из синонимичных деепричастий *энтэхэмэ* «долго, надолго, навсегда» и *гойдамэ* «долго, продолжительно, давно»; *хэчэнь хотонь* «города (вообще)», или «множество городов» состоит из маньчж. *хэчэнь* «город, крепость» и заимствования из монгольского *хотонь* «город»; *ихань хониньь* «скот»— из *ихань* «корова; бык» и *хониньь* «овца» (парные слова последнего типа представляют собой как бы неполное перечисление, употребленное в обобщенном значении); в составе парного слова *эму уду* «несколько, немного» соединены слова *эму* «один» и *уду* «сколько, много». Поскольку в маньчжурском языке редуплицируемые или спариваемые слова никаких изменений ни в звуковом составе, ни в своей форме не претерпевают, постольку они, вступая в состав редуплицированного или парного слова, как правило, не порывают своих прежних семантических связей.

Приемы удвоения и спаривания слов одинаково служат для выражения следующих грамматических значений: 1) собирательной множественности; 2) расчлененной множественности; 3) обобщенности; 4) усиления, увеличения. На этом основании мы не склонны усматривать какое-либо принципиальное различие в плане семантики между редупликацией и спариванием. По нашему мнению, спаривание можно считать дальнейшим развитием редупликации, простейшего и, видимо, древнейшего из всех грамматических приемов. В маньчжурском в количественном отношении преобладает прием спаривания. Простейший способ удвоения, например *ба ба* «зе́мли; места́», может быть усложнен путем замены второго *ба* его синонимом *на* «земля; страна», благодаря чему получаем спаренное слово *ба на* «зе́мли; стра́ны», сосуществующее с указанным редуплицированным. Не исключено, что эволюция редупликации в спаривание стала возможной лишь с развитием лексической синонимии, что предполагает известную степень развитости языка.

Выражение грамматического значения собирательной множественности путем редуплицирования и спаривания слов может быть проиллюстрировано рядом примеров. См.: *Чжугунь чжугунь и бурулаха чооха баксань фэнень и туцихэнгэ аку* «Отступавшие по дорогам войска группами не появлялись»; здесь *чжугунь чжугунь* «доро́ги» — редуплицированное, а *баксань фэнень* «группы, отряды» — парное слово, состоящее из *баксань* «связка; сноп; отряд» и *фэнень* «толпа; стадо; стая». *Тасха бутхашара нялма чжуру чжуру гида чжафафи файдахаби* «Охотники на тигров, взяв копья, выстроились парами», где *чжуру чжуру* «парами» образовано в результате редупликации слова *чжуру* «пара, двойка». *Салади, Сулань туктань хэчэнь хотонь сахамэ, боо олэнь арафи тэмэ, нялма моо тэбумэ, оло таримэ чжодомэ дэрибухэ* «Салади и Сулань впервые начали строить города, строить дома и жить (в них), люди стали сажать деревья, возделывать и ткать коноплю», где *хэчэнь хотонь* «города» (о составе см. выше), *боо олэнь* «дома́» — из *боо* «дом» и *олэнь* «здание, жилище». *Чжугунь и уньдури ба на и арбунь бэ кимцимэ туваци...* «Если внимательно посмотреть на вид местностей вдоль дороги...», где выбор парного слова *ба на* «местности», а не редуплицированного *ба ба*, можно объяснить тем, что в данном контексте нужно подчеркнуть разнообразие мест, которые следует осмотреть: оба сочетания — *ба ба* и *ба на* — выражают множественность, но только второе имеет еще дополнительный оттенок разнообразия. *Сэчжэнь кяо, майкань чачари, агура хачжунь, чоохай цяньлян толоци вачжираку баха* «Получили несчетное количество повозок, палаток, оружия и военного

провианта», где *сэчжэнь кяо* «повозки» состоит из *сэчжэнь* «телега» и заимствования из китайского *кяо* «повозка, телега»; *майкань чачари* «палатки» — из *майкань* «палатка; круглый шатер» и *чачари* «холщевая палатка»; *агура хачжунь* «оружие» — из *агура* «домашняя утварь; оружие» и *хачжунь* «орудие; оружие, военные доспехи» (слова *агура* и *хачжунь*, по-видимому, происходят из разных диалектов маньчжурского языка).

Редупликация часто используется для выражения расчлененной множественности. Редуплицированное слово в этом случае указывает на множество предметов или лиц, каждое из которых мыслится отдельно. Например: *Эмкэнь эмкэнь саргань чжусэ дэ улха моринь гэму нялма томэ бухэй* «Каждой дочери дает скот и лошадей, все дает каждой из них» (*эмкэнь эмкэнь* «одной за другой; каждой из них» образовано в результате редупликации слова *эмкэнь* «один»); *Ину сирань сирань и исиньчжифи, амба бэйлэй чооха дэ ачаха* «Прибывая один за другим, вливались в войска главного князя» (*сирань сирань* «один следом за другим», образованное путем редупликации слова *сиранъ* «раз; прием», приобрело характер устойчивого целого).

Значение обобщенности тесно связано со значением множественности, причем разграничить их иногда оказывается трудно. Тем не менее, многие примеры употребления парных, реже редуплицированных слов представляют собой отчетливое выражение обобщенности. В примере *Эсхунь нюйчжи гурунь дэ битхэ дансэ, фафунь кооли аку* «В государстве диких нюйчжей не было письменности и законов» *битхэ дансэ* «письменность» состоит из *битхэ* «письмена, письменность; книга» и *дансэ* «записная книга; журнал», а *фафунь кооли* «законы; законодательство»— из *фафунь* «запрещения; нравы; государственные законы» и *кооли* «писаный закон; правило; устав; уложение», и имеется в виду не множественность книг, а письменность вообще, не множественность законов, а законодательство вообще. Это не исключает того, что в других контекстах подобные парные сочетания могут иметь значение множественности (т. е. «книги, письмена», «законы»). В примере *Ай ай чжака бэ амбула баха* «Получили много разнообразных вещей» *ай ай* «разнообразные» получено путем редупликации местоимения *ай* «кто; что; какой» (буквально «какие-какие»). См. также : *Нямань хуньчихинь бэ умэ тувара* «Не смотри на родство» (*нямань хуньчихинь* «родство» — из *нямань* «родители; родственники; родные по жене» и *хуньчихинь* «соплеменник, родственник»); *Афара дайлара бэ дэрибураку оки* «Не будем начинать войн (вообще каких бы то ни было)» (*афара дайлара* — парное причастие настоящего времени «войны» — из *афара* «нападать; нападение» и *дайлара* «вести войну; усмирение войной»).

Редупликация и спаривание синонимов используются для интенсификации качественной характеристики предмета или для выражения высокой интенсивности действия. Примеры такого рода особенно часто встречаются в фольклорных текстах. Ниже они и приводятся. Часть из них заимствована из фольклорных текстов на сибинском диалекте маньчжурского языка. *Эму амба яфань кӯаранъ сабумби* «Увидел большой прекрасный сад», где *яфань кӯаранъ* «прекрасный сад» состоит из *яфань* «сад; огород» (слово заимствовано из китайского языка) и *кӯаранъ* ~ *куварань* «огород; ограда; двор». *Этку аду бэ этуфи, гала дэ тэйфунь моу чжафафи, надань саргань чжуй биширэ нялма бэ баймэ ябуха* «Надев хорошие одежды, взяв в руки надежный посох, пошел искать человека, имеющего семь дочерей», где *этку аду* «хорошая, царская одежда» — из *этку* ~ *этуку* «одежда, платье» и *аду* «одежда», а *тэйфунь моу* «надежный, прочный посох» — из *тэйфунь* «клюка; посох» и *моу* ~ *моо* «дерево; палка». *Эдэ ай дахунь дахунь и фоньчжирэ баби* «При этом что ты беспрестанно спрашиваешь?»,

где редуплицирование слова *дахунь* «снова, опять, вторично» усиливает его значение: *дахунь дахунь* «беспрестанно, все время». *Хачинь хачинь мудури мэйхэ би* «Самые разнообразные драконы и змеи есть»; редуплицирование слова *хачинь* «род, порода, сорт» дает тот же эффект. *Гэли ага мукэ лифахань цифахань дэ хангабумби* «Будете задержаны непроходимой грязью от дождевой воды», где *лифахань цифахань* «непроходимая грязь» состоит из *лифахань* «грязь, слякоть» и *цифахань* «глиняная обмазка для стен из глины с рубленой соломой». *Энтэхэмэ гойдамэ хувалясунь и баньчжирэ чжалинь токтобумэ гисурэхэнгэ* «Вот о чем договорились с целью установления мирной жизни на вечные времена», где *энтэхэмэ гойдамэ* — адвербиализованное парное деепричастие «навечно, на вечные времена», состоящее из деепричастий *энтэхэмэ* «долго, надолго, навсегда» и *гойдамэ* «долго, продолжительное время».

Ряд парных и редуплицированных слов, особенно употребительных в разговорной речи, постепенно приобретает с точки зрения семантики характер нерасторжимых единств. В этом случае за ними обычно закрепляется то значение, которое они приобрели в результате удвоения или спаривания, а прежние семантические связи утрачиваются. Например: *сонь сонь* и «поровнь, отдельно» произошло путем удвоения слова *сонь* «жердь»; *аба саха* «облавная охота» — из *аба* «облава; охота» и его синонима *саха*, который в качестве самостоятельного слова почти не употребляется; *аймнь таминь* «негладко, неровно, клочьями (о шерсти)», причем первоначальное значение обоих компонентов уже утрачено.

Употребление удвоенных и парных слов в значении одной семантической единицы в ряде случаев вело к утрате фонетической самостоятельности составляющих слово компонентов и сращиванию их в одну фонетическую единицу. Этот процесс, по всей видимости, начался в весьма отдаленное время, о чем можно судить, например, по структуре некоторых терминов родства, и продолжается до настоящего времени. Среди маньчжурских корней есть немало продуктов сращения синонимичных слов.

К числу новообразований такого типа можно, например, отнести слово *удуду* «несколько, несколько раз; много», образованное в результате редупликации слова *уду* «сколько; как много» и последующего сращения, в результате чего получилось единое фонетическое целое (в маньчжурской литературе наряду с *удуду* встречается и не опрощенное редуплицированное слово *уду уду* с тем же самым значением). Сюда же относится *эмэму* «какой-то, некий, некоторый» (редупликация слова *эму* «один; единица» и последующее опрощение), а также *яя* «всякий, каждый» (удвоение местоимения *я* «кто; что»).

Среди древнейшего пласта лексики привлекают внимание слова типа *хаха* «мужчина», *хэхэ* «женщина», *гэгэ* «старшая сестра; свояченица», *мама* «старуха; мать» и т. п. Слово *хаха*, как можно с большой вероятностью полагать, произошло от редупликации слова *ха* «сородич, старший брат»—в этом виде оно сохранилось в близко родственном маньчжурскому удэгейском языке. Слово *гэгэ* «старшая сестра» И. И. Захаров связывал с кит. *гэ* «старший братец» [3]. Предположение об иноязычном происхождении слова не лишено оснований, так как в других родственных маньчжурскому языках это слово отсутствует. На маньчжурской почве слово получило редуплицированный характер.

В паре слов *мама* «матушка; бабушка» и *мафа* «дед, дедушка» первое, как можно полагать, образовалось в результате редупликации слова *ма*. В составе слова *мафа* мы имеем тот же компонент *ма*, но осложненный

[3] И. И. Захаров, Полный маньчжурско-русский словарь, СПб., 1875, стр. 316.

компонентом *фа* — здесь, видимо, действовал прием спаривания. Поскольку соответствие звуков *ф* // *п* // *х* является одним из широко распространенных в тунгусо-маньчжурских языках, постольку можно предположить, что, помимо манчжурск. *мафа* и нанайск. *мапа* с тем же значением, существовал некогда прототип **маха*. Если это так, нетрудно объяснить происхождение слов *мама*, *мафа* и входящих в их состав двух первоначальных слов *ма* и *ха*. Последнее можно сопоставить с удэгейским *ха* «сородич; старший брат; старшая сестра». Компонент *ма*, *мэ* находим в словах *ама* «отец», *эмэ* «мать» и др. Анализ терминов родства не входит в нашу задачу, это тема особого, весьма сложного исследования. Мы произвели рассмотрение некоторых из них лишь для того, чтобы показать древность удвоения и спаривания как приема словообразования.

Один из крупнейших знатоков маньчжурского и китайского языков В. П. Васильев давно уже обратил внимание на то, что в целом ряде составных маньчжурских слов один из компонентов совпадает с китайским словом, другой же компонент, как можно думать, представляет собой маньчжурское слово, близкое по значению к китайскому. О последнем В. П. Васильев сказал лишь намеком, но и это вызвало целый ряд возражений. Из заключительной части его статьи «Об отношении китайского языка к среднеазиатским» [4] можно со всей определенностью сделать вывод, что он задолго до Н. Я. Марра установил существование такой структуры сложного слова, когда различные его части восходят к разноязычным словам, имеющим одинаковую семантику.

Рассмотрим некоторые из таких слов. Маньчж. *ахунь* «старший брат» сопоставлялось В. П. Васильевым с кит. *хюн* или *сюн* «старший брат». Корень этого слова *а-* имеется во всех тунгусо-маньчжурских языках, но нигде, кроме маньчжурского, при нем нет компонента *-хунь*. Поэтому сопоставление *-хунь* с кит. *хюн* можно считать оправданным. Первый компонент (корень) *а-* восходит к *ха* (утрата начального *х* в маньчжурском и других родственных языках очень распространена). Тот же корень в слове *хала* «род; племя» (буквально «братство») сохраняет начальный *х* и является исконно маньчжурским. В связи с анализом слова *ахунь* «старший брат», происхождение которого связано со сращением пары синонимов, привлекает внимание слово *агэ* «старший брат» (вежливое обращение ко всякому старшему мужчине). На первый взгляд, это слово кажется очень близким к эвенк. *ака*, нанайск. *ага* с тем же значением. Однако в маньчж. *агэ* нарушена гармония гласных: после *а* следует *э*, что не соответствует правилам сингармонизма, действующим в маньчжурском. Такое нарушение сингармонизма возникает обычно в сложных словах, образовавшихся из двух слов с разными сериями гласных. Сравнивая слово *ахунь* и *агэ*, мы можем выделить корень *а-* и второй компонент *-гэ*, который восходит к синонимичному слову, заимствованному из китайского языка [5] («старший брат», в маньчжурском — «старший брат мужа»). Такое происхождение слова *агэ* объясняет и отличие его семантики, поскольку это слово выражает особое уважение к тому лицу, которое им называют. Здесь действует правило, по которому спаренность синонимов применяется для усиления и интенсификации значения.

В слове *мукэ* «река; вода» второй слог *-кэ* В. П. Васильев сопоставлял с кит. *хэ* «вода; река». Топонимические данные свидетельствуют о том, что слово *хэ* некогда было известно маньчжурам, так как его без труда можно обнаружить в названиях рек южной Маньчжурии. Начальный слог этого слова, на первый взгляд, совпадает с сев.- тунг. (эвенк. и эвеск.) *мӯ* «вода».

[4] В. П. Васильев, Об отношениии китайского языка к среднеазиатским, ЖМНП, 1872, сентябрь.

[5] И. Захаров, указ. соч., стр. 313.

Однако долгота гласного *ӯ*, вероятнее всего, свидетельствует об утрате интервокального *к* и стяжении двух гласных в один долгий. Нанайск. *муэ* «вода» является промежуточным звеном между маньчж. *мукэ* и эвенк. *мӯ*. *Му* в его первоначальном виде мы находим в составе эвенк. *ламу* «море», нанайск. и орочск. *наму* с тем же значением. Слог *му* возводится к слову *мӯ* «вода», а начальный слог одни тунгусо-маньчжуроведы считали заимствованием из нивхского *ла* «Амур», другие — кит. *ла* «вода». В слове *ламу* гласный *у* долготы не имеет, поэтому возводить второй слог к *мукэ* нет оснований. Вероятно, в этом случае мы и имеем дело с исходным словом *му* «вода», не спаренным с кит. *хэ*.

В слове *никань* «китаец», которое В. П. Васильев сопоставлял с кит. *ханъ* «китаец», первый слог *ни* может быть возведен к нанайск. *най~ни* «человек», и тогда все слово расшифровывается как «человек-китаец», т. е. как определительное словосочетание (с определением в виде приложения).

В слове *айсинь* В. П. Васильев отождествлял слог *синь* с кит. *цзинь*, заметив при этом, что маньчжуры при заимствовании китайских слов обычно произносят *цз* как *с*. Корень слова *айсинь* имеется во всех тунгусо-маньчжурских языках, оформление же на *-синь ~ син* находим только в маньчжурском и нанайском. В эвенкийском этому слову соответствует *алтан* «медь; золото», по-видимому, заимствованное из монгольского, в чжурчженьском — *аньчуху* «золото». Корень этого слова известен в трех вариантах: *ал-*, *ан-*, *ай-*. Маньчж. *ай-*, очевидно, было некогда самостоятельной лексемой, которая впоследствии была спарена с ее китайским эквивалентом *цзинь*.

Маньчж. *арсунь* «ветвь» сопоставляется с кит. *сунь* «росток», которое входит также в состав слов *уксунь* «род, потомство», *фурсунь* «приплод скота» и др. Можно полагать, что на маньчжурской почве *сунь* превратилось в аффикс. Слово *арсунь* состоит из маньчжурского компонента *ар-*, восходящего к общетунгусоманьчжурскому *гара* «ветка, ветвь», и спаренного с ним синонимичного кит. *сунь*. *Фурсунь* состоит из тунг.- маньчж. *фур-*, восходящего, как это установлено В. И. Цинциус [6], к эвенк. *хурил* «дети», и спаренного с ним кит. *сунь* «ростки».

В составе маньчж. *элхэ* «мир» В. П. Васильев находил кит. *хэ* «мир». Первый же компонент *эл* без труда возводится к монг. *эл* «мир», ср. также маньчж. *элчинь* «посол». В. П. Васильев приводил еще довольно пространный список слов, в составе которых он находил китайские слова.

Высказывая предположение о том, что прием спаривания слов развился из более раннего приема — редуплицирования, мы считаем последний едва ли не древнейшим из всех грамматических приемов: он так или иначе используется всеми языками мира, прежде всего в различного рода образных и звукоподражательных словах, а также для усиления значения и выражения множественности. Прием спаривания слов распространен значительно меньше. Его распространение и само возникновение было, видимо, связано с тесными языковыми контактами и длительным двуязычием.

Чем же можно объяснить особенно широкое развитие приемов спаривания и редупликации в маньчжурском? Причину этого следует искать в том, что маньчжуры, как известно, длительное время были двуязычными, используя в качестве второго языка то китайский, то корейский, то монгольский языки. В результате длительного взаимодействия маньчжурский язык заимствовал из контактирующих с ним языков целый ряд слов, которые укоренились на правах синонимов. Обилие синонимических

[6] В. И. Цинциус, Сравнительная фонетика тунгусо-маньчжурских языков, Л., 1949, стр. 329.

слов способствовало развитию приема спаривания слов. Кроме заимствований из контактирующих языков, состав синонимов, несомненно, пополнялся за счет периферийных диалектов самого маньчжурского языка.

Совершенно особым случаем является использование двух синонимов (из которых один — заимствование из другого языка) в топонимических названиях. Например, в словосочетании *Сунгари ула гян* «река Сунгари» слово «река» повторено дважды: маньчж. *ула* «большая река» и кит. *гян* «река». Первое слово *ула* вошло в состав имени собственного, и словосочетание стало подобным русск. *город Новгород*, отличаясь от него лишь тем, что по нормам маньчжурского, китайского и монгольского языков слово «река», как и другие подобные апеллятивы, всегда стоят за именем собственным, а не перед ним. Поэтому-то в случае наслоения, как это видно из нашего примера, они оказываются рядом друг с другом. Не исключено, что *Сунгари* членится на *Сун-* и *-гари*, причем последнее тоже восходит к слову «река», но доказательство этого увело бы нас далеко в сторону от избранной темы, не прибавив ничего принципиально нового. Другой топоним — *Жу фун шань алинь* «гора Жу фун шань»— состоит из китайского имени *Жу фун*, кит. *шань* «гора» и маньчж. *алинь* «гора» (по своей структуре в целом словосочетание вполне соответствует русск. *горы Тянь шань*, где *шань* то же самое китайское слово). В топониме *Сиханьчэнь хэчэнь* «крепость Сиханьчэнь» выделяется маньчжурский апеллятив *хэчэнь* «город; крепость»; в составе китайского имени собственного *Сиханьчэнь* имеется компонент *чэнь*, соответствующий кит. *чэн* «крепость; город». Иногда в качестве гидронима используется иноязычный апеллятив «река»; ср. русск. *река Бирия* и эвенк. *бирия* «река».

Сочетание одинаковых по значению, но различных по языковой принадлежности слов здесь объясняется историческим переходом слова из одного языка в другой, причем такой переход может совершаться не однажды, а дважды и даже трижды, что большей частью связано с миграциями разноязычного населения на той или иной территории. В случае, если синтаксическая позиция нарицательных топонимов в словосочетании одинакова (как в приведенных выше примерах), весьма вероятно слияние разноязычных, но однозначных компонентов в одно слово. Подобные случаи, конечно, надо отличать от случаев спаривания синхронно употреблявшихся синонимов.

В связи с этим, возможно, следует различать два типа слияния бытующих в маньчжурском разноязычных слов с идентичными или близкими значениями: синхронный и диахронический. Первый вызывался, по-видимому, двуязычием, приводившим к смешению разноязычной лексики, а второй — последовательной сменой языков на данной территории или у данного народа с сохранением элементов языкового субстрата.

Предлагаемая вниманию читателей статья имеет своей целью: 1) раскрыть на материале маньчжурского языка сходства и различия между такими важными для этого и многих других языков, хотя и далеко не единственными, приемами словопроизводства, как редупликация и спаривание слов; 2) показать, что эти приемы приводят к двум неодинаковым результатам: а) устойчивому соединению двух слов, сохраняющих свою фонетическую самостоятельность, но дающих в сумме новое значение или новый оттенок значения, и б) слиянию двух слов в единое фонетическое и лексическое целое; 3) обосновать гипотезу о генетической зависимости приема спаривания слов от существовавшей ранее редупликации; 4) подтвердить неоднократно высказывавшуюся мысль о том, что спариванию, как правило, подвергаются синонимы, которые часто оказываются принадлежащими по происхождению разным контактирующим между собой языкам или разным диалектам одного языка.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1974

З. М. ПЕТРОВА

СТРАДАТЕЛЬНО-ВОЗВРАТНЫЕ ПРИЧАСТНЫЕ ФОРМЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ XVIII ВЕКА

Памятники различных жанров русской литературы и письменности XVIII в. отражают бурные процессы становления единой нормы русского литературного языка на национальной основе. При этом действовали различные и во многом противоречивые тенденции развития языковой системы на всех ее уровнях, в том числе и на грамматическом.

В области глагольной парадигмы, а также функционирования глагольных форм в это время наблюдается сосуществование старых и новых элементов и явлений разного происхождения. Система производных глагольных форм — причастий для XVIII в. еще не подвергалась всестороннему исследованию.

Вопросы морфологической структуры и синтаксического применения причастий необходимым образом должны быть связаны с проблемой формирования типов предложений, особенно односоставных, так как XVIII в. характеризуется усилением тенденции развития предикативного употребления нечленных страдательных причастий в безличной форме.

Процесс утраты страдательными причастиями пассивности, начавшийся еще в эпоху древнерусского языка, вызвал к жизни особую категорию причастных словоформ от возвратных глаголов (типа *соглашеносъ*, *договоренось*), которые в XVIII в. были распространены шире, чем в предшествующие периоды развития русского литературного языка, а после XVIII в. были утрачены.

Ареал указанных словоформ определяется достаточно четко. Из всех славянских языков они встречаются только в русском. Аналогичные им польские конструкции на *-no*, *-to* от возвратных глаголов отличаются от русских словоформ на *-нось* не только морфологической структурой, но и рядом семантико-синтаксических признаков. Возникшие в старопольском языке структуры типа *dotrzeżwiono się*, *zbierano się*, *zdecydowano się*, *uśmiechnięto się*[1] и т. п. в современном польском литературном языке являются обычным способом выражения предиката неопределенно-личных предложений [2].

В русском языке в настоящее время употребление страдательно-возвратных словоформ типа *жененосъ*, *боротось* ограничено сравнительно небольшой территорией севернорусских говоров [3].

---

[1] Н. К о n e c z n a, O budowie zdania jmćpana Paskowego słów kilkoro, «Poradnik językowy», 9, 1956, стр. 353—354.

[2] С. И. С я т к о в с к и й, Неопределенно-личные предложения в современных славянских языках, «Славянская филология», 5, М., 1963, стр. 268, 271, 274 и сл.; е г о ж е, Некоторые вопросы типологического и сравнительно-исторического синтаксиса, ВЯ, 1963, 6, стр. 76; E. W i e s e, Die Struktur unbestimmt-persönlicher Sätze im modernen Polnischen, ZfS, 14, 1, 1969.

[3] Многие собиратели и исследователи русских народных говоров отмечали на Севере указанные словоформы. Из работы последнего десятилетия см.: В. А. М а т в е е н к о, Страдательно-безличный оборот в восточнославянских языках. АКД., М., 1962; е е ж е, Страдательно-безличный оборот в говорах восточнославянских язы-

Указания на отдельные случаи употребления страдательно-возвратных причастных словоформ в памятниках древне- и старорусской письменности, а также в литературном языке XVIII — первой половины XIX в. встречаются у ряда исследователей русского синтаксиса [4].

Прообразом страдательно-возвратных причастных форм может служить отмеченный А. А. Потебней ранний случай употребления причастия на *-но* с энклитическим местоимением *ся* в Палее 1494 г.: *Не бѣ облачано ся во одежды ты николиже* [5].

Формирование причастных структур на *-нось* связано с появлением в славянских языках, в том числе и в русском, обширного класса возвратных глаголов разной семантики. Известно, что в ранний период развития русского языка энклитическое местоимение *ся* не составляло с глаголом цельнооформленного слова. С XVI в. наблюдается его слияние с глаголом и преобразование в морфологический элемент — постфикс- *ся*, который перед гласным звуком редуцируется в *-сь*. Это создало формальные условия для образования страдательных причастий от возвратных глаголов.

Как свидетельствуют памятники делового письма второй половины XVI—XVII вв., страдательные причастия среднего рода в нечленной форме и энклитическое местоимение *ся* представляют собой уже в это время морфологически тесно спаянные структуры. На это указывает и обязательная постпозиция *ся*, и его редукция в большей части случаев. Ср.: «И на том уж договоренось, чтоб Арцыкняжата Эрнест был на Полском королевстве» (Римск. имп. т. I, 1576, стр. 551); «В те поры, за многими помешками на Москве, о том не договоренося» (АИ, т. II, 1610, стр. 336); «А с калмыками де у них помиренось же, что им калмыком с ними атаманы и казаки и со всем войском быть в миру» (ДАИ, т. VI, 1672, стр. 69); «И по тому... в. г. указу, из Стрелецкого Приказу с Приказом Большия Казны справливанось» (ДАИ, т. X, 1683, стр. 415)[6].

К концу XVII — началу XVIII в. число страдательно-возвратных причастий в памяниках делового письма увеличивается, а на протяжении всего XVIII в. они встречаются в письменных источниках разных жанров. Их можно встретить в памятниках делового письма, в официальных документах, в переводах с немецкого, французского и других языков, в письмах и мемуарах, в описаниях путешествий, в художественной прозе «среднего» стиля и т. п. Не отмечены такие формы в памятниках, связанных со славяно-книжной традицией, в языке поэзии, отличающемся

ков, «Slavia», 1969, 3; е е ж е, Некоторые особенности структуры страдательно-безличного оборота в восточнославянских языках, «Материалы и исследования по русской диалектологии», 2, М., 1961; Ф. П. Ф и л и н, К истории оборота со страдательными причастиями на *-н-*, *-т-*, «Проблемы истории и диалектологии славянских языков», М., 1971; е г о ж е, Происхождение русского, украинского и белорусского языков, Л., 1972, стр. 498—499. Подробная характеристика и перечень страдательно-возвратных форм, а также карта их распространения в русских говорах содержится в книге И. Б. К у з ь м и н о й и Е. В. Н е м ч е н к о «Синтаксис причастных форм в русских говорах» (М., 1972). Ареал страдательно-возвратных форм, по данным И. Б. Кузьминой и Е. В. Немченко, ограничен онежскими, лачскими и белозерскими говорами. Эпизодически они встречаются также в северной части вологодских говоров, в новгородских, псковских и ладого-тихвинских говорах (указ. соч., стр. 114).

[4] См.: А. Х. В о с т о к о в, Русская грамматика, СПб., 1838, стр. 109; В. И. К л а с с о в с к и й, Русская грамматика, СПб., 1856, стр. 115; Ф. И. Б у с л а е в, Историческая грамматика русского языка, М., 1959, стр.. 349; А. А. П о т е б н я, Из записок по русской грамматике, III, М., 1968, стр. 343. Как эпизодические для XVIII в. страдательно-возвратные причастные словоформы отмечены в книге «Изменения в системе простого и осложненного предложения в русском литературном языке XIX века» (М., 1964, стр. 291—292).

[5] А. А. П о т е б н я, указ. соч., стр. 343.

[6] Примеры извлечены из Картотеки ДРС (Институт русского языка АН СССР, Москва). Сохранены принятые в Картотеке сокращения источников.

устойчивостью и консерватизмом. Это свидетельствует о том, что исследуемые формы проникают прежде всего в такие языковые сферы, которые больше подвержены изменениям и скорее отражают все процессы языкового развития. Набор страдательно-возвратных причастных словоформ в это время отличается значительным разнообразием. Исследованные нами источники XVIII в. содержат 27 словоформ на *-нось*: *вознамереносъ*, *готовленосъ*, *договореносъ*, *извещеносъ*, *намереносъ*, *остереженосъ*, *ошибенось*, *подписанось*, *помиренось*, *поторопленось*, *размененось*, *рассерженось*, *решенось*, *сговореносъ*, *смолвленосъ*, *соглашенось*, *сойденось*, *справленось*, *справливанось*, *уведомленось*, *уверенось*, *уговореносъ*, *удержанось*, *удовольствованось*, *удостовереносъ*, *укрепленось*, *условленось*. Указанные причастия составляют открытый ряд, причем одни из них обладают большей частотностью, другие — меньшей, а некоторые отмечены как единичные.

Уже к началу XIX в. страдательные причастия в возвратной форме уходят из литературного языка[7]. Таким образом, для русского литературного языка хронологические рамки бытования исследуемых словоформ очерчены достаточно четко сравнительно небольшим периодом времени — XVI—XVIII вв.

Причины появления в русском языке страдательно-возвратных причастных словоформ кроются в изменении семантической и лексико-грамматической природы страдательных причастий в эпоху перестройки системы времен и залоговых отношений. Разрушение системы древнерусских прошедших времен вызвало изменения в семантике и синтаксическом применении страдательных причастий прошедшего времени. В них ослабляется страдательное значение, в результате чего появляется возможность образования страдательных причастий от непереходных глаголов и даже от возвратных с сохранением возвратной частицы. В этом наиболее полно проявляется утрата страдательными причастиями пассивности: такие причастия не способны выражать направленное на объект действие.

Наряду с этим на условия образования, функционирование и значение страдательно-возвратных причастий оказывал влияние процесс формирования различных по семантико-грамматическим признакам групп возвратных глаголов. Возможностью образования страдательно-возвратного причастия обладали не все возвратные глаголы, а лишь те, которые обозначали действие, заключенное в сфере субъекта — одушевленного лица.

Наиболее ранние, а также наиболее частотные страдательно-возвратные причастия образованы от взаимно-возвратных глаголов *договориться*, *согласиться* «прийти к согласию», *помириться* — *договореносъ*, *соглашенось*, *помиренось*. Указанные формы впервые появляются в жанрах делового письма, в официальных, дипломатических документах и договорах. Они выражают взаимное или совместное действие двух лиц или двух групп лиц, т. е. выступают в социативном значении. Набор страдательно-возвратных причастий, коррелирующих с взаимно-возвратными глаголами, становится наиболее разнообразным в XVIII в.: кроме форм *договореносъ*, *соглашенось* и *помиренось*, которые в XVIII в. встречаются не только в деловых жанрах, в социативном значении отмечены причастия *сговореносъ*, *смолвленосъ*, *условленось*, *сойденось*, *размененось* и некот. др. Приведем несколько примеров: «Оне, потенции морския, обязуются... мир твердо и ненарушимо содержать и гварантировать, и всякими образы к содержанию того, как впредь сойденось будет, вспомогать» (АК, кн. 6, 1713, стр. 35—36); «С объявленным невольником, называемым Самбас,

[7] «Изменения в системе простого и осложненного предложения...», стр. 292.

зговоренось у нас было в оное время притти» (Прикл. маркиза Г..., ч. 2, стр. 59); «У нас смолвленось так, чтобы никто почти из посторонних о сем съезде нашем не знал» (Зап. Болот., т. 2, стр. 111); «Он заключил, что в тот раз конечно было уговоренось между нами о свидании» (МЕИ, стр. 169).

Из приведенных примеров видно, что лица, участвующие в совместном, взаимном действии, могут быть названы или не названы. Способы выражения взамодействующих субъектов при этом различны. Это может быть предложно-падежная конструкция типа «между кем (и кем)», «у кого (с кем)» и т. п., а также косвенное указание на социативное действие субъектов. Ср.: «У вас изрядно с Английским посланником договоренось» (ПБП, т. 3, стр. 815); «В собрании де академии художеств договоренось с вышеписанным подмастерьем Ферстером...» (МАН, т. 10, стр. 124); «По сим пунктам меж компаниею и имрека договоренось будет» (ПСЗ, т. 6, 1720, стр. 288); «С ним обо всем нужном условленось и договоренось» (Зап. Болот., т. 1, стр. 10); «С обеих сторон соглашенось, договоренось и постановлено» (ПСЗ, т. 7, стр. 111). Нередко встречаются и такие случаи, когда в предложении нет грамматически выраженного субъекта действия или косвенного указания на него. В таких случаях идею социативности действия передает сама страдательно-возвратная форма. Ср.: «Оный мир весьма постоянен быть не может, и король шведский оттуль выслан не будет до тех мест, пока ратификациями не будет размененось» (АК, кн. 9, 1713, стр. 68—69); «Прежде сего войны бывали; ныне помиренось вечно» (Унк., стр. 59); «А ценою договоренось получать от оного комиссара Иванова денег по сту по семидесяти рублев в год» (МАН, т. 10, стр. 327). В сферу социативности вовлекаются и такие страдательно-возвратные формы, у которых отсутствует корреляция с инфинитивом взаимно-возвратного глагола. В таких случаях обязательно указание на взаимно или совместно действующие субъекты, т. е. социативное значение формы на *-нось* является конструктивно обусловленным. Ср.: «От обоих высоких дворов вознамеренось дружелюбно прекратить то дело» (СПб. вед., 1750, стр. 179); «Когда готовленось с обоих сторон к сражению; тогда прибыли Посланники из Тарента» (Римск. ист., т. 4, стр. 116).

Социативность является одним из основных значений рассматриваемых словоформ. Наряду с этим страдательно-возвратные причастные формы могут обозначать действие, сосредоточенное в сфере субъекта — лица или группы лиц. Такие формы, коррелируя с общевозвратными глаголами[8], также выступают в роли предиката безличных по форме предложений. В таких предложениях отсутствует грамматически выраженный субъект действия, но из содержания самого предложения или из более широкого контекста ясно, что речь идет об определенном лице или определенной группе лиц — реальном субъекте действия. Ср.: «Я не мог утерпеть, чтоб не промолвить нескольких слов, кои сочтены колкими, и за них рассерженось» (Зап. Болот., т. 2, стр. 139). В данном случае говорящий имеет в виду определенное лицо, но по каким-то причинам не называет его, представив действие безлично. Ср. также: «Я прочел то письмо, рука Филоклиева зрилась... под его совершенно и точно подписанось почерк: Зделал то Протесилай сам с тем заодно Тимократом» (Тилемах., т. 2, стр. 7).

Страдательно-возвратные причастия, коррелирующие с общевозвратными глаголами, могут выступать также в функции, аналогичной предикату неопределенно-личных предложений, обозначая действие неопределенно мыслимых лиц. Ср.: «В Штеттине намеренось построить четыре

[8] См.: «Грамматика русского языка АН СССР», I, М., 1953, стр. 419.

корабля для ходу в Балтийское море» (СПб. вед., 1750, стр. 701); «Но как одно от другого не далеко, то может в сказании ошибенось» (Тат. Ист., т. I, стр. 108). Рассматриваемые предложения легко трансформируются в неопределенно-личные предложения: ... *намереваются построить*...., ... *в сказании ошиблись*... и т. п. Действие говорящего в данном случае исключается.

Близкой, но не тождественной представляется функция предиката на *-нось* в случаях, когда неопределенно, или, точнее, обобщенно мыслимый субъект может предполагать и участие говорящего в действии. Ср.: «По надежным и несомненным опытам удостоверенось, что тоже тело, перенесенное к Экватору, становится легче, нежели как перенесенное к полюсам земным» (Письма к принц., стр. 207; т. е. все, многие, в том числе и говорящий, удостоверились); «Многие щитают корку акации вредною лошадям..., однако ж не удостоверенось еще, правда ли это» (Сл. комм., ч. 1, стр. 24); «Сего числа уведомленось, что Контайшина старшая жена больна» (Унк., стр. 101); «С удивлением извещенось, что некоторые из университетских профессоров на лекции свои без важных причин... вовсе не приходят» (МАН, т. 10, стр. 522).

Итак, безличные формально предложения с предикатом — страдательно-возвратным причастием в зависимости от отношения действия к субъекту могут наполняться разным содержанием. Они могут обозначать: а) совместное или взаимное действие двух определенных лиц или групп лиц (т. е. социативность действия); б) действие определенного, но не названного лица или группы лиц; в) действие неопределенного множества лиц без участия говорящего; г) действие обобщенного множества лиц, включая говорящего[9]. Таким образом, можно отметить в качестве отличительной черты страдательно-возвратных причастий в русском языке XVIII в. их полифункциональность.

Временное значение страдательно-возвратных причастий не имело каких-либо заметных отличий от временного значения изменяемых форм страдательных причастий прошедшего времени в функции предиката. Они свободно употреблялись как без связки, обозначая актуальное прошедшее время (перфект), так и со связкой, обозначая результат действия, отнесенный в план прошедшего времени (*было* + *-нось*) или в план будущего (*будет* + *-нось*). Несколько примеров: а) без связки: «У вас с Английским посланником договоренось» (ПБП, т. 3, стр. 815); «Ныне помиренось вечно» (Унк., стр. 59); б) со связкой *было*: «В тот раз... было уговоренось между нами о свидании» (МЕИ, стр. 169); «Соглашенось было, чтоб нам с сыном остаться еще на неделю» (Зап. Болот., т. 4, стр. 259); в) со связкой *будет*: «Всякими образы к содержанию того (мира. — *З. П.*), как впредь сойденось будет, вспомогать» (АК, кн. 6, стр. 35-36); «О том договоренось будет» (АК, кн. 10, стр. 261).

Как и для других форм страдательных причастий, для форм на *-нось* свойственны в отдельных случаях более или менее сильные оттенки аористного значения. Например: «С удивлением извещенось, что...» (МАН, т. 10, стр. 522); «Понеже от обоих высоких дворов вознамеренось дружелюбно прекратить то дело..., то...» (СПб. вед. 1750, стр. 179); «По многих совещаниях соглашенось наконец о примирении» (Римск. ист., т. 3, стр. XLIII). Отмечены также случаи употребления рассматриваемых форм в имперфектном значении. Ср.: «Когда готовленось с обоих сторон к сражению; тогда прибыли Посланники из Тарента» (Римск. ист., т. 4,

[9] О семантических и структурно-типологических различиях односоставных предложений в зависимости от того, участвует или не участвует говорящий в действии, см.: С. И. Сятковский, Неопределенно-личные предложения в современных славянских языках, стр. 272—273.

стр. 116; ср. в подлиннике: *comme on se preparait*). Возможно их употребление в ирреальных наклонениях. Ср. в условном наклонении: «Если бы... было справленось с Адмиралтейским Приказом... он Лихачов был бы сыскан» (ДПС, т. II, стр. 254).

Возможность корреляции страдательно-возвратных причастий с глаголами несовершенного вида (например, *готовленось*, *справливанось*) при подавляющем большинстве случаев образования от глаголов совершенного вида также сближает их с изменяемыми формами страдательных причастий прошедшего времени.

Специфические особенности внутренней структуры страдательно-возвратных причастий раскрываются в их синтаксическом окружении. Выше отмечалось, что грамматически выраженный субъект действия возможен только при формах на *-нось*, имеющих взаимно-возвратное значение. Если понимать залог как способ выражения отношения между субъектом, объектом и действием, то данные конструкции можно рассматривать как способ выражения взаимного залога[10]. Во всех других случаях грамматически выраженный субъект действия при страдательно-возвратных причастиях отсутствует. Отметим, что исследователи причастий на *-но*, *-то* в славянских языках обращают внимание на способ выражения и возможность или невозможность употребления при них косвенного субъекта действия[11].

Страдательно-возвратные причастные формы как формы активные характеризуются их синтаксическими связями, свойственными глаголу. Они полностью сохраняют глагольное управление (*договореносъ о трактате*, *в библиотеке справливанось*, *в Санктпетербурге уведомленось* и т. п.), связи с различными обстоятельственными наречиями (*точно подписанось*, *не удостовереносъ еще*, *нечаянно уведомленось* и т. п.). Обычно их употребление в полусвязочном значении при инфинитиве, обозначающем основное содержание действия (*вознамереносъ прекратить то дело*, *соглашеносъ сделать росписи*, *намереносъ построить четыре корабля*), а также в конструкциях, выражающих долженствование (*имеет быть договореносъ*). Страдательно-возвратные причастия могут распространяться придаточными дополнительными или изъяснительными предложениями (*соглашеносъ*, *чтобы...*, *уведомленось*, *что...*, *договореносъ*, *чтоб...*). Отметим также свободное употребление рассматриваемых форм в составе как главного, так и придаточного предложения. Ср. в придаточных предложениях: «Король шведский оттуль выслан не будет до тех мест, пока ратификациями не будет размененось» (АК, кн. 9, стр. 68—69); «Дело, о коем зговореносъ» (ВЛ, стр. 40).

Семантический и функциональный анализ страдательно-возвратных причастий в памятниках русского языка XVI—XVIII вв. и сравнение их с аналогичными севернорусскими диалектными формами типа *женено́сь* и с польскими структурами типа *bano się* приводит к выводу о том, что мы имеем результаты параллельного развития этой морфолого-синтаксической особенности, объясняющегося генетической близостью славянских языков и их диалектов.

Ряд сходных черт имеют страдательно-возвратные формы в севернорусских говорах и в памятниках русского языка, что позволяет высказать предположение о том, что источником их появления в последних могли быть говоры. Формы на *-нось* в говорах и в письменном языке сближает одинаковая морфологическая структура, одинаковое временное зна-

[10] Ср.: А. В. Бондарко, К теории поля в грамматике — залог и залоговость, ВЯ, 1972, 3, стр. 34.

[11] Ср.: С. И. Сятковский, Некоторые вопросы типологического и сравнительно-исторического синтаксиса, стр. 71.

чение: как в говорах, так и в письменном языке парадигма предложений с страдательными причастиями в возвратной форме включает в себя три временные формы — актуальное прошедшее (без связки), действие, результат которого отнесен в план прошедшего (со связкой *было*)[12] или в план будущего (со связкой *будет*). Их сближает и общее залоговое значение: они выражают активное действие субъекта.

Вместе с тем анализ внутренней структуры рассматриваемых словоформ, а также их синтаксических связей дает известные основания для предположения о том, что в говорах и в литературно-письменном языке они прошли, по-видимому, независимый и самостоятельный путь развития. В говорах они коррелируют со всеми значениями возвратных глаголов (кроме страдательных и безличных)[13], в письменных памятниках — только со взаимно-возвратными и общевозвратными. В говорах конструкции со страдательно-возвратными причастиями обычно включают в себя грамматически выраженный субъект действия, в то время как в памятниках он возможен только при словоформах с взаимно-возвратным значением.

В этом заключается основное отличие форм на *-нось* в письменных источниках русского языка от аналогичных диалектных севернорусских форм. Для памятников русского языка невозможны предложения типа *у него сфотографированось*, *у меня выспанось* и т. п., обычные для говоров. Сам набор словоформ на *-нось*, если сравнить их списки, различен в говорах и в памятниках[14].

Сравнительно-типологический анализ польских структур типа *bano się* и русских словоформ типа *уведомленось* не дает оснований для предположения о заимствовании рассматриваемого явления в русском языке из польского. Время возникновения указанных польских и русских структур приблизительно одно и то же— XVI—XVII вв. Одни и те же, по-видимому, были и причины их появления — разрушение старой системы претеритов, во многом общий для страдательных причастий обоих языков процесс утраты пассивности.

Однако по временному значению, по отношению к субъекту действия, по связи с исходной формой возвратного глагола польские формы на *-no*, *-to* + *się* имеют мало общего с русскими страдательно-возвратными причастиями. В польском языке указанные структуры входят в систему образований на *-no*, *-to*, ни по синтаксическим функциям, ни по общеграмматическому значению не отличаясь от них. Они включаются в общую парадигму неопределенно-личных предложений, обозначая прошедшее время без оттенка результативности и употребляясь без связки. Связка в указанных конструкциях в польском языке была утрачена в XVII в.[15]. Грамматически выраженный субъект действия в польских

---

[12] О перфектном значении страдательно-возвратных причастий без связки Ф. П. Филин пишет: «Разница между оборотами *у моего сына на ней женено́сь* и *мой сын на ней женился* заключается в том, что в первом из них подчеркивается наличие результата действия в настоящем, а во втором выражается простая констатация совершившегося действия» (Ф. П. Филин, К истории оборота со страдательными причастиями на *-н-*, *-т-*, стр. 283). См. также: И. Б. Кузьмина и Е. В. Немченко, Синтаксис причастных форм в русских говорах, стр. 83—84.

[13] В. А. Матвеенко, Страдательно-безличный оборот в восточнославянских языках, стр. 13.

[14] Наиболее полный список диалектных страдательно-возвратных словоформ (121) см. в исследовании И. Б. Кузьминой и Е. В. Немченко «Синтаксис причастных форм в русских говорах» (стр. 114).

[15] Ср.: С. И. Сятковский, Некоторые вопросы типологического и сравнительно-исторического синтаксиса, стр. 71; Z. Klemensiewicz, T. Lehr-Spławiński, S. Urbańczyk, Gramatyka języka polskiego, Warszawa, 1955, стр. 387, 433—434.

конструкциях с причастиями на *-no*, *-to* + *się* во всех случаях отсутствует.

В польском языке XVIII в., как отмечает Г. Конечна, предложения с предикатом на *-no*, *-to* обозначали обычно действие неопределенного множества лиц без участия говорящего, хотя были возможны отдельные случаи, когда они могли обозначать действие и с участием говорящего, а также действие определенного, но не названного лица[16]. Исследователи современного польского синтаксиса отмечают, что предложения со структурами на *-no*, *-to* не предполагают или затушевывают участие говорящего в действии, т. е. они специализируются на функции предиката неопределенно-личных предложений[17]. В русском языке на основе причастий на *-нось* сформировались особые конструкции с взаимно-возвратным залоговым значением, включающие в себя грамматически выраженный субъект действия. Рассматриваемые причастные структуры в польском языке свободно образуются без каких-либо ограничений от всех семантических классов глаголов — переходных, непереходных и возвратных[18]. В русском же языке страдательно-возвратные причастия образуются от ограниченного круга возвратных глаголов.

Таким образом, страдательно-возвратные структуры в польском языке, в русском литературном языке XVIII в. и в севернорусских говорах можно рассматривать как результат общих тенденций развития грамматического строя славянских языков и их диалектов и вместе с тем как явление, имеющее свои специфические черты в пределах каждого из названных ареалов.

О самобытном характере страдательно-возвратных причастных словоформ в русском литературном языке XVIII в. свидетельствуют и данные старых грамматистов. А. Х. Востоков и Ф. И. Буслаев, отмечая в русском литературном языке формы типа *условленось*, *соглашенось*, считают их органически свойственными русскому нормализованному языку, не указывая при этом ни на их чужеродность, ни на диалектный характер. Ср. у А. Х. Востокова: «Причастия страдательные для глаголов безличных производятся и от залогов среднего и взаимного. Напр. от глаголов *падать*, *ползать бегать* — *падано*, *ползано*, *бегано*; *плакать*, *беседовать*, *крикнуть* — *плакано*, *беседовано*, *крикнуто*; *ходить*, *ездить* — *хожено*, *езжено*; *условиться*, *согласиться* — *условленось*, *соглашенось*»[19]. У Ф. И. Буслаева: «Так как язык допустил винительный падеж *-ся* при среднем глаголе, то не нашел затруднения употребить оный даже при некоторых страдательных, напр. „как соглашенось, так и сделано“, Пересм., 3, 230; *решенось*, Анекд. древн. пошех., 87»[20].

В XIX в. страдательно-возвратные причастия уходят из литературного языка. Причины этого можно выявить только при широком исследовании функционирования категорий русского глагола, а также ряда явлений синтаксиса предложения, так как употребление рассматриваемых словоформ в предшествующие эпохи было связано с формированием категорий залога, лица, времени, с развитием односоставных предложений, прежде всего безличных, неопределенно-личных и обобщенно-

---

[16] H. Koneczna, указ. соч., стр. 354—355.

[17] С. И. Сятковский, Неопределенно-личные предложения в современных славянских языках, стр. 276; E. Wiese, указ. соч., стр. 67.

[18] H. Koneczna, указ. соч., стр. 346; С. И. Сятковский, Неопределенно-личные предложения в современных славянских языках, стр. 296.

[19] А. Х. Востоков, указ. соч., стр. 109.

[20] Ф. И. Буслаев, указ. соч., стр. 349.

личных[21]. Необходимо также рассмотрение синтаксических связей и функционирования страдательно-возвратных причастий в русском языке XVIII в. на общем фоне односоставных предложений с главным членом — страдательным причастием как от переходных, так и от непереходных невозвратных глаголов.

Источники

(принятые в статье сокращения названий)

АК — Архив кн. Ф. А. Куракина, под ред. М. И. Семевского, кн. 1—10, СПб., 1890—1902.

ВЛ — «Вейсманнов немецкий лексикон с латинским, преложенный на российский язык, при втором сем издании вновь пересмотренный и против прежнего в рассуждении латинского и российского языков знатно приумноженный», СПб., 1782.

ДПС — «Доклады и приговоры, состоявшиеся в Правительствующем Сенате в царствование Петра Великого», под ред. М. В. Калачева, т. 1—6, СПб., 1880—1901.

Зап. Болот.— «Записки Андрея Тимофеевича Болотова», т. 1—4, СПб., 1871—1873.

МАН — «Материалы для истории Академии наук», под ред. М. Сухомлинова, т. 1—10, СПб., 1885—1900.

МЕИ — «Модное Ежемесячное Издание, или Библиотека для дамского туалета», ч. 1, СПб., 1779.

ПБП — «Письма и бумаги императора Петра Великого», т. I—11, СПб., М.—Л., М., 1887—1964.

Письма к принц.— [Эйлер Л.], Письма о разных физических и филозофических материях, писанные к некоторой немецкой принцессе, с франц. языка на росс. переведенные С. Румовским, ч. 1, Третьим тиснением, СПб., 1790.

Прикл. маркиза Г...— «Приключения маркиза Г... или Жизнь благородного человека, оставившего свет, переведена на российский язык Иваном Елагиным», ч .1—4, СПб., 1756—1758.

ПСЗ — «Полное собрание законов Российской империи», т. 1—30, СПб., 1830.

Римск. ист.— «Римская история от создания Рима до битвы Актийския, то есть по окончание Республики, сочиненная г. Ролленем... А с фр. переведенная тщанием и трудами В. Тредиаковского...», т. 1—16, СПб., 1761—1767.

Сл. комм.— «Словарь коммерческий, содержащий познание о товарах всех стран и названиях вещей главных и новейших, относящихся до коммерции, также до домостроительства... Переведен с фр. языка В. Левшиным», ч. 1—7, М., 1787—1792.

СПб. вед.— «Санктпетербургские ведомости», 1728—1800.

Тат. Ист.— В. Н. Татищев, История Российская с самых древнейших времен..., т. I, М., 1768.

Тилемах.— В. К. Тредиаковский, Тилемахида или странствования Тилемаха сына Одиссеева, описанные в составе ироическия пиимы В. Тредиаковским..., т. 1—2, СПБ., 1766.

Унк.— «Посольство к Зюнгарскому хун тайчжи Цэван Рабтану капитана от артиллерии Ивана Унковского и путевой журнал его за 1722—1724 годы», СПб., 1887.

---

[21] Имеется в виду семантический, а не формально-грамматический принцип классификации указанных типов односоставных предложений. См. об этом у С. И. Сятковского: «Поскольку подразделение предложений на безличные, неопределенно-личные и обобщенно-личные покоится на семантическом принципе, форма главного члена не может служить классификационным основанием» («Некоторые вопросы типологического и сравнительно-исторического синтаксиса», стр. 77).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1974

И. В. АНДРИАНОВА

ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ИМЕН ДЕЙСТВИЯ НА *-ние (-тие)* С ОДНОКОРЕННЫМИ ИМЕНАМИ ДРУГИХ СУФФИКСАЛЬНЫХ ТИПОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ЯЗЫКЕ

Как известно, различные словообразовательные типы могут использовать однородные производящие основы и иметь тождественные производные значения, в результате чего в языке образуются словообразовательные синонимы [1].

Если обратиться, например, к именам действия — одной из многочисленных групп абстрактной лексики, то окажется, что в указанной категории имен выделяются словообразовательные типы [2], относящиеся к одному способу словопроизводства и взаимосвязанные друг с другом.

Материалы письменных памятников XI—XIV вв. дают сведения о наличии в системе имен действия значительного числа словообразовательных синонимов. На раннем этапе становления языка наблюдается нерасчлененность в использовании словообразовательных средств: еще нет закрепления отдельных формантов за определенными основами (глагольными или именными), происходят поиски более совершенных средств выражения, утверждение продуктивных моделей словообразования и утрата непродуктивных. Некоторые лексические единицы, сформированные по непродуктивным или утрачивающим продуктивность моделям, еще длительное время сохраняются в письменном языке древнейших памятников, где сосуществуют с образованиями, сформированными по живым, продуктивным моделям. В результате этих процессов в языке появляется значительное число различнооформленных однокоренных имен, имеющих тождественные значения. Такие образования, принадлежащие к полностью или частично синонимическим типам и характеризующиеся общим корнем, могут иметь сходство и различие в морфологических связях (основное направление мотивации), разную активность употребления (многочисленны случаи, когда имена, созданные по продуктивным моделям, представлены в письменных памятниках единичными примерами, в то время как имена, образованные по непродуктивным моделям, широко используются в текстах). Словообразовательные синонимы могут иметь разную сферу употребления, большую или меньшую жанрово-стилистическую общность, сходство или различие использования в произведениях разных жанров, где представлены разные типы языка, а также обнаруживать разную степень семантической близости.

---

[1] См. об этом: «Грамматика современного русского литературного языка», М., 1970, стр. 43; В. Н. Виноградова, Имена с отрицательными приставками в древнерусском языке XI—XIV вв. КД, М., 1967; В. В. Лопатин, Способы именного словообразования в современном русском языке. КД, М., 1966 и др.

[2] О словообразовательном типе см.: «Грамматика современного русского литературного языка», стр. 39.

Материал памятников XI—XIV вв.[3] позволяет обнаружить, что значительное число существительных с суффиксом *-ние* (*-тие*) сосуществует с именами, образованными от тех же основ и оформленными различными суффиксами отвлеченности. Кроме того, в составе одного словообразовательного гнезда часто наряду с именем на *-ние* (*-тие*) имеется однокоренное бессуффиксное имя. Эти имена составляют ряды однокоренных параллельных слов.

Существительные с суффиксом *-ние* (*-тие*) взаимодействуют с несколькими разрядами отвлеченных существительных, с именами на *-аjь*, *-jа* [4], *-ежь*, *-знь*, *-ие*, *-нь*, *-снь*, *-тва*, *-ъкъ*, *-ьба*, *-ьствие*, *-ьство*. [В единичных случаях отмечены также параллельные образования с суффиксами *-л(о)*, *-ня*, *-ость*, *-ота*, *-ръ*, *-ть*, *-хъ*, *-ы(ьве)*, *-ьва*, *-ьда*.]

Интересен тот факт, что большая часть имен, оформленных указанными суффиксами, как правило, отмечена в текстах только наряду с какими-либо однокоренными образованиями. В их число не всегда входят nomina actionis на *-ние* (*-тие*). Особенно активно соприкасаются с именами действия на *-ние* (*-тие*) существительные, оформленные суффиксами *-знь*, *-нь*, *-снь*, *-тва*, *-ьба*, в меньшей степени — имена на *-аjь*, *-ъкъ*, *-(j)а*. Наименее выразительно взаимоотношение имен действия на *-ние* (*-тие*) с существительными, оформленными суффиксами *-ие*, *-ьствие*, *-ьство*. Лишь около половины имен с суффиксами *-ие* и *-ьство* отмечено в текстах наряду с параллельными словами. Среди них имена действия на *-ние* (*-тие*) занимают незначительное место (для существительных на *-ие* около 25% всех отмеченных случаев, для имен на *-ьство* — 35%). Даже существительные с суффиксом *-ьствие*, большая часть которых фиксируется в письменных памятниках только наряду с однокоренными параллельными словами, лишь в незначительном числе случаев соприкасаются с именами на *-ние* (*-тие*) (приблизительно 26%). Для имен с суффиксами *-ие*, *-ьст-*, *-вие* и *-ьство* типично активное взаимодействие друг с другом, а также с бессуффиксными именами даже в тех случаях, когда они являются однокоренными параллелями к существительным на *-ние* (*-тие*): *бесчеловѣчьство — бесчеловѣчие — бесчеловѣчение*; *непокорие — непокорьство — непокорение*; *проказьство — проказьствие — проказа — прокажение* и т. д.

Имена действия на *-ние* (*-тие*) и однокоренные суффиксальные имена образуют ряды параллельных слов, состоящие из 2, 3, 4 и 5 членов (сложные имена не учитываются). Всего отмечено 147 рядов параллельных слов с именами на *-ние* (*-тие*) в одном из компонентов. Больше по-

[3] Список сокращений: ГА XIII—XIV — «Книги временныя и образныя Георгия Мниха, славяно-русский перевод (XI в., в списке XIII—XIV вв.)». Изд.: В. М. Истрин, Хроника Георгия Амартола в древнем славяно-русском переводе, т. I, Текст, Пг., 1920; Гр — грамота (с указанием соответствующего года); ЖВИ — XIV—XV — Житие Варлаама и Иоасафа. Сб. житий и слов, XIV—XV вв.— ГПБ, Соф. № 1365; ЖФП XII — Житие преподобного Феодосия игумена Печерского (по Успенскому сборнику XII в.) — Чтение ОИДР, 1899, кн. II; КВк XIV — Кормчая Варсонофьевская конца XIV в.— ГИМ, Чуд., № 4; ЛИ — Ипатьевская летопись (ок. 1425 г.), ПСРЛ, т. 2, 2-е изд., СПб., 1908; ЛЛ — Лаврентьевская летопись, ПСРЛ, т. 1, 2-е изд., Л., 1926; ЛН — Новгородская первая летопись старшего извода. Синод. список, в кн.: «Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов», М.— Л., 1950; Пал 1406 — «Палея толковая по списку, сделанному в Коломне в 1406 г. Труд учеников Н. С. Тихонравова», М., вып. I—1892; вып. II — 1896; Пр XIV (6) — Пролог сентябрьской половины, перв. четв. XIV в., ГИМ, Син., № 239; Сб. Тр XII/XIII — Сборник (Торжественник) конца XII — начала XIII в.— ГБЛ, ф. 304 (Тр.- Серг.), № 12; ФСт XIV — Огласительные поучения Феодора Студита XIV в.— ГБЛ, ф. 173 (фундам.), № 52, л. 1 об.— 230. Использована картотека СДР XI—XIV вв. Материал отнесен к одному синхронному срезу.

[4] Для исследования привлекаются имена женского рода с основой на *-jа* [однокоренные параллели к именам действия на *-ние* (*-тие*), генетически образованные формантом **-j*].

ловины из них — ряды, включающие в себя три и более однокоренных слова (70 двучленных рядов и 77 многочленных).

Для сравнительного изучения однокоренных параллельных образований к именам действия на *-ние* (*-тие*) представляется важным проследить, как использовались эти образования в памятниках письменности XI—XIV вв. Интересно отметить как активность их употребления в памятниках разных жанров, так и степень их семантической близости.

Словообразовательные типы, представленные значительным числом образований и охватывающие значительное число основ, включают в себя, как правило, большую группу слов с единичной употребительностью в текстах. Это имена на *-ие*, *-ьствие*, *-ьство*, *-ъкъ*, а также (в меньшей степени) имена на *-ьба* и *-тва*. Например, *владьство* (1) [5], *житьство* (1), *знаньство* (1); *вожьствие* (1), *проказьствие* (1), *рожьствие* (1); *поборие* (1), *погубие* (1), *сътворие* (1); *изломъкъ* (1), *надѣлъкъ* (1), *початъкъ* (1); *гудьба* (1), *плясьба* (1), *творьба* (1); *гоститва* (1), *оратва* (1), *питва* (1), и др. Имена с указанными формантами (кроме *-ъкъ*) входят большей частью в ряды из трех и более членов.

В тех случаях, когда взаимодействующие с nomina actionis на *-ние* (*-тие*) разряды имен насчитывают незначительное число слов и охватывают ограниченное число основ, они включают в себя большей частью имена, которые очень активно используются в текстах. Это существительные на *-аjь*, *-ежь*, *-знь*, *-нь*, *-снь*. Например, *прилучаи* (39), *получаи* (24); *болѣзнь* (502), *боязнь* (90), *жизнь* (583); *брань* (416), *дань* (198), *казнь* (189), *мятежь* (199); *пѣснь* (412). Имена с указанными суффиксами, как правило, выступают в паре с существительными на *-ние* (*-тие*).

Активное употребление отдельных слов, входящих в небольшие по численности словообразовательные типы, приводило к тому, что они выпадали из словообразовательной системы, несмотря на то, что сохраняли связь с мотивирующим словом и ясно обнаруживали свою внутреннюю форму (ср. существительные *болѣзнь*, *брань*, *жизнь*, *пѣснь* и др.).

За небольшим исключением наиболее употребительные в древнерусских памятниках слова являются принадлежностью старославянского словарного состава [6]: *получаи*, *прилучаи*; *боязнь*, *жизнь*; *мятежь*; *брань*, *дань*; *пѣснь*; *жьртва*, *клятва*; *служьба*, *судьба*; *величьствие*, *чювьствие*; *пособие*, *угодие*; *дѣиство*, *человѣчьство*; *лъжа*, *сѣча* и т. д. Только отдельные имена, известные старославянским каноническим текстам, представлены в древнерусских письменных памятниках в единичном употреблении: *каязнь*, *покаязнь*, *кропля*, *помощие*, *проказьство*, *страдьба* и некот. др.

Что касается употребительности имен действия на *-ние* (*-тие*), входящих в изучаемые ряды однокоренных параллельных слов, то большая часть из них (60%) — нечастотные слова. Как правило, имена на *-ние* с частотностью выше 10 представлены в многочленных рядах, в то время как редкие или сравнительно редкие слова отмечены большей частью в двучленных рядах [ср., например: *вълшьвение* (36) — *вълшьба* (8) — *вълшьва* (1) — *вълшьство* (20); *трезвение* (26) — *трезвьство* (1) — *трезвость* (4) и *бояние* (1) — *боязнь* (90); *лѣчение* (3) — *лѣчьба* (10); *мятение* (1) — *мятежь* (199); *жьрѣние* (3) — *жьртва* (559) и др.].

---

[5] Примеры сопровождаются указанием на общее число употреблений в исследованных текстах.

[6] См.: L. Sadnik, R. Aitzetmüller, Handwörterbuch zu den altkirchenslavischen Texten, Heidelberg, 1955.

При сравнении употребительности параллельных образований одного словообразовательного ряда [7] обращает на себя внимание тот факт, что приблизительно в одной трети всех отмеченных рядов частота употреблений nomina actionis на *-ние* (*-тие*) и соответствующих однокоренных имен примерно одинакова. Как правило, это малоупотребительные слова: *владъство* (1) — *владѣние* (1); *изломъкъ* (1) — *изломление* (2); *кропля* (3) — *кропление* (3); *търговля* (5) — *търгование* (4) и т. д. В остальных случаях более употребительным оказывается либо имя действия на *-ние* (*-тие*), либо какое-нибудь соответствующее имя (реже — несколько имен) из числа параллельных слов. Например: *плѣньство* (1) — *плѣнение* (113) — *плѣние* (1) — *плѣнъ* (75); *трезвъство* (1) — *трезвение* (26) — *трезвость* (4); *женитва* (56) — *женение* (2); *цѣльба* (42) — *цѣление* (14) и т. д. Обычно в рядах с именами, относящимися к небольшим по численности словообразовательным типам, примерно в равном числе случаев большей частотностью обладают либо имена на *-ние* (*-тие*), либо однокоренные слова (имена на *-аjь*, *-ежь*, *-знь*, *-нь*); *грабежь* (8) — *грабление* (34) и *мятежь* (199) — *мятение* (1); *боязнь* (90) — *бояние* (1) и *покаязнь* (2) — *покаяние* (710); *брань* (496) — *брание* (1) и *въстань* (3) — *въстание* (74) и т. д.

Существительные, которые входят в большие по численности словообразовательные типы, включающие в себя большую группу малоупотребительных слов, как правило, уступают по числу отмеченных в текстах употреблений соответствующим однокоренным именам действия на *-ние* (*-тие*). Существительные с суффиксами *-ие*, *-ьствие*, *-ьство*, *-ъкъ*: *погубие* (1) — *погубление* (27); *убиистие* (3) — *убиение* (48); *свободьство* (1) — *свобожение* (63); *съписъкъ* (2) — *съписание* (49) и др.

Среди письменных произведений XI—XIV вв., как известно, преобладали церковно-книжные памятники. Произведения богословско-проповеднического, церковно-юридического, агиографического, религиозно-повествовательного и др. жанров — не только переводные, но и оригинальные — входили в сферу действия книжно-славянского типа литературного языка. Тема произведения обусловливала тип языка [8]. В этой связи особый интерес представляют сведения об использовании изучаемых имен в народно-литературном типе языка (летописный рассказ) и в деловой речи: они показывают процесс усвоения определенной словообразовательной модели народными типами языка.

С этой точки зрения суффиксы, формирующие однокоренные параллельные имена к nomina actionis на *-ние* (*-тие*), условно можно разделить на две группы: используемые преимущественно в произведениях, где представлен книжно-славянский тип языка, и используемые преимущественно в летописном повествовании и деловых документах.

К первой группе относятся суффиксы *-ьство*, *-ьствие*, *-ие*, *-тва*. Образования с ними широко представлены в церковно-книжных памятниках (имена на *-ьство* — 80%, *-ие* — 72%, *-тва* — 66%, *-ьствие* — 100%). Сюда же можно отнести и образования на *-аjь*, *-знь*, *-ьба*, около половины которых также не отмечено вне книжных контекстов. Среди имен, оформленных суффиксами данной группы, выделяются существительные на *-ьствие*. Все образования с этим суффиксом, однокоренные слова к именам на *-ние*, являются принадлежностью лишь церковно-книжных памятников. Чаще всего они встречаются в языке Хроники Георгия Амар-

[7] Под словообразовательным рядом понимается ряд имен, являющихся словообразовательными синонимами.

[8] См.: Д. С. Лихачев, Поэтика древнерусской литературы., Л., 1967; Г. И. Белозерцев, Соотношение южнославянских и народно-разговорных элементов в древнерусском литературном языке X—XIV вв. КД, М., 1966, и др.

тола XIII—XIV вв. (13 слов из 15). Как правило, существительные с указанными суффиксами — малоупотребительные слова, каждое из них представлено в каком-либо одном, реже нескольких произведениях: *погубие* (Мерило Праведное XIV в.), *гоститва* (Толковая Палея 1406 г.), *житьство* (Рязанская кормчая 1284 г.) и т. д.

В тех случаях, когда существительные данной группы насчитывают значительное число употреблений (обычно это существительные, известные старославянским каноническим памятникам), они употребляются наряду с церковно-книжными произведениями в летописных текстах и (реже) в памятниках делового письма, причем в тех местах летописи, где представлен книжно-славянский тип языка,— в текстах религиозно-назидательного характера. Например: «не пожжи црквии стхъ. в ни(х) же *жертва* Бӯ и *молба* ствяре(т)ся за тя» (ЛЛ, 146 об — 147 об) и др. Лишь в отдельных случаях существительные данной группы могут быть представлены в летописном повествовании, воинском рассказе. Например: «тогда Болеславъ в *нелюбьи* живяше со сыновцемь своимъ Кондратомъ» (ЛИ, 292 об); «велико *убиство* творяше землѣ Черниговьскои» (ЛИ, 280 об); «и высылаху къ нимъ Югра, *льстьбою* рекуще тако» (ЛН, 52 об). Только в летописном повествовании зафиксированы существительные на *-аjь*, ср.: «Съвѣть же створиша Игоревичи, на бояре Галичкыи. да избьють и по *прилучаю* избьени быша» (ЛИ, 247).

В деловых документах представлены лишь отдельные употребления некоторых из имен (обычно частотных). Например: «се порядися тѣшата. съ якымомь про *складьство*. про первое и про задьнее» (Гр до 1299 г.).

Ко второй группе суффиксов относятся суффиксы *-ежь*, *-нь*, *-ъкъ*, *-ja*. Имена с этими суффиксами используются преимущественно в языке летописей и деловых документов. Лишь незначительная часть данных образований фиксируется исключительно в церковно-книжных текстах. Обычно имена данной группы отмечены в тех частях летописного свода, где представлен народно-литературный тип языка, ср.: «Дюрги възъврати всѣ *дани* Новгороцкыи Изяславу» (ЛИ, 143); «*мятежь* бы(с) межи братома и Володимеромъ и Романомъ» (ЛИ, 246); «и убьенъ бы(с) о(т) бояръ во *брани*» (ЛИ, 275). Только в языке философских отступлений встречаются несколько имен на *-ja*: «да избуде(м) вси гнѣва и печали и *тля* грѣха и бѣдъ же» (ЛЛ, 84 об).

Значительная часть имен данной группы, имеющих единичную употребительность, представлена исключительно в летописном рассказе или в памятниках делового письма. Особенно характерны в этом отношении имена на *-ъкъ*, половина которых использована только в летописных текстах и деловых документах. Например: «далъ есмь...озеро боровое в *поминокъ* дшѣ своему дѣду» (Гр 1392—1427 гг.); «а сии *списо*(*к*) съ грамоты съ кр(с)тной» (Гр 1375 г.) и т. д.

Если сопоставить использование однокоренных слов одного словообразовательного ряда в произведениях, использующих разные типы языка, то можно отметить следующее. В большинстве случаев в летописных текстах или деловых документах представлены либо оба однокоренных имени словообразовательного ряда, либо одно какое-нибудь параллельное слово. За пределами указанных произведений остается значительная часть словообразовательных рядов с именами на *-ие*, *-тва*, *-ьствие*, *-ьство* в одном из компонентов (≈37% общего числа рядов). Обычно оба однокоренных имени ряда бывают представлены в летописи (разных ее частях) или деловых документах в том случае, если эти имена — употребительные слова. Как правило, мы находим их в однотипных по языку контекстах. Например, в тексте летописного повествования: «То(г) же лѣ(т) сщна бы(с)

цр҃кы каменая ст҃го николы... і створи в неи вседн҃ьную *служ҃ьбу*» (ЛН, 158); «есть ми любо вѣра ваш(а) и *служенье*» (ЛЛ, 38); в тексте религиозно-назидательного характера: «даета ицѣленье... болящи(м) *цѣлбы*. окованы(м) разрѣшенье» (ЛЛ, 47); «вси хр҃ь(с)тяне утѣху и заступницю имуще и *цѣленья* о(т) нея приемлюще·дш҃мъ и тѣло(м) своимъ» (ЛЛ, 119 об).

Если в летописях или деловых документах встречается какое-либо одно имя словообразовательного ряда, то, как правило, это частотное слово, а другое имя данного ряда малоупотребительно и представлено лишь в церковно-книжных произведениях (исключение составляют имена на *-ъкъ*, которые, будучи малоупотребительными в текстах, отмечены большей частью в летописях или грамотах). В словообразовательных рядах с именами на *-ие*, *-ьствие*, *-ьство* в одном из компонентов (имена первой группы) в летописях и деловых документах чаще представлены соответствующие имена действия на *-ние* (*-тие*). Обычно они используются в повествовательных частях летописного свода.

В тех случаях, когда в качестве однокоренных слов к именам на *-ние* (*-тие*) выступают существительные, оформленные суффиксами *-ежь*, *-нь*, *-ъкъ*, *-ja* (т. е. суффиксами второй группы), в летописных текстах и грамотах представлены, как правило, указанные существительные, а не имена действия на *-ние* (*-тие*).

Обращаясь к семантике изучаемых имен, можно отметить следующее. Однокоренные параллельные слова к именам на *-ние* (*-тие*), как правило, обозначают действие. Действие же, выражаемое именами разных словообразовательных типов, может быть различным по характеру. Так, значение конкретного действия фиксируется у существительных, включающих в себя почти все изучаемые форманты (*убииство* «убийство», *рожьствие* «рождение», *сътворие* «создание», *борьба* «борьба», *ловитва* «ловля, охота», *сѣча* «битва» и др.). При этом основным указанное значение является лишь для существительных на *-ежь* (*грабежь* «грабеж»), *-нь* (*брань* «битва»), а также для большой группы слов на *-тва* и *-ьба* (*оратва* «пахание», *плясьба* «плясание» и др.). Существительные с суффиксами *-ие*, *-ьствие*, *-ьство* имеют, как правило, значение состояния (*бытьство* «жизнь, существование»; *плѣние* «плен»; *чувьствие* «сознание, понимание, ощущение» и др.). В этом значении может присутствовать качественная характеристика: имена с указанными суффиксами обозначают часто не само действие или состояние, а его качество, признак: *бѣсовьствие* «безумство», *пронырьство* «хитрость». Иногда указанные имена выступают со значением «внутреннее качество, признак»: *бесчеловѣчие* «бесчеловечность», *неродьство* «небрежность, беспечность». Разграничение этого значения и значения состояния зависит обычно от определенного контекста. Со значением состояния отмечены также существительные на *-знь*, обозначающие состояние, в котором пребывает субъект: *болѣзнь* «болезнь», *покаязнь* «покаяние, раскаяние» и др., а также большая группа имен на *-ja*: *жажа* «жажда», *желя* «скорбь, печаль» и др.

Помимо значения действия-состояния, у однокоренных с существительными на *-ние* (*-тие*) имен могут быть представлены и предметные значения. Эти значения либо входят в систему значений имен, обозначающих, в основном, действие-состояние (например, существительное *ловитва* означает «ловля, охота» и «добыча»), либо являются основными, как, например, для некоторых имен на *-ja* (*капля* «капля», *ловля* «рыбное или охотничье угодье»). Существительные с суффиксом *-ъкъ* выступают, как правило, только с предметными значениями. Обычно они обозначают имущественно-правовые отношения, являются терминами, собственными наименованиями (*пожитъкъ* «имущество», *прибытъкъ*» «доход, прибыль»,

починъкъ «выселок, новоселок» и т. д.). Лишь несколько слов на *-ъкъ* выражают отвлеченные понятия (*зачатъкъ*, *начатъкъ* «начало»).

Отвлеченные понятия являются основным значением для имен на *-аjь* (*получаи*, *приключаи* «случай, судьба» и др.), а также могут быть представлены в системе значений других имен.

Как правило, однокоренные имена одного словообразовательного ряда выступают с тождественными значениями (*болѣзнь — болѣние* «болезнь»; *стрѣльба — стрѣляние* «стрельба», *въстань — въстание* «смятение, бунт» и т. д.). Некоторые семантические расхождения у них могут состоять либо в том, что одно из однокоренных имен семантически более емкое (*врачьба* «лечение, врачевание» и «лекарство» — *врачение* «лечение, врачевание»), либо в том, что имена на *-ние* (*-тие*) большей частью обозначают действие, процесс, а соответствующие однокоренные имена — состояние, качество, свойство или выступают с предметными значениями. Ср., например, словообразовательный ряд *святьба — священие*, где *святьба* значит «святость», а *священие* — «освящение»: «не призва бо насъ бъ на нечистоту. нъ на *святьбу*» (Сб Тр XII/XIII, 137); «о(т) снвъ Левгитинъ *сщние* приемлюще» (ГА XIII—XIV, 54 г); *капля* «капля» — *капание* «капание»: «и *капля* испусти слезъ свои(х)» (ЛЛ, 84 об); «о(т) *капанья* масла кандилна(г)» (КВк XIV, 300 б). В ряде случаев существительные на *-ние* (*-тие*) выступают в текстах, как и соответствующие однокоренные имена, с предметными значениями или со значением действия-состояния, имеющего качественную характеристику. Ср. *одежа — одѣние* «одежда, облачение»: «по семь прішьдши къ кормилици въ *одѣжи* крщния» [Пр XIV (6), 52 б]; «и се вълезе свѣтьлъ отрокъ въ воиньстѣи *одении*» (ЖФП XII, 45); *непослушьствие — непослушание* «неповиновение, непокорство»: «ушеса урѣза и навязаше на выя ихъ за *непослушьствие* ихъ и противленье» (ГА XIII—XIV, 211 б); «сѣдъ пръ пакы словеса подвиже понося ему порокуя о *непослушаньи* е(г)» (ЖВИ XIV—XV, 113 б) и т. д.

Таким образом, словообразовательные ряды, где однокоренные имена расходятся по значению, засвидетельствованы в незначительном числе случаев. Исключение составляют лишь ряды параллельных слов с именами на *-ъкъ* в одном из компонентов. Больше чем в половине таких рядов однокоренные имена засвидетельствованы с разными значениями: имена на *-ние* означают действие, процесс, существительные на *-ъкъ* имеют результативное или конкретно-предметные значения [*изломъкъ* «обломок» — *изломление* «ломка», ср.: «и се жена верже на нь *изломокъ* жерновныи» (Пал 1406, 176); «во *изломлении* ссуда ли другаго нѣкоего скрушения» (ФСт XIV, 107 б)]. Однокоренные имена, имеющие тождественные значения, довольно часто фиксируются в одном и том же произведении или разных списках одного памятника, что является также свидетельством их слабой стилистической и семантической дифференциации. Например, существительные *поспѣшьство — поспѣшение* «помощь, содействие» отмечены в языке Толковой Палеи 1406 г.: «*поспѣшьствомь* стго дха» (194а) и: «*поспѣшениемъ* стго дха» (2 б). В разных списках Прологов находим существительные *кърмля — кърмление* «пища, пропитание», ср.: «въскорбѣша к блженому множьство нищихъ повѣдающе ему. а *комрлѣ* (в Юрьевском прологе XIV в., 221 г.: *кормленья*) не имуще» (Пролог Лобковский XIII, 132 в).

Итак, наблюдения над языковым материалом памятников XI—XIV вв. позволяют заметить значительное число параллельных форм к именам действия на *-ние* (*-тие*). Среди них представлены имена, относящиеся к различным словообразовательным типам. С одной стороны, это слово-

образовательные типы, охватывающие значительное число основ и представленные большим числом образований, с другой — небольшие по численности разряды слов, включающие в себя узкий круг основ и обладающие, по-видимому, слабой или исчезающей продуктивностью (значительное число слов, относящихся к последним разрядам, является принадлежностью языка старославянских канонических произведений). Параллельные образования к именам на *-ние* (*-тие*) могут быть оформлены суффиксами, для которых основная сфера деятельности — глагольные основы (*-аjь*, *-ежь*, *-нь*, *-тва* и др.), и суффиксами с широкими морфологическими связями, охватывающими область как именных, так и глагольных основ (*-ие*, *-ьствие*, *-ьство*) (как известно, в дальнейшем происходит прикрепление этих формантов к именным основам).

Таким образом, применительно к языку письменных памятников XI—XIV вв. можно говорить о некоторой нерасчлененности в использовании словообразовательных средств. В это время в языке еще сосуществует значительное число конкурирующих форм. Однако уже в период XI—XIV вв. намечается, пока еще слабая, дифференциация словообразовательных средств. Так, для суффиксов *-ие*, *-ьствие*, *-ьство*, несмотря на их сочетаемость как с глагольными, так и именными основами, предпочтительнее область именных основ. Ср. малочисленность рядов, где существительные на *-ие*, *-ьствие*, *-ьство* и имена действия на *-ние* (*-тие*) — однокоренные слова, по сравнению с общим числом рядов параллельных слов, включающих в себя имена с указанными формантами. Для существительных на *-ие*, *-ьствие*, *-ьство* типично активное взаимодействие друг с другом, а также с бессуффиксными именами. Обычно они представлены в словообразовательных рядах из нескольких однокоренных слов. Редко они встречаются только в паре с именами действия на *-ние* (*-тие*).

У некоторых параллельных образований к именам на *-ние* (*-тие*) намечается и семантико-стилистическая дифференциация. Так, существительные на *-ие*, *-ьствие*, *-ьство* отмечены в основном в церковно-книжных памятниках. Действие или состояние, которое они выражают, часто имеет качественную характеристику. В то же время существительные на *-ежь*, *-нь*, *-ъкъ*, *-jа* представлены чаще в летописном повествовании или деловых документах и обозначают действие как процесс или выступают с конкретно-предметными значениями, т. е. выбор языковых средств в определенных типах письменных памятников мотивируется стилистически.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1974

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

В. С. ИВАНОВ

О НЕКОТОРЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ В РАЗВИТИИ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ МЕТОДОВ В ВЕНГЕРСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ

Количественными методами изучения языков называется совокупность математических, статистических приемов, с помощью которых качественное описание языка дополняется количественными данными.

Хотя в настоящее время правомерность применения количественных методов в языкознании и не подвергается сомнению, следует сказать, что прежде на этот счет имелись различные точки зрения. Были исследователи, которые считали, что математические, статистические, количественные методы вряд ли принесут какую-либо пользу лингвистике (некоторые представители традиционной лингвистики) и были ученые, считавшие эти методы всесильными (Г. Хердан, Дж. Уотмоу и А. Марков).

Однако большинство современных лингвистов рассматривает количественные методы как необходимость, помогающую дополнить качественное описание языка.

Развитию количественных методов способствовали прежде всего особенности структуры языка. Ведь любой язык состоит из единиц, легко подвергающихся счету. Это звуки, буквы, слова, слоги, предложения и многие другие единицы. Для исследователя, описывающего язык, важно знать не только, как образуется то или иное явление, но и как часто оно употребляется. Специалистов не удовлетворяют общие замечания, что такое-то языковое явление встречается «часто», или «довольно часто», а такое-то «редко» или «довольно редко». Задача состоит в том, чтобы получить возможно более точные данные. Применению количественных методов в языкознании способствовало также развитие точных наук.

Использование количественных методов в языкознании объясняется и целым рядом других причин. Сюда относится необходимость определения стиля того или иного писателя, выяснения закономерностей стиха, установление авторства, дешифровка древних памятников, расшифровка секретных документов, перевод текста с одного языка на другой с помощью машин, решение серии задач по теории информации и др. Применение количественных методов диктуется также соображениями методики преподавания иностранных языков.

Венгерский язык с точки зрения применения количественных методов представляет особый интерес. Как язык, имеющий ярко выраженный агглютинативный характер, он обладает великим множеством исчисляемых единиц. С другой стороны, структура венгерского слова предельно ясна. Это корень, к которому в постпозиции, а иногда и в препозиции присоеди-

няются в определенном порядке различные форманты. Можно сказать, что структура венгерского слова сама наталкивает на мысль о применении количественных методов для изучения языка. Следует упомянуть и о том, что работа венгерских ученых в этой области в нашей научной печати почти не освещена. Между тем в исследованиях венгерских ученых немало интересного, важного и для изучения других языков.

Исходным пунктом развития количественных методов в венгерском языкознании следует считать 1896 г., когда известный венгерский языковед Ж. Шимони, занимаясь вопросом наиболее целесообразного расположения букв на клавиатуре венгерской пишущей машинки, установил, что какие-либо статистические сведения о связи букв и звуков в венгерском языке отсутствуют. Тем самым он обратил внимание языковедов на необходимость исследований именно в этой области.

За прошедшие с момента высказывания Ж. Шимони семьдесят с лишним лет венгерское языкознание добилось немалых успехов в области количественного изучения венгерского языка.

Количественные методы помогли выяснить вопрос о величине словарного запаса венгерского языка. Эту проблему, в частности, обстоятельно исследовал Й. Келемен [1]. В своей статье «Объем словарного запаса венгерского языка» он отмечает, что четырнадцатилетний ребенок знает 6000—7000 слов. Среди взрослых попадаются такие образованные люди, словарь которых насчитывает 50 000 слов. Из венгерских классиков наиболее богатым словарем обладал Я. Арань (23 000 слов). Далее Й. Келемен пишет, что собрать воедино все слова венгерского языка чрезвычайно трудно. Правда, в 1868—1873 гг. М. Баллаги выпустил так называемый «Полный словарь венгерского языка» [2]. В этом словаре 83 260 слов, но среди них много таких, значение которых в наше время никому неизвестно; многие из этих слов не употреблялись и во времена Баллаги. В 1899 г. на основе словаря Цуцора и Фогараши и материала шести других словарей Венгерская Академия наук составила и выпустила в свет «Перечень слов», в котором насчитывается 122 067 самостоятельных единиц. Наиболее ценным с точки зрения подхода к слову Й. Келемен считает «Толковый словарь венгерского языка», изданный Институтом языкознания АН ВНР. В словаре собрано более 100 000 слов. На основании сравнения всех имеющихся в его распоряжении словарных источников с «Перечнем слов» 1899 г. Й. Келемен составил ряд таблиц, убедительно показывающих расширение словарного запаса венгерского словаря.

Венгерские ученые стремились также определить наличие корневых слов в венгерском языке. В. Тольнаи в статье «Бессмертный венгерский язык» [3] отмечает, что в языке XIX в. насчитывалось 55% корневых слов, 65% лексикологических единств и 88,4% повседневных слов венгерского происхождения. Интересовался В. Тольнаи и численностью иностранных слов. По его расчетам в языке XX в. на 1000 корневых слов приходится 550 венгерских, 100 славянских, 95 германских, 90 тюркских, 80 латинских и 85 слов неизвестного происхождения. По расчетам на основании словников получились несколько иные данные: на 1000 слов приходится 650 венгерских, 100 славянских, 85 тюркских, 75 германских, 65 латинских, 25 слов из других языков и неизвестного происхождения. Однако данные словников ни в коей мере не учитывают частоту употребления слов. Поэтому В. Тольнаи провел дополнительные расчеты, подвергнув с учетом употребительности анализу живую речь и язык прессы. У него полу-

[1] K e l e m e n J., A magyar szókincs nagysága, «Iskolai nyelvművelő», Budapest, 1959.

[2] B a l l a g i M., A magyar nyelv teljes szótára, I—II, Budapest, 1868—1873.

[3] T o l n a i V., Halhatatlan magyar nyelv, «Magyar nyelv», 2, 1896.

чился следующий результат в процентах: 88% венгерских слов, 3% славянских, 3% латинских, 2% германских, 1% тюркских, 3% слов из других языков и неизвестного происхождения. В «Системе современного венгерского языка», изданной в 1961 г. в Будапеште, подсчитано количество слов в современном венгерском языке. Автор раздела о словарном запасе, Д. Сепе, указывает, что в зависимости от принципов подсчета число слов в венгерском языке колеблется от 800 000 до 1 065 000 [4].

Довоенные статистические работы о буквах, звуках и словах связаны с исследованиями венгерских стенографов, и прежде всего З. Немеша. Секретарь венгерского общества стенографистов З. Немеш в 1933 г. опубликовал в Сегеде брошюру «Наиболее употребительные слова венгерского парламентского языка» [5]. Эта работа заслуживает более подробного изложения. Известно, что работа стенографистки теснейшим образом связана с закономерностями языка. Когда стенографистка следит за мыслью и набрасывает на бумагу услышанное, она стремится максимально использовать особенности и правила данного языка, специфику его фонетики, словообразования, языковые аналогии, конструктивную связь суффиксов, показателей и окончаний, взаимозависимость единственного и множественного числа, сокращения и условные обозначения постоянно употребляемых выражений. Поэтому для стенографии особо важное значение имеет частота употребления слов, суффиксов, показателей, окончаний, слогов и других языковых элементов. Впервые в истории венгерского языкознания З. Немеш на основе анализа текста в 100 000 слов установил статистику суффиксов, показателей, окончаний и выделил наиболее употребляемые слова в парламентском языке.

Автор «Наиболее употребительных слов венгерского парламентского языка» изложил результаты исследования в трех таблицах, в которые он включил слова, попадавшиеся в тексте по крайней мере двадцать пять раз. В первой таблице, насчитывающей всего 504 единицы, слова располагаются по алфавиту; рядом с каждым словом помещается цифра, отражающая частотность употребления данного слова в тексте.

Вторая таблица занимается частотой употребления слов в несколько ином плане. Она выясняет, сколько раз слово употребляется самостоятельно, и сколько раз в составе производных слов. Эта таблица имеет также графу специальных дополнений и замечаний. Третья таблица посвящена словам и формантам, часто встречающимся в составе сложных слов.

Помимо упомянутой брошюры, З. Немеш опубликовал также «Статистику слова» [6].

Уже упомянутая «Система современного венгерского языка» дает конкретные цифры числа слогов в венгерском слове. Примерно 22,5% всех слов состоит из одного слога, 60% — из двух, 15% — из трех, 2,3% — из четырех, 0,2% — из пяти и более слогов. Несколько иная картина получается при анализе связного текста, в котором слова берутся вместе с показателями и окончаниями. Здесь уже насчитывается 37% слов из одного слога, 33,8% — из двух слогов, 18,7% — из трех слогов, 8,5% — из четырех, 2% — из пяти и более слогов. Число односложных слов в связном тексте сильно увеличивается за счет часто встречающихся артиклей, частиц, указательных местоимений и других небольших слов.

Первый слог в слове примерно в 30% начинается с гласного звука, в 70% — с согласного. Последний слог в слове примерно в 20% всех случаев заканчивается гласным звуком, в 65% — одним согласным,

[4] «A mai magyar nyelv rendszere», I kötet, Budapest, 1961.
[5] Nemes Z., A magyar parlamenti nyelv leggyakoribb szavai, Szeged, 1933.
[6] Nemes Z., Szóstatisztika, Budapest, 1939.

в 10% — двумя разными согласными. Стечение гласных звуков, открывающее слово,— чрезвычайно редкое явление. Оно встречается лишь в заимствованиях, составляющих около 1% всех слов. Стечение двух согласных в середине слова, напротив, довольно частое явление, встречается в 30% всех слов. Стечение трех и более согласных звуков не характерно для венгерского языка и встречается лишь в 2% слов. Однако стечение двух согласных в конце слова является обычным сочетанием и употребляется в 10% всех слов.

В венгерском языкознании количественные методы применялись также и для определения длины слова. В 1960 г. была опубликована работа И. Фонади «Длина слова в венгерской речи» [7].

И. Фонади проделывает интересный опыт. Он берет устный рассказ одного человека, записывает его, исправляет и редактирует. Затем сопоставляет число слогов в словах устного и письменного рассказов. Число слогов И. Фонади подсчитывает в процентах. В результате получается таблица, наглядно показывающая разницу между письменной и устной речью (см. табл. 1).

В устной речи вместо длинных слов стараются употреблять их короткие варианты. Так, вместо слова *filmszínház* «кинотеатр» стали употреблять новое слово *mozi*, пущенное в ход писателем Й. Хелтаи.

Венгерское языкознание имеет богатые традиции в области изучения количественных характеристик букв и звуков. Впервые попытался определить количественные характеристики венгерских букв Ж. Шимони, опубликовав в 1908 г. статью «Числовое соотношение букв в венгерском языке» [8].

Оперируя скорее грамматическими, чем статистическими выкладками, Ж. Шимони устанавливает следующий порядок употребления согласных букв в конце слова: *k*, *t*, *l*, *n*, *m*, *s*. В соответствии с частотой употребления, гласные буквы также имеют свою последовательность: *a*, *e*, *i*. В начале слова буквы по степени встречаемости располагаются в следующем порядке: *k*, *f*, *m*, *sz*, *t*, *b*, *h*, *v*, *d*, *j*, *o*, *z*(*zs*), *u*, *ü*. Вторая и предпоследняя буквы слова в большинстве своем — гласные, а первая и последняя — согласные. Соотношение гласных и согласных звуков в венгерском языке составляет 43 : 57.

Две работы о буквах и звуках написал венгерский лингвист В. Тольнаи. Первая из них, «Некоторые числовые данные о звуках и буквах», была опубликована в 1906 г. [9]. Автор статьи сопоставляет статистические данные о звуках и буквах в венгерском языке на основе анализа языка писателей П. Дюлаи, М. Йокаи, Ж. Бёти, Б. Тот и Ф. Херцег, поэтов Ш. Петефи, Верешмарти, Я. Араня, политических газетных статей и некоторых других сообщений. В. Тольнаи берет в каждом случае по 2500 звуков и подсчитывает среднюю величину повторяемости каждого звука. Он устанавливает определенный порядок следования звуков в зависимости от частоты их употребления, а также сочетаемость гласных (*e* + *é*, *a* + *á*, *o* + *ó*). Вторая статья В. Тольнаи, «О красоте языков», появилась в 1921 г. [10]. На этот раз в центре внимания автора — музыкальные элементы языка и частота их употребления. В. Тольнаи приводит данные по употреблению гласных и согласных звуков по 14 языкам. Он стремится уточнить, какие согласные и их сочетания употребляются в каждом конкретном языке вообще и какие — только в начале или кон-

[7] F o n a g y J., A szavak hossza a magyar beszédben, «Magyar nyelvőr», 3, 1960.
[8] S i m o n y i Zs., A betűk számaránya a magyarban, «Magyar nyelvőr», 2, 1908.
[9] T o l n a i V., Egy néhány számadat a hangokról es betűkről, «Magyar nyelvőr», 4, 1906.
[10] T o l n a i V., A nyelvek szépségéről, «Magyar nyelv», 1, 1921.

це слова. В. Тольнаи считает, что в начале венгерских слов нет стечений согласных, два согласных в начале характерны лишь для заимствованных слов.

Статистикой гласных звуков подробно интересовался Т. Тарноци, опубликовавший две работы. Первая из них, «Распределение венгерских гласных», вышла в свет в 1942 г.[11], вторая, «Замечания и дополнения к вопросу о распределении гласных в венгерском языке»,— в 1943 г.[12].

В 1953 г. большое статистическое исследование о фонетическом составе венгерского языка опубликовала Э. Вертеш [13]. Сопоставляя данные Т. Тарноци о языке венгерского поэта Э. Ади с количественными данными о языке современного венгерского писателя П. Вереша, Э. Вертеш отделяет звуковые особенности языка от особенностей стиля писателей, и приходит к выводу о том, что выяснить частоту употребления отдельных звуков речи было бы затруднительным делом. Можно лишь установить частоту употребления отдельных звуковых сочетаний. Э. Вертеш изучила возможности сочетаний гласных и согласных звуков в языке Э. Ади и П. Вереша и установила, что выявить зафиксированные сочетания можно лишь с учетом стиля писателя. В своей работе Э. Вертеш рассматривает как с точки зрения качества, так и с точки зрения количества особенности слогов в венгерском слове. Э. Вертеш занималась также вопросом о том, насколько те или иные статистические данные применимы к заимствованным словам. Она установила, что имеется определенная разница между употреблением сочетаний согласных звуков в венгерских и заимствованных словах. Стечения согласных звуков в начале слова наблюдаются в славянских и германских заимствованиях, стечения трех согласных в середине слова — в германских заимствованиях. Стечения гласных звуков в середине слова или в конце употребляются лишь в латинских, неолатинских или в псевдолатинских заимствованиях. Происхождение слов накладывает отпечаток и на количество слогов.

Подсчетом удельного веса отдельных гласных и согласных звуков в венгерском языке занимался Л. Деме в статье «Звуковой облик нашего языка», появившейся в 1966 г.[14]. Автор статьи выводит ряд закономерностей частоты употребления звуков. Так, например, звук *e*, по данным Л. Деме, составляет 10,6% всех звуков языка и 25% всех гласных звуков. Не менее широко распространен звук *a*, который составляет 9,6% всех звуков и 23,6% всех гласных звуков. Гласные составляют 41,2% всех звуков, а согласные — 58,3%. Соотношение гласных переднего и заднего ряда почти одинаково. Частота употребления гласных заднего ряда лишь на 2% отстает от частоты употребления гласных переднего ряда. Согласных звонких звуков в венгерском языке на 12% больше, чем незвонких.

Языковая статистика играет немалую роль при исследовании диалектов. Определенный интерес в этом отношении представляет очерк В. Фаркаша «Статистические проблемы фонем в истории типов диалектов», защищенный в качестве диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук [15]. С целью дать возможно более точную качественную характеристику фонем в диалектах В. Фаркаш привлекает для исследования венгерские средневековые кодексы и анализирует их.

[11] Tarnóczy T., A magyar magánhangzók eloszlása, «Magyar nyelv», 4, 1942.
[12] Tarnóczy T., Megjegyzések és kiegészítések, a magyar magánhangzók eloszlásának kérdéséhez, «Magyar nyelv», 4, 1943.
[13] Vertes E., Statistische Untersuchungen über den phonetischen Aufbau der ungarischen Sprache, «Acta ling. hung.», 3—4, 1953—1954.
[14] Deme L., Nyelvünk hangtani arculata, «Magyar nyelvhelyesség», Budapest, 1966.
[15] Farkas V., Fonémastatisztikai problémák a nyelvjárástipustörténetben, «Nyelvtudományi értekezések», 55, 1966.

Все кодексы, учитывая употребление в них вариантов *ö*, делятся автором на четыре группы. В. Фаркаш постоянно оперирует цифрами, доказывая степень употребляемости той или иной фонемы в кодексе.

Вопросами применения количественных методов в изучении диалектов занимался также Л. Папп в книге «История диалекта и языковая статистика» [16], получившей на конкурсе Венгерской Академии наук в 1961 г. первую премию.

Л. Папп считает, что при исследовании фонетических явлений следует обратить внимание на два вида статистики: на установление абсолютного числа примеров и контрпримеров и на абсолютное число частоты употребления анализируемого явления. Исследуемые явления следует сопоставлять даже и тогда, если они выражаются неодинаковыми единицами (морфемами) и встречаются в неодинаковом числе. Руководствуясь этим положением, Л. Папп на основе 400 текстов XVI в., содержащих 230 000 единиц, устанавливает соотношение *í*-кающего диалекта с языковой нормой. «Иканье» в венгерском языке представляет собой такое явление, при котором в некоторых венгерских диалектах вместо звука *é* употребляется *í*. Это явление в венгерском языкознании объясняется тем, что некогда в венгерском языке были два звука, т. е. *é* и *ê*, и появление *í* связано с историей этих звуков. Однако монографии о диалектах излагают этот вопрос суммарно, хотя они и отмечают разную степень *í*-канья в разных диалектах. Следует сказать, что венгерский классик Я. Арань в свое время указывал на необходимость систематического описания иканья. И. Сабо написал очерк, в котором дал полную картину иканья одного поселения. Л. Папп дал полное описание *í*-канья и *é*-канья в хоссупайском диалекте, пытаясь сопоставить языковые элементы *í* и *é*/*ê*. Помимо всего прочего, Л. Паппа эта проблема интересовала в плане истории звука. Еще до знакомства с исследованиями по этому вопросу Д. Пайжа, он весьма сомневался, что переход *é* в *í* может служить единственным объяснением *í*-канья. В своей работе Л. Папп с помощью количественных методов поднимает и исследует ряд проблем: анализирует *í*-кающие элементы архивов XVI в., выясняет частоту их употребления, статистику числа слогов и знаков, географию и социологию *í*-канья, а также обобщает свой метод. Л. Папп придерживается мнения, что определенных результатов исследования географических и общественных вопросов можно было бы добиться и не применяя количественных методов, без статистической обработки материала. Однако степень *í*-канья в отдельных письменных памятниках и у отдельных лиц можно определить лишь с помощью цифр. Без подсчетов и статистических сведений можно составить ложную картину на основе субъективных впечатлений.

Венгерские языковеды, учитывая опыт других ученых, пытались установить степень родства между финно-угорскими языками, оперируя определенными расчетами. Опираясь на идеи М. Сводеша, венгерский ученый И. Фодор вывел математическую формулу, устанавливающую примерное время расхождения родственных финно-угорских языков [17].

Количественные методы сыграли большую роль в изучении венгерского языка. Именно с их помощью были установлены числовые характеристики звуков, букв, слогов, предложений и других исчисляемых языковых элементов. Был определен объем словарного запаса венгерского языка и величина словаря отдельных диалектов. Языковая статистика помогла найти правильное решение ряда вопросов истории диалектов

[16] P a p p L., Nyelvjárástörténet és nyelvi statisztika, Budapest, 1963.
[17] F o d o r J., A statisztikai módszer alkalmazásának néhány kérdése, «Magyar nyelvőr», 2, 1960.

Таблица 1

Число слогов в слове	1	2	3	4	5
В устной речи	53,82	32,18	8,72	3,50	1,76
На письме	36,36	29,54	23,86	8,00	2,27

венгерского языка. Было определено число слогов в словах устной и письменной речи, исследована частота структур предложений, обоснована статистика формантов. Проведены первые опыты по установлению примерной даты расхождения родственных финно-угорских языков. Появились исследования о длине слова. Возникли методы определения стиля того или иного писателя.

Основная задача, которая стоит в наши дни перед количественными методами, состоит в точном описании количественного облика венгерского языка.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1974

НГУЕН КИМ ТХАН

ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ ВО ВЬЕТНАМЕ И ЯЗЫКОВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА В ДРВ

Вьетнам невелик по территории, невелика численность его населения, однако Вьетнам населяет большое количество народностей, говорящих на различных языках. По неполным данным, во Вьетнаме более 50 языков, принадлежащих к трем большим языковым семьям:

1. Аустро-азиатская семья: а) ветвь вьет-мыонг, языки: вьетнамский, мыонг, тхо (включая языки конха, данлай, лиха, тайпонг), тьыт (включая языки май, рук, сать, арем); б) мон-кхмерская ветвь, языки: манг, кханг, синмул (т. е. пуок), кхому; бру (включая манконг, три, ванкиеу, пакох, таой), кату; бахнар, ронгао, седанг (включая тодра, пнам, халанг), джэ, кайон, хрэ, кор; стиенг, мнонг, срэ, кохо (включая толоп, тола, лат, лайя, козон), ма; кхмерский; в) ветвь тхай, языки: тхай, тай, нунг, зай, бои, тхюи, сантьей, лы, пупяо, пуна, лаосский.

2. Китайско-тибетская семья: а) китайская ветвь, языки: китайский язык (с диалектами хакка, гуандун, куанхоа на юго-западе), санзиу, тузи; б) ветвь мео-зао, языки: мео, зао, пахынг (т. е. патхен), тонг; в) тибето-бирманская ветвь, языки: хани, лоло, лаху, сила, фула, конг и др.

3. Малайско-полинезийская семья, языки: чам, эдэ, жорай, раглай, чамрой, тюру, бих, лаоанг (т. е. ноанг) и др.

Кроме того, существуют языки лаха, лати, клао, которые можно отнести к промежуточным между аустро-азиатской и малайско-полинезийской группами.

Народности Вьетнама гордятся своей четырехтысячелетней историей, своей оригинальной и многообразной культурой, победами, одержанными в борьбе против могущественных для своего времени захватчиков, жизненной силой и постоянным развитием своих языков и, прежде всего, вьетнамского языка, языка основной народности. В течение почти десяти веков в начале новой эры, а также в период с конца XIX в. вплоть до окончания второй мировой войны жестокое господство захватчиков сковывало развитие вьетнамского общества, развитие языков народностей Вьетнама, в том числе и вьетнамского языка, развитого и своеобразного, уходящего корнями в глубину веков. Языки Вьетнама были вытеснены из общественно-политической жизни, из сферы образования, научно-технических поселений. В период господства французских колонизаторов 95% населения было неграмотным, французский язык господствовал в сфере администрации, законодательства, науки и техники. Вьетнамский язык преподавался в школах только до четвертого класса, а на других языках Вьетнама преподавание вовсе не велось. Лингвистических работ в этот период было очень мало, в большинстве своем они писались французскими авторами, имели основной целью обучение колонизаторов вьетнамскому языку и содержали бооьшое количество серьезных методологических ошибок.

Партия трудящихся Вьетнама с момента своего образования (1930) проводила во Вьетнаме ленинскую языковую политику. Еще до Августовской революции 1945 г., возглавляя борьбу вьетнамского народа против ига колонизаторов и феодалов, партия выступила с требованием использования вьетнамского языка во всех сферах общественной жизни, прежде всего в сфере образования; она требовала равноправия для всех языков малых народностей, создания письменности для бесписьменных языков, боролась за нормальное развитие и дальнейшее объединение вьетнамского языка, за ликвидацию неграмотности, за реформу письменности, призывала патриотическую интеллигенцию создать научную грамматику, толковый словарь вьетнамского языка и т. д. После Августовской революции конституцией ДРВ было определено право народностей Вьетнама пользоваться родным языком. Государство помогло малым народностям осуществить это право.

После Августовской революции перед вьетнамской патриотической интеллигенцией встала исключительно сложная задача — быстро и полностью заменить французский язык вьетнамским во всех сферах: администрации, законодательства, образования, науки, техники и т. п. Эта задача была тем более трудна, что во вьетнамском языке не было развитой терминологии. Часть интеллигенции подвергла сомнению возможность использования вьетнамского языка во всех этих сферах, особенно в высших учебных заведениях, в науке и технике. Эти трудности были преодолены путем использования имевшихся ранее немногочисленных терминов и создания новых терминов на базе вьетнамского языка, а в случае необходимости — использования заимствований из китайского и французского языков. Помимо этого, революционное правительство сразу же приступило к ликвидации неграмотности, организации общеобразовательных школ на родном языке для народностей, имевших письменность, развитию высшего образования и т. д. Осуществление этих задач дало хорошие результаты.

Вскоре после Августовской революции началась всенародная война сопротивления агрессии французских колонизаторов, которая длилась восемь лет. В этот период, несмотря на необходимость перебазирования правительственных учреждений, школ и других организаций в сельскую местность, в джунгли, продолжалась работа по обсуждению реформы национальной письменности, по созданию грамматики вьетнамского языка, по обследованию языковой ситуации у малых народностей, по созданию письменности для некоторых народностей, имевших для этого благоприятные условия. Из-за порочной системы образования в период господства французских колонизаторов до Августовской революции во Вьетнаме не было ни одного профессионального лингвиста. Поэтому после революции языковедческой работой в ДРВ занимались представители интеллигенции, деятельность которых была связана с развитием народной культуры, родного языка и языков братских народностей. Им приходилось одновременно работать и учиться.

С привлечением широких народных масс к общественно-политической жизни страны значительно расширились общественные функции вьетнамского языка и языков других народностей. В процессе столь быстрого развития неизбежны были разного рода неправильности, факты ненормативного словоупотребления в устной и письменной речи, злоупотребления иностранными заимствованиями (особенно из китайского языка). В связи с этим начиная с 1947 г. президент Хо Ши Мин постоянно проводил большую воспитательную работу в массах за правильное использование языка, за его демократизацию, боролся против названных отрицательных явлений.

После окончания войны сопротивления (1954) впервые в истории страны в ДРВ, в Ханойском университете, началась подготовка лингвистических кадров. В Министерстве просвещения, в Ханойском университете, в Институте литературы была налажена научно-исследовательская работа в области языкознания. Лингвисты ДРВ сосредоточили свои усилия на осуществлении следующих важных задач: создание учебников для вузов (общего языкознания, фонетики вьетнамского языка, грамматики вьетнамского языка, лексикологии, стилистики и диалектологии вьетнамского языка); создание терминологических словарей для всех отраслей науки, техники, культуры и искусства; исследования в области реформы письменности; создание единой орфографии для вьетнамского языка; обследование языков тай, нунг, мео, тхай и создание письменности для народностей тай-нунг и мео, а также реформа письменности тхай; подготовка теоретической и материальной базы для создания вьетнамского толкового словаря и грамматики вьетнамского языка и др.

Одновременно с этим среди молодежи, обучавшейся различным специальностям в социалистических странах, готовились и будущие лингвисты.

Языковедческая деятельность не только не прекратилась, но продолжала расширяться и после того, как империалисты развязали агрессивную войну в Южном Вьетнаме, самую жестокую, варварскую и длительную, и начали военные действия против ДРВ. В 1966 г. в Ханое премьер-министр Фам Ван Донг выступил на конференции лингвистов, писателей, журналистов и работников народного образования с докладом «Сохранять чистоту вьетнамского языка». В 1968 г. был официально создан Институт языкознания при Комитете науки и техники ДРВ. С 1969 г. началась публикация первого во Вьетнаме лингвистического журнала «Нгон Нгы» («Язык»). В исключительно трудных условиях, находясь в эвакуации в отдаленных сельских районах, вьетнамские лингвисты взялись за создание вьетнамского толкового словаря на базе 3 млн. карточек, расписанных за последний период, и вьетнамской общеобразовательной грамматики. В настоящее время закончена работа над первым из четырех томов толкового словаря и написана грамматика вьетнамского языка. В основном завершена работа по созданию терминологических словарей для различных отраслей науки, техники, культуры и искусства. Завершено составление словаря письменности ном, древней письменности Вьетнама. Закончен первый этап обследования языков малых народностей Вьетнама. Подготовлены или вышли из печати двуязычные словари (словарь мео-вьетнамский, словарь тай-нунг-вьетнамский, словарь вьетнамско-жорай, словарь вьетнамско-мео, словарь вьетнамско-тай-нинг), грамматика языка тай-нунг и др. Институт языкознания начал подготовку отечественных лингвистических кадров высокой квалификации. Продолжается работа по обследованию и изучению диалектов вьетнамского языка и наиболее распространенных диалектов языков малых народностей. Сделаны первые шаги по применению математических методов при изучении вьетнамского языка.

Лингвисты ДРВ внимательно следят за новыми достижениями языкознания в странах социализма и в других странах, выдвигают и решают ряд теоретических и методических проблем, связанных с изучением вьетнамского языка и других языков Вьетнама.

Специалисты революционного правительства Республики Южный Вьетнам, используя опыт Северного Вьетнама, создали и усовершенствовали письменность для 17 малых народностей Южного Вьетнама; эти письменности используются в начальной школе, в печати, в местных изданиях.

Вьетнамские лингвисты испытывают глубокую благодарность к народам Советского Союза и других стран социализма, к прогрессивным людям всего мира за солидарность, поддержку и помощь в справедливой борьбе вьетнамского народа. Мы благодарны лингвистам Советского Союза и других стран социализма, а также прогрессивным интеллигентам ряда стран за подготовку большого количества лингвистических кадров, за помощь материалами, исследовательским оборудованиям и намерены сотрудничеть с ними в изучении вьетнамского языка и других языков Вьетнама.

Перевела с вьетнамского *И. Е. Алешина*

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1974

РЕЦЕНЗИИ

G. Hazai. **Das Osmanisch-Türkische im XVII. Jahrhundert.** Untersuchungen an den Transkriptionstexten von Jakab Nagy de Harsány.—Budapest, Akadémiai Kiado, 1973. 498 стр. («Bibliotheca Orientalis Hungarica», XVIII).

Рецензируемая книга написана венгерским тюркологом Г. Хазаи, учеником академиков Ю. Немета и Л. Лигети.

Исследование, представленное в книге, основывается на турецко-латинском разговорнике: «Colloquia Familiaria Turcico-Latina seu Status Turcicus Loquens. In quo omnes ferè Turcici Imperii ordines, ministrorum cujuscunque conditionis, extra vel intra Aulam Regiam, inquè Gubernaturis dignitas, qualitas, officia; regimen, gentis robur terrestre et maritimum: item natura, mores ritus et consvetudines variae; religio, sectae, et religiosi etc., etc. per Colloquia, velut in Speculo quodam, ad vivum repraesentantur, ac notis necessarijs illustrantur. Per Jacobum Nagy de Harsány Nob. Ung. Serenissimi ac Potentissimi Electoris Brandenburgici Consiliarium Subnexum est Testamentum seu Foedus Mahomedis cum Christianis initum. Coloniae Branderburgicae, Typis Georgij Schultzij, Elect. Typogr. Anno M.DC.LXXII. 8 г. 510 S»[1].

Автор книги «Обыденные турецко-латинские разговоры»[2], венгерский богослов и ориенталист Якаб Надь де Харшани, ставил перед собой достаточно широкие цели и неспроста дал своей книге еще и название «Разговаривающая Турция»; как он указал в пространном заглавии, «в разговорах, как бы в некоем зеркале, воспроизводятся как живые и сопровождаются необходимыми пояснениями почти все сословия Турецкой державы, достоинство, качество, обязанности и компетенция служителей всяческого состояния вне Двора и внутри его, а также в вилайетах; сухопутные и морские силы страны; а так же природа, нравы, обычаи и различные традиции; религия, секты, религиозные ордена и прочее».

Г. Хазаи тщательно собрал немногочисленные дошедшие до нашего времени биографические данные об авторе «Обыденных разговоров». По этим сведениям Якаб Надь де Харшани родился в 1615 г. в дворянской семье и получил образование в гимназии Надьварада, где в теологических, а также практических целях преподавались восточные языки, в том числе и турецкий. По окончании гимназии он занимался в одном из немецком университетов, а позднее — в бельгийском. Затем он стал учителем в гимназии, в которой в свое время сам учился. С 1651 г. Я. Н. де Харшани жил в Берлине, где вел коммерческую и дипломатическую корреспонденцию Бранденбургского графа Фридриха Вильгельма. В Турции — в ее столице и других местах — он провел семь лет в качестве поверенного в делах Бранденбургского двора; дата его смерти неизвестна; в 1677 г. он был еще жив.

Труд Я. Н. де Харшани, опубликованный в Ней-Кёльне (Бранденбург) в 1672 г., по словам автора, преследовал цель дать необходимые представления о турецком разговорном языке; причем автор считал нужным и полезным знакомить читателя с турецким разговорным языком на материале, сообщающем читателю сведения о различных сторонах жизни тогдашней Турции; таким образом, книга Я. Н. де Харшани является своеобразным путеводителем по Турции XVII в., а потому представляет известный интерес и для историков Турции.

Книга Я. Н. де Харшани состоит из восьми глав: I — Приветствия и ответы на них, о путешествии и путешественниках и т. п.; II — О вещах, необходимых в дороге, о проводниках и т. п.; III — О войне и обо всем необходимом для нее, способы призыва новобранцев, пополнение турецкого войска, вспомогательные войска; IV — О разных вещах, о гостиницах, о гостях, о разной пище и напитках и пр.; V — О посоль-

[1] Об этом труде с похвалой отозвался Ф. Бабингер: Fr. Babinger, Die türkischen Studien in Europa bis zum Auftreten Josef von Hammer-Purgstalls, «Die Welt des Islams», 7, 3—4, Berlin, 1919, стр. 116—117.

[2] «Colloquia Familiaria» «Обыденные разговоры» — заглавие известной книги Эразма Роттердамского.

ской должности; вещи, необходимые послу; свита чрезвычайного министра, секретари, экономы; об особенностях посольской службы в Константинополе; каким образом посол прибывает во дворец везиря, императора и отбывает; переводчики и послы; VI — О купцах и их делах; о переводчиках, послах и разносчиках; VII — О служителях короля (Regiis) во вне и во дворце короля, в особенности об «аджем огланах», янычарах, сипахах, везирях и т. п.; VIII — О природных свойствах турок; о религии, ее первосвященниках, муфтиях, и др.

Труд Я. Н. де Харшани с предельной ясностью свидетельствует о его глубоких и разносторонних познаниях в турецком языке и жизни современной ему Турции и потому является весьма ценным памятником турецкого языка XVII в.

У автора «Обыденных разговоров» — в части сообщения сведений о турецком языке — еще в XV—XVI вв. были предшественники. В числе лиц, которые принесли на Запад сведения о турецком языке (правда, весьма поверхностные), были Ганс Шильтбергер, Арнольд ф. Харфф, Семиградец «Мюльбахер», Бартоломей Георгиевич и др. [3].

XVII столетие в истории изучения турецкого языка на Западе представлено рядом солидных описаний фонетико-грамматического строя и лексики турецкого языка, принадлежащих И. Мегизеру (1612), А. Дю Риё (1630), Дж. Молино (1641), М. Маджио (1643), У. Симэну (1670), Фр. Менинскому (1680) и др.[4]. Я. Н. де Харшани, получившему солидную — насколько это было возможно в то время — востоковедную подготовку, были, по-видимому, известны основные из указанных выше работ по турецкому языку, о чем с достаточной очевидностью свидетельствует его труд.

Рецензируемый труд Г. Хазаи состоит из следующих разделов: Предисловие (стр. 9), I. Введение (стр. 11—14); II. «Colloquia Familiaria Turco-Latina» Якаба Надь де Харшани; Автор и его труд (стр. 15—19); III. Технические основы исследования: Общие положения. Указатель литературы. Сокращения (стр. 20—31); IV. Турецкий текст (латинскими буквами) и его латинский (автора) и немецкий (издателя) переводы (стр. 33—199); V. Указатели: 1. Указатель слов, встречающихся в корпусе текста (стр 201—267); 2. Указатель прочих тюркских слов, встречающихся в комментарии к тексту, (стр. 268—278); 3. Индекс турецких слов в современной турецкой графике в сопоставлении с оригинальным начертанием, принятым в исследуемом тексте (стр. 278—318); VI. Язык текста: 1. Общие замечания. Типографские особенности текста (стр. 319). 2. Фонетика. Обозначение звуков (стр. 319—324). Таблица букв и обозначаемых ими звуков (стр. 324—325). Влияние арабского алфавита на графику текста (стр. 325—326). Субституция звуков (стр. 326—327). Гласные (стр. 327—341). Согласные (стр. 341—360). 3. Фонология. Замечания к инвентарю фонем (стр. 361—364). 4. Морфонология (стр. 364—438). 5. Морфология (стр. 439—456). 6. Синтаксис (стр. 457—458). 7. Словарный запас (стр. 458—460). 8. Оценка значения текста для изучения диалектологии и истории турецкого языка (стр. 461—463). VII. Регистр аффиксальных морфем, встречающихся в тексте (стр. 465—498).

Изданный Г. Хазаи турецкий транскрипционный текст, по своему объему едва ли не самый пространный из ранее опубликованных, справедливо рассматривается издателем как ключевой памятник для истории турецкого языка (стр. 14).

Самостоятельную исследовательскую ценность представляет тщательно разработанный Г. Хазаи «Указатель слов, встречающихся в корпусе текста» (стр. 201—267). Каждое слово регистрируется (с указанием места в тексте) во всех употребляющихся в тексте формах и приводится в оригинальном начертании (т. е. так, как приведено автором в латинской транскрипции) и в транскрипции современной турецкой азбукой; каждое слово снабжено турецким эквивалентом и переводом на немецкий язык.

Указатель слов, встречающихся в корпусе труда Я. Н. де Харшани, дополняется «Указателем прочих турецких слов» (стр. 268—278), содержащихся в комментариях автора к турецкому тексту.

Третьим разделом «Указателя» является «Индекс» (стр. 278—318), в котором турецким словам в записи Я. Н. де Харшани приведены современные соответствия (турецкие слова в современном звучании и графике).

Гл. VI «Язык текста» (стр. 319—463) начинается с объяснения некоторых типографских особенностей труда Я. Н. де Харшани, для разгадки которых потребовалось не только терпение, но и глубокое знание исторической фонетики турецкого языка. В этой области турецкого языкознания Г. Хазаи давно зарекомендовал себя как серьезный знаток предмета; новым очевидным подтверждением этого служат разделы «Фонетика» (стр. 319—361) и «Фонология» (стр. 361—364).

Давно признано тюркологами, что транскрипционные тексты для изучения исторической фонетики тюркских языков представляют совершенно исключительный интерес и значение, так как по тюрк-

[3] Подробнее см.: Fr. Babinger, указ. соч.

[4] Подробнее см.: J. Deny, L'osmanli moderne et le Turk de Turquie, «Philologiae Turcicae fundamenta», I, Wiesbaden, 1959, стр. 220—223.

ским текстам, писанным арабицей, невозможно достаточно полно и точно судить о деталях фонетики разных эпох.

В свете сказанного «Обыденные турецко-латинские разговоры», представляющие собою обширный турецкий текст, который написан латинскими буквами, используемыми применительно к венгерской графической практике, дают исключительного значения материал для изучения фонетики и грамматики турецкого разговорного языка середины XVII в.

Обстоятельное описание фонетики и фонологии изучаемого текста выполнено на основе результатов, достигнутых как самим Г. Хазаи, так и его предшественниками.

Фонологические наблюдения, сделанные в разделе «Фонология», развиваются и подкрепляются хорошо систематизированным материалом, излагаемым в разделе «Морфонология» (стр. 364—438). Впервые на материале турецкого языка так обстоятельно с применением новейших приемов разработана морфонологическая структура одного из интереснейших памятников турецкого языка.

Собственно морфология этого текста (стр. 439—456), по-видимому, по причине того, что общие вопросы морфологии были изложены в связи с фонологией в разделе «Морфонология»,— рассматривается очень бегло и фрагментарно. Между тем, морфонология не может заменить исследования морфологии памятника, так как морфонология имеет своей основной целью исследование и описание связей фонологии и морфологии в плане изучения фонем с точки зрения их функционирования в составе морфем.

Обращаясь с этих позиций к рассмотрению раздела «Морфология» в рецензируемой книге, приходится с сожалением констатировать, что Г. Хазаи ограничился перечислением только некоторых морфологических категорий без выявления и описания морфологии памятника как системы. В этом разделе (после краткого вступления) рассматриваются лишь: мн. число, посессивные суффиксы [5], склонение, послелоги, местоимения, союзы, вопросительные слова, образование глагольных форм, отглагольные имена, деепричастия, оборот *olmak var* [6], личные окончания.

Синтаксису исследуемого памятника отведены лишь две страницы (стр. 457—458). Лапидарность изложения этого важного раздела грамматики издатель объясняет следующим образом: «Наш памятник в силу его особого характера не годится для подробного синтаксического анализа. На этом основании исследование этого раздела (грамматики.— *А. К.*) изъято из нашей работы» (стр. 457).

Синтаксис исследуемого сочинения, безусловно, точно выражает разговорную речь тех стамбульцев, которые говорили на «орта тюркче», т. е. на языке средних слоев населения тогдашней столицы Османской империи. «Разговорник» Я. Н. де Харшани, как и всякое практическое пособие подобного рода, заключает в себе вопросы и ответы, причем вопросы нередко, а ответы довольно часто имеют форму пространного изложения, позволяющего, как мне представляется, произвести синтаксические наблюдения над турецким разговорным языком стамбульцев XVII в.

Известный интерес для сравнительного изучения словарного состава разговорного турецкого языка XVII в. представляет лексика «Разговорника» (стр. 458—480), которая, по справедливому замечанию Г. Хазаи, «имеет сравнительно мало отклонений от современного общеразговорного языка» (стр. 458), который до сих пор изучен еще далеко не полно.

Опытный исследователь турецкой диалектологии, издавший ряд работ по исторической и современной турецкой диалектологии, Г. Хазаи, естественно, должным образом оценил значение лексико-грамматического материала «Разговорника» для диалектологии и истории турецкого языка (стр. 461—463).

Кроме того, Г. Хазаи обратил внимание на то, что издаваемый им «Разговорник» в части фонетико-грамматико-лексического материала продолжает довольно длинный ряд грамматик и словарей, составленных миссионерами и переводчиками (стр. 461) (некоторые из них упомянуты мною выше). Поэтому, добавим мы, все эти труды по грамматике и лексике турецкого языка позднего средневековья должны быть обследованы в целях получения полного, основанного на показаниях ряда источников, представления о разговорном турецком языке XV—XVIII вв.— его фонетики, грамматики, лексики. При сравнительном изучении подобных трудов следует иметь в виду, особенно в части изучения фонетики и синтаксиса, что эти материалы дошли до нас в передаче иностранцев, а не природных носителей турецкого языка.

«Обыденные турецко-латинские разговоры» Я. Н. де Харшани — произведение венгра, фонетика родного языка которого обладает в сравнении с турецким языком рядом специфических особенностей. При анализе содержащегося в

---

[5] Замечу кстати, что широко используемому в западноевропейской тюркологии термину «суффикс» в отечественной практике соответствует термин «аффикс», утвердившийся с середины прошлого века.

[6] Сочетание *-mak var/yok* следует рассматривать как аналитическую форму возможности/невозможности (подробнее см.: А. Н. Кононов, Грамматика современного турецкого литературного языка, М.—Л., 1956, § 1029).

«Разговорнике» фактического материала следовало также учитывать, что для записи турецкого текста была использована венгерская азбука, в которой нет знаков для ряда звуков турецкого языка. Все эти трудности, возникавшие при изучении текста, были успешно преодолены Г. Хазаи, для которого венгерский язык, как и венгерская графическая система, также являются родными.

Проверка фонетических и грамматических данных, которые добыты путем изучения транскрипционных текстов, записанных иностранцами на основе латинской, греческой, армянской, славянских и других буквенных систем, может быть осуществлена лишь на основе сопоставления их с текстами, написанными самими турками в соответствующие периоды времени. Однако этот само собою разумеющийся принцип теряет свою очевидность, как только мы вспомним, что тексты, написанные турками, как правило, отражают не народно-разговорный язык, лежащий в основе большинства транскрипционных текстов, а письменный литературный, который в XVII в. достиг высокой степени совершенства; кроме того, турки пользовались арабской графикой, которая крайне затрудняет определение фонетического облика турецкого слова.

В силу сказанного транскрипционные тексты могут быть использованы, главным образом, для исторической фонетики турецкого народно-разговорного языка, в тех случаях, когда имеются соответствующие указания о месте записи,— и для исторической диалектологии турецкого языка.

Прекрасно изданный и тщательно изученный Г. Хазаи труд Я. Н. де Харшани «Обыденные турецко-латинские разговоры» является еще одним напоминанием о том, что приспело время тюркологам, в первую очередь — османистам, предпринять определенные шаги к изданию корпуса турецких транскрипционных текстов и созданию на его основе, по единой схеме, свода данных по фонетике, грамматике и лексике всех этих текстов с генеральной задачей выявить обнаруживающиеся в них схождения и расхождения, привлекая для сравнения собственно турецкие письменные памятники.

Задача грандиозная, но реально выполнимая при условии объединения усилий специалистов, занимающихся изучением истории и современного состояния турецкого языка.

А. Н. Кононов

«Тюркологический сборник. 1971». — М., «Наука», Главная редакция восточной литературы, 1972. 290 стр.

Рецензируемый сборник, посвященный памяти выдающегося тюрколога В. В. Радлова, состоит из двух частей. Первая часть содержит статьи, в которых раскрывается значение трудов В. В. Радлова в разработке различных областей тюркологии; во второй части представлены материалы, продолжающие и развивающие тюркологические темы, исследование которых было в центре внимания ученого; это, прежде всего, морфологический строй тюркского слова, текстологические и лингвистические исследования древнеуйгурских текстов. Сборник оснащен хронологическим перечнем трудов В. В. Радлова и литературы о нем (стр. 261—279, составила Н. А. Дулина) и заканчивается сообщением В. Г. Гузева, Н. А. Дулиной, Д. М. Насилова о тюркологической конференции памяти В. В. Радлова, состоявшейся в Ленинграде 11—14 июня 1968 г.

Авторы статей первой части сборника — А. Н. Кононов, М. С. Сильченко, С. И. Вайнштейн, С. Г. Кляшторный, Э. Р. Тенишев, Л. Ю. Тугушева, А. М. Щербак, Д. М. Насилов, Г. Ф. Благова — единодушно выражая глубокое уважение и признательность великому ученому, испытывая заслуженную гордость перед проделанной им работой, «которая, без преувеличения, под силу только целому коллективу опытных исследователей» (стр. 14), стремятся оценить изыскания В. В. Радлова в плане современного состояния отечественной тюркологии и, прежде всего, тюркского языкознания. Критически рассматривая теоретические воззрения ученого, отказываясь от того, что было в них «данью времени», авторы этих статей дают самую беспристрастную и адекватную оценку его трудов. Они доказывают, что В. В. Радлов принадлежит не только истории тюркологии: с ним связано ее современное состояние (неслучайно, в частности, что имя В. В. Радлова — в основе многих актуальных понятий, таких, как «радловская транскрипция», «радловская классификация», «дорадловская и радловская эпохи» в развитии тюркологии) и в известной мере — ее будущее, особенно если учесть на фоне развертывающегося ныне сравнительно-исторического исследования тюркских языков, что едва ли не главной заслугой ученого признается в настоящее время утверждение сравнительно-исторического метода в тюркологии (стр. 14). Располагая

архивом ученого, авторы отдельных статей первой части сборника сообщают ценные сведения о некоторых сторонах творчества и жизни В. В. Радлова.

Радловская эпоха — это золотая эпоха открытия памятников, дешифровки рун, чтения древнеуйгурских текстов. При этом В. В. Радлов имел возможность своевременно публиковать собранные им тексты и свои исследования. В настоящее время, как справедливо отмечает Д. М. Насилов, множество из старых рукописей остаются все еще не изданными и, следовательно, практически не введенными в научный обиход, а опубликованные тексты — фольклорные и диалектные, добавим мы со своей стороны, по объему пока никак нельзя сравнивать с изданными В. В. Радловым. Конечно, послерадловский период характеризуется в качественном отношении более глубокими исследованиями, усовершенствованием методов текстологии и лингвистики. Однако неоправданно одно — снижение интенсивности издания текстов — старописьменных, диалектных, фольклорных, в которых так нуждается тюркология.

Сборник открывается статьей А. Н. Кононова «В. В. Радлов и отечественная тюркология» (стр. 7—15), где автор прослеживает основные моменты жизни, научного творчества и организационно-административной деятельности ученого на фоне развития тюркологии в дорадловский, радловский и послерадловский периоды. А. Н. Кононов определяет В. В. Радлова как пионера тюркской текстологии, создателя собственной школы тюркологов, более того — как родоначальника новой эпохи в тюркологии, ибо трудами В. В. Радлова, открывающими широкие научные горизонты и имеющими общетюркологическое значение, «... тюркология в целом — во всех ее основных филологических и лингвистических разделах поднялась на новую ступень, приобрела новое качество...» (стр. 13—14). Среди имеющих общетюркологическое значение концепций В. В. Радлова А. Н. Кононов называет его классификацию древнетюркских диалектов (языков), а среди тех, которые заслуживают самого пристального внимания современных тюркологов,— идеи его о природе агглютинации и происхождении аффиксов (стр. 12—13). А. Н. Кононов выражет сожаление, что некоторые из трудов ученого незаслуженно забыты (например: «Vergleichende Grammatik der nördlichen Türksprachen. I. Tl. Phonetik der nördlichen Türksprachen»; «Einleitende Gedanken zur Darstellung der Morphologie der Türksprachen»,— см. стр. 10, 12).

Э. Р. Тенишев в статье «В. В. Радлов — фонетист и грамматист» (стр. 32—41) поставил перед собой задачу определить источники общелингвистических взглядов ученого и наметить основные направления его идей в области тюркской фонетики и грамматики. В статье показано, что В. В. Радлов как теоретик-лингвист следовал наиболее передовым взглядам своего времени. В его «Vergleichende Grammatik... I. Tl.» в строго продуманном порядке дается изложение вокалической и консонантной систем более двадцати тюркских языков. При этом центральное место в системе тюркского вокализма отводится гармонии гласных, которая рассматривается в плане как синхронический, так и диахронический (в частности, развивается мысль о морфологическом пути ее генезиса). В. В. Радлов первым высказался относительно консонантизма древнеуйгурского языка, положив в его основу «алтайскую» систему согласных; здесь Э. Р. Тенишев предлагает свой метод транскрибирования древнеуйгурских текстов, опираясь на систему согласных у современных тюркоязычных желтых уйгуров. В «Einleitende Gedanken...» агглютинация трактуется в связи с типологической классификацией языков, и в то же время В. В. Радлова занимает генезис агглютинативных единиц (аффиксов и основ). Примечательно, что морфологическая классификация языков, осуществленная ученым в этой теоретической работе, получила признание И. А. Бодуэна де Куртенэ.

Л. Ю. Тугушева в статье «В. В. Радлов — лексикограф и лексиколог» (стр. 42—53) подробно анализирует самый популярный труд ученого — «Опыт словаря тюркских наречий». «Опыт словаря...», задуманный как часть общего исследования по сравнительному изучению тюркских языков (тексты, словарь и сравнительная грамматика — последняя осталась незавершенной), благодаря единонаправленности всей работы отразил в себе морфологические, фонетические взгляды ученого. Л. Ю. Тугушева показывает, какими путями в «Опыте словаря...» решались те многочисленные проблемы, которые возникали при объединении в одном словаре (с целью сравнения) лексики разных тюркских языков, древних и новых, и в связи с этим останавливается на принятой здесь транскрипции, на алфавитной структуре словаря, на самостоятельной подаче фонетических и семантических вариантов слов одного гнезда. Подчеркивая огромное историко-лексикологическое значение «Опыта словаря...», Л. Ю. Тугушева отмечает, что общее состояние лексикографии того времени обусловило ряд недостатков: в словаре бывают отражены не основные, а вторичные значения слов; в словарной статье особо не выделены устойчивые сочетания; свободные сочетания перемежаются в ней с устойчивыми сочетаниями и фразеологизмами; фразеология фактически растворена в общей массе иллюстративного материала. Автор кратко характеризует также руко-

пись древнеуйгурского словаря, построенного на тех же принципах, что и «Опыт словаря...», и содержащего пласты лексики, отражающие весьма специфическую культуру.

А. М. Щербак в статье «В. В. Радлов и изучение памятников рунической письменности» (стр. 54—63) в хронологическом порядке рассматривает соответствующие издания ученого, которые включают в себя, как правило, помимо текстов с переводами и глоссариями, лексические и грамматические комментарии, подробные очерки графики и фонетики, первое, довольно полное описание морфологии, синтаксиса древнетюркского языка (стр. 58—60). Останавливаясь на полемике В. В. Радлова с В. Томсеном при интерпретации отдельных рун и толковании отдельных слов, А. М. Щербак показывает в целом положительное ее значение, так как она обусловливала поиски новых фактов, делала необходимым более тщательный анализ рунической графики. Такой компетентный современный эксперт по руническим памятникам, каким является А. М. Щербак, подтверждает правильность вывода В. В. Радлова относительно основной тенденции в эволюции тюркского консонантизма (развитие шло от глухих к звонким или от сильных к слабым), признает, что радловская классификация древнетюркских языков до сих пор не утратила научного значения, и выражает согласие с датировкой ученым рунических памятников.

Д. М. Насилов в статье «В. В. Радлов и изучение древнеуйгурских памятников» (стр. 64—101) подробно освещает плодотворнейшую деятельность ученого в области уйгурики. Его издания древнеуйгурских текстов чаще всего являлись самыми первыми: «Обильный приток новых текстов из Восточного Туркестана заставлял В. В. Радлова быстро их обрабатывать и публиковать, ибо ученый всегда стремился как можно быстрее сделать ценнейший языковой материал достоянием мировой науки» (стр. 77).

Опираясь как на опубликованные работы ученого, так и на его архивные материалы, Д. М. Насилов анализирует радловскую классификацию древнетюркских языков и диалектов и его взгляды на язык различных древнеуйгурских текстов из Восточного Туркестана, а также на его место среди других древних тюркских языков и диалектов. В. В. Радлов относил все тюркские языковые памятники к двум большим периодам и ареалам: 1) древнетюркские памятники Восточной Азии домонгольского времени и 2) среднетюркские памятники Средней и Западной Азии и Европы после распада монгольской империи; его классификация охватывала только первый период.

В основе концепции В. В. Радлова лежит положение о том, что «разговорные диалекты отдельных племенных групп, подвергающиеся взаимному влиянию, и письменный язык (или языки), который имеет независимое от диалектов развитие в возвышающихся в течение времени различных культурных центрах, ... суть собственно несоизмеримые величины, которые должны рассматриваться с разных точек зрения» (цит. по статье Д. М. Насилова, стр. 94). Ясно сформулированные ученым задачи периодизации памятников древнетюркской письменности, установления хронологии и определения их языковой принадлежности, подчеркивает Д. М. Насилов, до сих пор остаются во многом не решенными.

В статье «В. В. Радлов и изучение тюркской топонимии в аспекте современных топонимических проблем» (стр. 102—131) Г. Ф. Благова стремится выявить, прежде всего, богатейший топонимический материал, сосредоточенный в трудах ученого, выделить его рабочие приемы, посредством которых он производил топонимический анализ собираемого им в полевых условиях материала (при этом автор не пытается представить В. В. Радлова топонимистом на современный лад) и, систематизируя разрозненные наблюдения, реконструировать постепенно складывавшиеся топонимические воззрения ученого.

Именно В. В. Радлов первым осуществил комплексный подход, с использованием приемов лингвистического, исторического и географического анализа, к изучению томско-чулымской гидронимии на *-sas/-säs* и т. д.; открыл особо важную роль гидронимов в сибирской топонимии, своими материалами непосредственно подводя к исследованию соотношений и взаимодействий между разными отделами тюркской топонимии; в «Опыте словаря...», приводя топонимические эквиваленты, бытующие у разных тюркоязычных народов, практически внес первую лепту в сравнительное изучение топонимии тюркоязычного региона. Материалы В. В. Радлова, как показала Г. Ф. Благова, в ряде случаев позволяют внести коррективы в построения современных топонимистов.

Обзор первой половины сборника был бы неполным, если бы мы не упомянули о статьях М. С. Сильченко «В. В. Радлов и изучение тюркского фольклора» (стр. 16—19) и С. И. Вайнштейна и С. Г. Кляшторного «В. В. Радлов и историко-этнографическое изучение тюркских народов» (стр. 20—31).

Э. В. Севортян в статье «Морфологическое строение слова в связи с другими его характеристиками (по данным тюркских языков)» (стр. 132—144) дает свое понимание слова, освещая две его «части»: лексическую основу (=единицу определенной части речи), с одной стороны, и состав, а также взаимоотношения грамматических морфем, образующих грамматический сектор слова, с другой. Обе

эти «части» слова различны и неравноценны по своей информационной роли и своей автономности в фонетическом, лексико-семантическом и грамматическом планах, а также по признаку постоянства — непостоянства. Э. В. Севортян останавливается на вопросах иерархии морфем в тюркском слове, воздействия семантики основы на сокращение морфемного состава грамматической части слова, а также экономии речевых средств за счет подобного сужения. В качестве приложения приведены некоторые разновидности морфологического строения слова — именного (или номинализованного) и глагольного. Очень важны поправки автора к положению о моносемантичности функциональных морфем при агглютинативном строе (в тюркских языках, в частности, см. стр. 139 и сл.).

Содержание второй статьи Г. Ф. Благовой «Тюркск. *чаβатај* — русск. *чагатай-/джагатай-* (Опыт сравнительного изучения старого заимствования)» (стр. 167—205) далеко не охватывается ее заглавием. Здесь прослеживается история и семантическая эволюция слова *чаβатај-* в тюркских языках (антропоним — «эпоним» и регионально-государственное обозначение, обозначение особого историко-культурного комплекса,— отсюда последующие ответвления: топоним, микроэтноним, обозначение литературно-письменного языка), а также история этого заимствования в русском языке, причем устанавливается правильное чтение термина *чагатай-* и предлагается не отождествлять термины «староузбекский» и «чагатайский», имея в виду бо́льшую поливалентность последнего. Как и в других своих статьях по этой тематике, автор пытается упорядочить существующую в русском языке тюркскую этнонимо-лингвистическую терминологию. Этой статьей делается первое серьезное уточнение также в отношении ареала, функции и истории чагатайского языка. Фактически это введение в изучении чагатайского языка. Заслуживают внимания подстрочные примечания Г. Ф. Благовой, где она критикует тенденциозное отношение к средневековым тюркоязычным памятникам и особенно — произвольность их транслитерации и чтения с ориентацией на современные тюркские литературные языки.

В. Г. Гузев в статье «О ярлыке Мехмеда II» (стр. 227—243), описывая язык ярлыка XV в., написанный уйгурским и арабским алфавитом и изданный Р. Р. Аратом, характеризует его как среднеазиатский тюркский литературный язык, по традиции применявшийся в межгосударственной корреспонденции XIV—XV вв. Привлекая к сравнению ярлык Тимура-Кутлуга и один из двух стамбульских списков «Атебет ул-хакаик» и находя там общие с исследуемым ярлыком графические особенности, В. Г. Гузев делает важный для решения вопроса о формировании анатолийско-тюркской письменности вывод о том, что «уйгурское письмо в Малой Азии имело очень специфическое применение и находилось за пределами собственно османских литературных и письменных традиций» (стр. 242).

Продолжая традиции В. В. Радлова, Л. Ю. Тугушева во второй статье «Ярлыки уйгурских князей из рукописного собрания ЛО ИВ АН СССР» (стр. 244—260) публикует черновые записи трех посланий-ярлыков, различных по своему назначению, придерживаясь при этом единой радловской схемы, применявшейся им при издании письменных памятников: в статье дается факсимиле ярлыков, реконструкция текста и перевод, а также указатель слов и морфологический указатель вместе с историко-лингвистическим комментарием.

В статье Л. П. Потапова «Тюльберы енисейских рунических надписей» (стр. 144—166) этот этноним анализируется как компонент того комплекса терминов-этнонимов, которые зафиксированы в этих надписях и которые отражают древний этнический состав населения в пределах современной Тувы.

И. В. Стеблева выступила в рецензируемом сборнике с двумя статьями — «Синкопирование слов в поэтических текстах „Диван лугат ат-турк“ Махмуда ал-Кашгари» (стр. 206—212), в которой содержится дополнительная аргументация к ее книге «Развитие тюркских поэтических форм в XI веке» (М., 1971), где впервые было высказано мнение о наличии аруза в памятниках древнетюркской письменности, и «К реконструкции древнетюркской религиозно-мифологической системы» (стр. 213—226), в которой указанная система анализируется в плане бинарных семантических противопоставлений.

Позволим себе сделать некоторые замечания. Э. Р. Тенишев не разделяет точку зрения В. В. Радлова, считавшего невозможным соответствие *ä* ~ *i* в языке с гомогенной системой. Не правильнее ли, однако, говорить о колебании *ė/e* ~ *i*? Не относимся ли мы слишком благосклонно к *ä*? Различают *ė/e* и *ä* только азербайджанологи, М. Мансуроглу в староанатолийско-турецком языке, Я. Экманн в варненском и Ж. Какук в казанлыкском турецких говорах, а также некоторые другие. Заметим также, что *ä* предполагает колебание *ä* ~ *a* (например: турецк. *fasla/fasl'a* «фасоль»). Можно ли смотреть на колебания *ä* ~ *i* (точнее: *e* ~ *i*), *o* ~ *u*, *ö* ~ *ü* как на проявление тенденции, связанной с «общим стремлением к уменьшению подъема, ведущим к частичному совмещению признаков и, следовательно, к ослаблению прежних фонологических значимостей» (стр. 39)? Можно утверждать и обратное: что эти коле-

бания — реликты, указывающие на позднюю кристаллизацию тюркских гласных. По-видимому, подобную точку зрения разделяет и А. М. Щербак, подчеркнувший, что «В. В. Радлов, в отличие от некоторых современных исследователей, не поддался иллюзии в отношении бедности древнетюркского вокализма...» (стр. 60).

В статье Э. В. Севортяна выражение «грамматическая же часть слова всегда непостоянна...» (стр. 136) можно неверно понять в смысле непостоянства связи грамматической части с лексической (поскольку грамматическая часть является самой стабильной в языке). Спорным представляется вопрос о «грамматической редукции» в сочетании *ат* $\frac{б}{м}$*ин-* вместо *ат* $\frac{ка}{а}$ $\frac{б}{м}$*ин-* «ездить на коне» (стр. 141) — они, по нашему мнению, не идентичны: первое выражает обобщенное понятие и может в таком виде фигурировать в словарях, второе — синтаксическое сочетание. То же можно сказать и о сочетаниях *qyr čeček/šešek* ~ *qyr čečeği/šešeği* «польский цветок».

Г. Ф. Благова во второй статье допускает, что *джагатай-* в русском языке появляется позже, чем *чагатай-*, и именно книжным путем. Это может быть верно для исследуемого слова. Но следует учесть и колебания *ч-* ~ *дж-* вообще (ср. *Джучи/Чучи*, сын *Дженгизхана/Чингизхана*; ср. еще тюркизмы — графические дублеты в иранских языках, а также тюркизмы с начальным *дж-* в современном болгарском языке).

Л. Ю. Тугушева в статье о древнеуйгурских ярлыках пытается объяснить слово *jultuz* как географическое, со значением «плоскогорье (?)» (например: *basmïl-ïγ jultuz-qa önär tisär...* «...если басмылы пойдут в направлении Юлтуза...» — стр. 247, 248). В комментарии автор предполагает, что речь идет о плоскогорье Юлдуз, но допускает также, что этот топоним может обозначать водоем, сравнивая с *Julduz köl* — названием озера у Махмуда Кашгарского. Но не понимается ли под этим словом «север», как в современном турецком языке (морской термин), где имеется в виду Полярная звезда?

В целом можно с полным правом сказать, что «Тюркологический сборник. 1971» посвящен не только исследованию научного творчества В. В. Радлова — его значение гораздо шире. Прежде всего, сборник свидетельствует о стремлении советских ученых восстановить из забвения тюркологическое наследие и пересмотреть некогда нигилистическое отношение к старым работам. Можно только приветствовать удачные попытки восстановить в научном обиходе, а также привлечь внимание специалистов к мало используемым до сих пор богатейшим материалам, собранным В. В. Радловым.

М. Моллова

«Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка. Словарь-справочник». Сост.: К. С. Горбачевич, Г. А. Качевская, А. М. Невжинская, М. Г. Николаева, Ф. Д. Перевозчикова, В. Н. Сергеев, Н. В. Соловьев, Е. Н. Толикина, В. П. Фелицына, И. Н. Шмелева. Ред. К. С. Горбачевич. — Л., ЛО изд-ва «Наука», 1973. 518 стр.

Выход в свет обширного словаря трудностей, подготовленного в словарном секторе Института русского языка АН СССР, — важное событие в отечественной лексикографии. Появление подобных справочников вызвано общественной необходимостью — повышением культуры народа и все возрастающим интересом к работе языковедов в области культуры речи. Возможности для такого издания в значительной мере обеспечены достижениями русской советской лексикографии: созданием целой системы различных по объему и задачам толковых словарей, появлением в последние годы таких пособий, как словари синонимов, новых слов и значений и др. Трудности составления такого словаря во многом объясняются отсутствием систематического описания стилей современного русского языка, общей неразработанностью теоретической и практической стилистики. Известно, что в этой области нет пока даже общепринятых терминов и обозначений.

Первым опытом словаря трудностей был у нас словарь-справочник «Правильность русской речи» (сост. Л. П. Крысин и Л. И. Скворцов, под ред. С. И. Ожегова, М., 1962, 2-е изд.— 1965). Позднее вышло еще два кратких справочника [1]. Все они отмечали главным образом факты современной газетной и устной разговорной речи, ограниченно использовали материалы художественной литературы.

[1] «Краткий словарь трудностей русского языка», М., 1968; «Трудные случаи употребления однокоренных слов русского языка», М., 1969. О дореволюционных справочниках см.: «Проект словаря-справочника „Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка“», Л., 1969, стр. 3—5 (далее — Проект).

Статьи в них (кроме справочника «Трудные случаи...») носили описательный характер в соответствии со стремлениями составителей к гибким характеристикам колебаний в пределах и за пределами норм литературного языка. Многие статьи справочника «Правильность русской речи» представляли собой подлинные исследования нормативно-стилистических тенденций в современном словоупотреблении. Ограниченный состав словника (около 600 статей) позволил составителям применить такой «несловарный» метод подачи материала.

Рецензируемый справочник является первым словарем трудностей (словарем в собственном смысле этого слова), соединившим традиции академической лексикографии с теоретическими и практическими выводами современной науки о литературном языке и культуре речи. Перед его составителями стояла сложная задача сохранить гибкость нормативно-стилистических рекомендаций (характерную для всех видов современной пропаганды языковой культуры), расширить литературно-речевую перспективу этих рекомендаций, ввести их в строгие рамки словарной техники.

В Словаре около 8000 статей, посвященных вариантам акцентологическим и произносительным, формально-грамматическим и словообразовательным, семантическим ошибкам и «нарушениям норм, возникающим в пределах литературного языка на границах его функциональных стилей», «типичным (модным) для современной речи словам и выражениям» (стр. 7), нуждающимся в лингвистическом комментарии.

В основание теоретической концепции Словаря положено утвердившееся в науке определение вариантности в пределах нормы: «Эволюция языка неизбежно предполагает стадию сосуществования двух (а иногда и более) способов выражения. Таким образом, вариантность (нередко отвергаемая „блюстителями“ языковой чистоты) — закономерное следствие наличия в литературном языке одновременно старого и нового качества» (стр. 5). В целом Словарь проникнут духом эволюции языка, отражает изменение его норм.

Составители стремятся преодолеть лексикографический консерватизм, хотя и делают это осторожно. Среди орфоэпических явлений можно отметить, например, впервые вводимые в качестве «допустимых» *домово́й* (от *дом*), *древко́*, *на́век*, *на́веки*, *на́верх* (эти формы категорически отвергались в ранее выходивших словарях), *до́чиста* и *дочиста́* (с разграничением по смыслу); можно указать новые формы, признанные предпочитаемыми, например, *дру́жишь* и устаревающее *дружи́шь* (вместо обычного *дружи́шь* и иногда допустимого *дру́жишь*) и мн. др. Об осторожности составителей, порою едва ли не излишней, можно судить по рекомендациям произносить несмягченные зубные согласные в значительном числе иностранных слов, по некоторым явно половинчатым нововведениям: *геликоп*[тэ]*р* и допустимо *геликоп*[тэ]*р*, *дебарка́*[дэ]*р* и устаревающее *дебаркаде́р* (произношение последней формы не указано, но обыкновенно словари приводили [дэбаркадэ́р]), [дэтэ]ктив и допустимо [дэ]*текти́в* и др.

Из грамматических явлений в Словаре впервые широко и целенаправленно показано управление, представляющее наибольшее количество затруднений для говорящих по-русски, особенное значение имеющее для культуры письменной речи (к сожалению, это не оговорено во вступительной статье и управление вообще не включено в перечень явлений, рассматриваемых в справочнике). Показывая управление, составители иногда в сжатом виде повторяют схему статьи 17-томного «Словаря современного русского литературного языка» (далее — ССРЛЯ), ср.: *воображать* (кого, что), простореч. *воображать* (про кого, что) и устар. *воображать*(о ком, чем). Но в большинстве случаев на управление обращено особое внимание, и в статьях *ведомость*, *влияние*, *возбудить*, *воззрение*, *волноваться*, *гарантировать* и мн. др. оно показано полнее, чем в толковых словарях. В соответствии со спецификой Словаря приведен и отрицательный матери́ал. Довольно много новых рекомендаций, отражающих изменение норм, например: *жадность* (к чему), реже *жадность* (на что) и разг. *жадность* (до чего) [в ССРЛЯ — *жадность* (до чего-либо, на что-либо, к чему-либо)].

Статьи справочника иллюстрированы примерами из широкого круга источников, среди которых основное место занимают художественные произведения современных авторов. Использованы материалы периодической печати, в отдельных случаях — записи устной речи. Довольно редко в качестве иллюстраций приводятся составительские речения, обычные для кратких толковых словарей и разного рода учебных пособий. Такой метод иллюстрирования соответствует традициям академической лексикографии и отвечает задаче Словаря показать на материале наиболее актуальные процессы современного языкового развития.

В словаре отсутствуют бесплодная дидактика и пуризм — и в то же время удачно использованы примеры с языковыми оценками (ср. *кушать* с цитатами из Л. В. Щербы, В. Бианки, И. Грековой, *грамм*, *пианино* и мн. др.), примеры с составительскими комментариями: «в прямой речи», «при стилизации» и т. п. Правда, иногда составители идут на поводу у единичного примера, утверждая, например, что форма *вы́нести* «встречается в соврем. поэзии» (с цитатой из Сидоренко).

В статье *боевитость, боевитый* отрицательные оценки этих слов в цитатах из К. Федина и К. Паустовского оказались противопоставленными поданному без аргументации мнению С. И. Ожегова, в статье которого (составители, правда, дают ссылку) «использование слов *боевитость, боевитый* признается соответствующим нормам соврем. лит. языка». Однако С. И. Ожеговым были приведены примеры на употребление данных слов И. Сельвинским, М. Шолоховым, Л. Леоновым, примеры из газет, словообразовательные параллели [2], и для характеристики такого спорного явления составители могли бы отступить от правила ограничивать количество примеров. Кстати, сложным для справочников подобного типа является вопрос о том, сколько вообще цитат достаточно для подтверждения той или иной оценки языкового факта. Кажутся излишними четыре примера в статье *белёсый* и *белéсый*, четыре — в статье, содержание которой ограничивается указанием на формы род. мн. *гектаров* и разг. *гектар*. «Избирательный и целенаправленный способ характеристики слов и форм», принятый в Словаре (стр. 8), мог бы служить оправданием для индивидуального решения вопроса о количестве подтверждающих цитат.

В Словаре применена многоступенчатая и тонко разработанная система исторических, нормативно-стилистических, предостерегающих и запретительных помет, кратких оценок и более подробных, хотя и немногословных комментариев.

Многие статьи справочника снабжены специальными историческими справками с цитатами из классической литературы и составительскими пояснениями. Эти пояснения формулируются по-разному: «В лит. языке XIX в. встречалось ударение...», «В лит. языке XIX в. ударение ... было нормативным», «В лит. языке XIX в. ударения... не были ограничены профессиональной речью», «В лит. языке первой половины XIX в. ударение... было широко распространено» и т. п. Это разнообразие вполне оправданно, как и замена обычной для толковых словарей пометы «устарелое» двумя—«устарелое» и «устаревающее» или более; вместо краткой пометы к вариантам, встречающимся в современной речи, составители часто дают комментарий: «устаревает...», «выходит из употребления...». Встречаются исторические справки типа: «В дореволюционном быту: *служить* дворником, нянькой и т. п. и *служить* в дворниках, в няньках» (с примером из Серафимовича).

Широкое понимание культуры речи, утвердившееся в современном языкознании, немыслимо без исторического подхода к литературному языку и его нормам. И составители успешно решают важнейшую свою задачу — поддержание культурной языковой традиции и способствование здоровым тенденциям языкового развития.

В рецензируемом справочнике применены новые способы оценки явлений, свойственных нелитературным разновидностям современного русского языка. Впервые введено в словарную практику разграничение «литературного просторечия» и просторечия «как общего обозначения „низкого" речевого стиля, находящегося за пределами литературного языка» (стр. 9) [3]. Пометой «просторечное» снабжены факты литературного просторечия, «для просторечия как речевого стиля в Словаре принят термин „ненормированная речь"» (там же). Теоретически это разграничение достаточно обосновано, хотя последний термин, может быть, и не совсем удобен, так как факты «литературного просторечия» нельзя, оказывается, безоговорочно относить к «нормированной речи». Практически составителям приходится прибегать к уточнениям границ нормированного литературного языка: «*Их* и простореч. *йхний*. В строго нормированном лит. языке местоим. *ихний* употр. не следует»; «В соврем. лит. языке формы *кóфей*... и *кóфий*... употр. в просторечии» и т. п. Достаточно ли точно помета «просторечное» (если учитывать ее определение) характеризует такие факты, как форму мн. числа *мирá*, подтвержденную лишь цитатой из Вознесенского?

Форма *воротá* снабжена только пометой «просторечное», хотя можно было бы к ней привести еще «устарелое» (учитывая данные словарей XVIII—XIX вв., см. ССРЛЯ; эта форма есть у Крылова и Пушкина) и «областное» (в ССРЛЯ — «обл.», «южн.»), от которой составители отказались совсем. Между тем, с пометой «областное» более точную характеристику получили бы примеры из Твардовского и Исаковского, помещенные в статье. Можно указать еще известную и применяемую в литературной речи поговорку *пришла беда, отворяй воротá* с единственной возможной (просторечной?!) формой *воротá*.

Составители вообще избегают разноплановых оценок языкового факта (в толковых словарях довольно часто находим две-три пометы при одном слове, значении, и не всегда это недостаток). В Словаре принято довольно прямолинейное «противопоставление: система литературного языка — ненормированная речь», причем к последней отнесены «территориальные диалекты, жаргоны и т. д.»

[2] С. О[жегов], Слово, которому не повезло в славарях, «Вопросы культуры речи», 2, М., 1959.

[3] См. также: Ф. П. Филин, О структуре современного русского литературного языка, ВЯ, 1973, 2, стр. 8—9.

без дальнейшего разграничения (Проект, стр. 13—14). Думается, что для некоторых фактов «литературного просторечия» и «ненормированной речи» (допущенных в Словарь, несмотря на ограничения, см. стр. 6—7) недостаточно одноплановой характеристики в рамках слишком жесткого для примеров из художественной литературы бинарного противопоставления.

В Словаре применяется термин «профессиональное просторечие» (*атмо́сфера*, *кре́мень*, *приска́*, *профиля́*) наряду с термином «профессиональная речь» (*клапана́*, *купе́йный* и др.), причем только последний оговорен во вступительной статье. Такое разграничение нейтральной профессиональной речи и сниженной (профессионального жаргона) необходимо, оно только должно быть последовательно проведено в материале и соотнесено в терминологическом отношении с другими обозначениями.

Вариантность в пределах нормы допускает полное равноправие способов выражения (и) и не совсем полное (и допустимо). Дальнейшая градация вариантов, колебаний, встречающихся в литературном языке, относится к области нормативно-стилистических или собственно стилистических оценок. Более всего это касается словоупотребления, для которого составители ищут и чаще всего находят форму краткого «словарного» (!) комментария. Эти поиски можно увидеть, читая статьи: «*Волни́тельный*, *волни́тельно*. Несмотря на широкое распространение в разговорной речи слов *волнительный*, *волнительно* (из актерского жаргона), употребление их в литературной нормированной речи нежелательно. Предпочтительнее говорить: *волну́ющий*, *волну́юще*» (далее пример с оценкой из Федина); «*Впечатля́ть*. Производить впечатление, оставлять глубокий след. В соврем. языке употр. преимущественно в среде работников искусства и в статьях, посвященных литературе и искусству, с оттенком торжественности. [далее примеры] □ Не рекомендуется употр. глаг. *впечатля́ть*, когда речь идет не о воздействии произведений искусства на человека [примеры]».

Встречаются в Словаре и случаи неоправданного разнообразия в комментариях, например: «*Абонеме́нт — абоне́нт*. Недопустимо употр. *абонемент*... вм. *абонент*»; «*Адреса́т — адреса́нт*. Не следует употр. *адреса́т*... вм. *адреса́нт*»; «*Бережли́вый — бе́режный*. Не рекомендуется смешивать...»; есть комментарии слишком краткие, например, в статье *блеск*, если ее сравнить со статьей *желе́зный*, хотя эти слова нуждаются в одинаковой оценке.

Более всего пропусков наблюдается именно среди фактов словоупотребления, стилистических ошибок и т. п. Отсутствуют *вали*, *валите*, *вались* в значении «отправляйся, уходи; пойдем!» (в ССРЛЯ — «в просторечии» и «обл.»), хотя есть обширная статья на слово *валить* и близкие по стилистической окраске, употреблению и семантике формы *давай*, *давайте*; отсутствует оценочное *фонтан*, хотя оно есть в примере к слову *блеск*.

В статье *вложить* характеризуются формы «прош. *вложи́л*, *вложи́ла* [не *вло́жил*, *вло́жила*]; повел. *вложи́* и простореч. *вложь*». Примеры из Сикорского и Суркова даны как подтверждающие нормативные формы *вложи́л*, *вложи́* в значениях, известных литературному языку («поместить внутрь» и то же — в переносном употреблении), а «пример просторечного употребления» из Шукшина иллюстрирует встречающееся в ненормированной речи значение «ударить, избить»: «— Вася, ну-ка вложь ему...».

Форма «Приложения» к Словарю с развернутым описанием трудностей, распространяющихся на целые разряды слов, найдена удачно.

Выход Словаря важен в двух отношениях. Во-первых, в этом издании определился тип словаря трудностей. Необходимо постоянно его переиздавать и с целью дальнейшего улучшения, и в связи с изменениями в нормах литературного языка. Во-вторых, этим изданием сделан большой шаг в направлении к созданию нормативно-стилистического словаря современного русского литературного языка[4]. Дальнейшее усовершенствование словаря трудностей во многом будет зависеть от разработки принципов стилистической оценки фактов словарного состава современного русского языка.

В. Я. Дерягин

[4] См.: Ф. П. Филин, О новом толковом словаре русского языка, ИАН ОЛЯ, 1963, 3; Ю. С. Сорокин, О нормативно-стилистическом словаре современного русского языка, ВЯ, 1967, 5.

НОВЫЕ ТРУДЫ О ПЕРЕВОДАХ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ[1]

Рецензируемые книги — заметное явление в современном славянском языкознании. Они продолжают давно сложившуюся в отечественном и зарубежном славяноведении традицию изучения переводов, осуществленных великими солунскими братьями, и в то же время отличаются от предшествующих трудов новизной теоретических предпосылок, методов исследования и выводов.

В «Предисловии» к первой книге отмечается, что имеющиеся труды, в которых сопоставляются выполненные Кириллом и Мефодием переводы с греческими источниками, обычно лишь устанавливают факт соответствия или, напротив, расхождения. Причины возникновения соответствий и расхождений не рассматриваются. Поставив перед собой задачу выяснения механизма переводческой деятельности славянских первоучителей, Е. М. Верещагин привлекает для исследования только евангельские тексты: «... в зависимости от характера переводимого текста меняется переводческая техника, поэтому нерасчлененное изучение текстов разных жанров не способно привести к непротиворечивым выводам» (стр. 13). При этом принимается схема К. Горалка, дополненная Л. П. Жуковской. Согласно этой схеме, Кирилл и Мефодий сначала перевели краткий апракос, затем краткий апракос был дополнен до четвероевангелия и, наконец, краткий апракос был доведен до полного. Тот факт, что славянские первоучители перевели Евангелие с греческого языка на древнеславянский полностью, дает автору основание рассматривать без различия как апракосы — Саввину книгу (Сав) и Ассеманиево евангелие (Асс),— так и тетры — Зографское евангелие (Зогр) и Мариинское евангелие (Мар). Автор по практическим соображениям ограничивается упомянутыми четырьмя каноническими древнеславянскими текстами, но при этом не отрицает принципиальной важности в текстологическом отношении славянских евангелий региональных изводов и не проводит резкой грани между каноническими и региональными памятниками. Используются приемы компонентного анализа значений, грамматической теории моделей, теории лексической сочетаемости, теории перевода, теории двуязычия и теории языковых контактов. Привлечение современных инструментов анализа помогло автору получить значительные результаты.

В первой главе первой книги подвергается анализу осуществленный Кириллом и Мефодием принцип пословного перевода и выявляются отступления от этого принципа. В связи с этим автору пришлось затронуть проблему слова и рассмотреть вопрос о «словности» предлогов, связок, артиклей и других служебных компонентов текста. Это позволило объяснить кажущиеся нарушения принципа пословного перевода типа ἕως ἄν доньдеже и γυναῖκα — на женѫ. Другие случаи разъясняются при помощи текстологических аргументов. Например, в Ио 6, 58 в Мар, Зогр, Асс греческому ἔφαγον... τὸ μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ соответствует кша ... манна с отсутствующим обстоятельственным словом. Однако оно приведено в Мирославовом евангелии — памятнике сербской редакции — въ пустыни; следовательно, в первоначальном кратком апракосе — прототипе Мар, Зогр и Асс — налицо пропуск, который был восполнен позднейшей правкой. Имеются и действительные нарушения принципа пословного перевода, которые рассматриваются во второй, третьей и четвертой главах.

В этих главах рассматриваются варианты — переводы разных греческих слов одним и тем же славянским словом и явление обратного порядка — переводы одних и тех же греческих слов разными славянскими словами. В предшествующей традиции (И. В. Ягич, В. А. Погорелов и мн. др.) почти все варианты такого рода объяснялись расхождениями во времени (старший и младший переводы) или причинами территориального характера (переводы произведены в разных областях древней славянской ойкумены). Е. М. Верещагин предлагает объяснения собственно лингвистического характера, основанные на специфике древнеславянского языка сравнительно с греческим. Роль хронологического и территориального факторов при этом не отрицается.

Существенной особенностью метода автора является рассмотрение переводимых слов в контексте словосочетаний. Различаются слова ключевые и зависимые. Переводу в собственном смысле этого термина подвергаются только ключевые слова, зависимые же определяются (пред-

---

[1] Е. М. Верещагин, Из истории возникновения первого литературного языка славян. Переводческая техника Кирилла и Мефодия, М., изд-во МГУ, 1971, 255 стр. (ротапринт); Е. М. Верещагин, Из истории возникновения первого литературного языка славян. Варьирование средств выражения в переводческой технике Кирилла и Мефодия, М., изд-во МГУ, 1972, 198 стр. (ротапринт); Е. М. Верещагин, Из истории возникновения первого литературного языка славян. К проблеме греческо-славянских лексических и грамматических вариантов в древнейших славянских переводах. Доклад на VII Международном съезде славистов, М., изд-во МГУ, 1972, 50 стр. (ротапринт).

сказываются) ключевыми словами перевода, а не оригинала. Так, греческому сочетанию βάλλω οἶνον соответствует **въливати вино**. При этом **вино** (ключевое слово) соответствует οἶνον по смыслу, а **въливати** вместо **въметати** (как можно было ожидать)появляется в связи с возможностью сочетаемости славянского слова **вино**.

Во второй главе первой книги рассматриваются варианты перевода ключевых слов типа λίθος — **камы**, πέτρα — **камы**, с одной стороны, и τρέφω — **натрогути** и **напитѣти**, с другой стороны. Варианты первого рода квалифицируются как случаи «недодифференциации» в славянском по сравнению с греческим: греч. λίθος имет семы «камень» + «небольшой размер», πέτρα имеет семы «камень» + + «большой размер», в славянском же эти различия объективно (а не ввиду недосмотра переводчиков) не выражаются. То же и в случае ἄκρον «конец» + «отнесение к материальным объектам», τέλος «конец» + «отнесение к нематериальным объектам»; в славянском — недодифференциация и одинаковый перевод **конець**. Если же одно греческое слово переводится разными славянскими словами, то имеет место обратное явление — «сверхдифференциация» в славянском языке по сравнению с греческим. Так, вместо греческого τρέφω переводчики употребляют в зависимости от ситуации либо **натрогути** «накормить» + «объект-человек», либо **напитѣти** «накормить» + «объект-животное» (в славянском — различие в составе сем, отсутствующее в греческом). Автор приводит много убедительных примеров сверхдифференциации в славянском. При этом он опирается на труды своих предшественников (главным образом, Э. Бернекера и А. С. Львова). Однако Е. М. Верещагин зачастую не отличает компоненты значений (семы) от самих значений (семем) и называет сверхдифференциацией обычную многозначность, основанную на метонимическом или метафорическом переносе. Так, многозначностью греческих слов (а не сверхдифференциацией) следует объяснить соответствия πνεῦμα — **дѹша** и **дѹхъ**, ἐρωτάω — **въпрошати** и **молити** и др. Многозначность, как и сверхдифференциация, объясняет нарушения принципа пословного перевода и опровергает попытки истолковать вариативность посредством аргументов лишь хронологического и территориального характера.

Другую группу расхождений автор квалифицирует как вариативность контекстуальных синонимов. Это случаи типа πλησίον — **ближьнии** и **искрьнии**, οἶκος — **храмъ** и **домъ**, которые предшествующая традиция трактовала также посредством хронологических или территориальных аргументов.

Помимо случаев недодифференциации, сверхдифференциации и контекстуальной синонимии, имеются, разумеется, случаи одно-однозначных соответствий (например, σταυός — **кръстъ**). В совокупности все конкретные проявления принципа перевода ключевых слов дают автору основание утверждать, что он основывается на общности сем (стр. 107). Раскрытие внутреннего механизма перевода успешно противопоставляется поискам причин вариативности слов во внешних по отношению к переводческой деятельности условиях.

В третьей главе исследуется механизм выбора зависимых слов. Здесь автор истолковывает явления, которые казались необъяснимыми И. В. Ягичу: почему, например, ἵνα καρπὸν πολὺν φέρητε переводится **да плодъ многъ створите** (Ио 15, 8; Сав 103а), а не ... **принесете** (как следовало ожидать в соответствии с греч. φέρητε)? В. А. Погорелов и А. В. Исаченко выдвигали для объяснений подобных случаев лишенную реальных оснований гипотезу латинского влияния. По Е. М. Верещагину, подобные случаи являются вполне нормативными переводами с греческого, осуществляемыми, однако, не по смыслу (как переводы ключевых слов), а по принципу дополнительности словосочетания (что обычно и для современных переводов с различных языков, ср. задать вопрос — *to ask a question*, *eine Frage stellen*). Нормы древнеславянского языка приводят к тому, что «ἄγω обычно переводится как **вести** или **привести**, но в непереходном употреблении ἄγωμεν имеем **идѣмъ** (ср. также: τρίτην ἡμέραν ἄγει — **третии день иматъ**, Лк, 24, 21)» (стр. 121) и т. п. В упомянутых случаях между переводимым словом и его эквивалентом нет общности сем, но она может образоваться тогда, когда требуется приблизить славянскую культуру к греческой. Так, например, глаголы **исплънити**, **навести**,, **нанести**, **оставити** и мн. др. не сочетались в древнеславянском с абстрактными существительными, такая сочетаемость была заимствована из греческого, в связи с чем образовались фразеологические кальки. Вывод автора и здесь вполне обоснован: в сфере перевода зависимых слов высокое мастерство славянских первоучителей проявилось не менее ярко, чем в сфере перевода ключевых слов.

В четвертой главе обосновывается мысль о том, что формальные элементы (в том числе и так называемые служебные слова), точно так же, как и рассмотренные выше зависимые компоненты словосочетаний, не испытывают воздействия исходного греческого текста. Этим объясняется расхождение предложных и беспредложных форм в исходном и переведенном текстах, проявляющееся в сфере управления. Расхождения свидетельствуют о сохранности славянского управления. Что же касается совпадения управлений, то Е. М. Верещагин вслед за А. Сьё-

бергом принципиально возражает против того, чтобы считать его во всех случаях результатом воздействия греческого на славянский. Все же автор признает такое влияние «в переводах, относящихся к специфически греческой (христианской) культуре» (стр. 136). Этот тезис не подкреплен фактическим материалом и звучит неубедительно; то, что представляется очевидным в сфере лексической сочетаемости, не может быть механически перенесено в сферу формальную, синтаксическую.

В этой же главе рассматривается соотношение греческих исходных и славянских переводящих фраз в аспекте их структур. Структуры фраз изучаются в терминах анализа по непосредственно составляющим. Этот анализ демонстрирует последовательное совпадение структур греческих и славянских фраз. При объяснении данного факта в литературе вопроса говорят обычно о широком влиянии греческого на славянский. Точка зрения Е. М. Верещагина сводится к тому, что «производство речи на разных языках обеспечивается некоторым числом общих для этих языков синтаксических моделей» (стр. 170). В целом это утверждение справедливо: общность синтаксических конструкций греческого и славянского может быть объяснена типологически (наличием синтаксических универсалий) и генетически (принадлежностью к одной семье языков). Трудность, однако, заключается в том, что греческо-славянским схождениям кирилло-мефодиевской поры нередко соответствуют расхождения в переводах, выполненных в Болгарии в X в. Так, если Е. М. Верещагину в Евангелии не встретилось замены субъектной ветви на предикатную (стр. 145), то в Сборнике Клоца мы такую замену находим: Κἂν γὰρ μυρία ἔχωμεν δικαιώματα, μνησίκακοι δὴ ὦμεν — аште бо і тъмѫ імамъ добрыхъ дѣлъ, гнѣвъ же дръжімъ (Кл, 9б, 15—16). См. в том же памятнике замену атрибутивной ветви на предикатную: τῶν ἁγίων φιλημάτων καὶ τοῦ φρικωδεστάτου ἀσπασμοῦ τοῦ πρὸς ἀλλήλους—ст҃аѣ лобъзаньѣ · страшънаѣ цѣлованьѣ · ѣже междю собоѭ імамъ (Кл, 9б, 4—6). Позднейшие расхождения можно с большой долей вероятности трактовать как проявление славянской синтаксической стихии, а первичные схождения — как влияние греческого синтаксиса на славянский. Таким образом, выводу Е. М. Верещагина не хватает необходимой в данном случае диахронической перспективы.

Автор допускает греческое влияние на славянский синтаксис в области частных языковых моделей (принадлежащих только одному языку из двух). Но при этом проявляется излишний скепсис: «... по отношению к славянским евангельским текстам выявление калек невозможно», ибо «язык евангельских текстов нельзя сравнить с древнеславянским языком до-кирилло-мефодиевской эпохи» (стр. 171). Однако хорошо известно, что этот недостаток могут восполнить данные живых славянских говоров, а также литературных языков (чешского, польского), испытавших влияние древнеславянского и греческого в минимальной степени. Автор проявляет неоправданную осторожность и в противоположных случаях,— когда он вопреки ряду данных не решается признать исконность славянских конструкций. См., например, μοιχάω — прѣлюбы творити или πιστεύω — ѩти вѣрѫ — соответствия, которые прочно удерживаются во всех без исключения переводах не только кирилло-мефодиевской поры, но и X—XII вв. Нет нужды для объяснения упомянутых соответствий прибегать к неправдоподобной аналогии с сослагательным наклонением (которое в славянском аналитично, а в греческом синтетично) (стр. 142—143). Возникшие в XIV в. под пером митрополита Алексия мирствовати вместо εἰρηνέω, любодѣиствовати вместо μοιχάω, лоуньствовати, вместо σεληνιάζω — это не «преодоление затруднений» (стр. 143), а всего лишь нарочитая грецизация евангельского текста.

В заключение первой книги автор рассматривает вопрос о билингвизме Кирилла и Мефодия. Рядом безупречных аргументов он доказывает, что билингвизм славянских первоучителей (независимо от их национальной принадлежности) был координативным, т. е. они в одинаковой степени и на очень высоком уровне владели как славянским, так и греческим языком.

Теоретическому аспекту греческо-славянской вариативности в переводах Кирилла и Мефодия посвящена вторая книга. К четырем евнгельским текстам присоединяется Остромирово евангелие (Остр).

В первой главе высказывается общий взгляд на варьировние средств выражения в древнейших славянских памятниках. Е. М. Верещагин анализирует обильный и (что очень важно) разнородный материал из евангельских текстов. Автор приводит ряд обычно рассматриваемых в литературе вариантов, которыми памятники противопоставляют себя друг другу (например: θάρσει — дрьзаи. Зогр, Мар, Асс, Остр — надеи сѧ. Сав). Кроме них, к исследованию привлекается и иное варьирование, которое противопоставляет друг другу только слова, восходящие в определенном месте к одному греческому прототипу, но не памятники в целом (например: Мф 2,6: ἐξελεύσεται ἡγούμενος — ис тебе бо изидеть вл҃дка. Остр, Сав — вождь. Асс. Слово владыка, однако, известно Асс: оно содержится здесь наряду с Зогр, Мар, Сав, Остр — в чтении Лк 21, 22). Наконец, приводятся варианты в границах одного памятника. Они возникли, по мнению автора, потому,

что повторяющиеся чтения греческого апракоса переводились дважды (а не просто копировались). Такого же происхождения варианты в параллельных повествованиях тетр. Автор применяет сложную систему доказательств, с помощью которых выдвигаемым обычно внешним причинам варьирования противопоставляется объяснение, базирующееся на внутренней характеристике текста: «... лексическое варьирование — это свойство переводческой техники первоучителей славян» (стр. 61). Таким образом, большая часть вариантов возникла не в результате позднейшего редактирования и переписок, но принадлежит самому протографу.

Во второй главе рассматриваются явления, связанные с творческой индивидуальностью переводчиков, на что прежде почти не обращалось внимания. Е. М. Верещагин различает в древнеславянском евангелии три составляющих: 1) идентичное греческому прототипу. Сюда относятся как тождества генетико-типологического характера, так и нарушающие систему и норму древнеславянского языка кальки. Поскольку кальки имеются, не следовало бы, как это делает автор, называть идентичные места инвариантами. Не лучше ли принять термин «совпадения»? 2) обусловленное системой и нормой древнеславянского литературного языка. Термин «рецептивные» для обозначения элементов этого рода представляется удачным: они возникают независимо от воли переводчиков вследствие своеобразного восприятия (рецепции) смысла; в этом случае язык перевода оказывает сопротивление формальной и семантической структуре оригинала; 3) принадлежащее исключительно идиолектам переводчиков. Это — «информация, которая ни к оригиналу не восходит, ни воздействием переводящего языка не объясняется» (стр. 86). Элементы такого рода автор снабжает не вполне удачным определением «персональные». Среди персональных элементов различаются: 1) разъясняющее добавление слов (Мф 9,2: παραλυτικός — ослабленъ жилами); 2) немотивированные рецептивно перемены информации (Мф 8,8: ὑπό τὴν στέγην εἰσελθῇς — да въ домъ мои вьнидеши, хотя греч. слово στέγη обозначает крышу дома, а не весь дом); 3) относительно произвольные перестройки структуры фраз (Мф 26, 73: μετὰ μικρόν — не по мъногоу); 4) «исправления» греческого источника (Мф 24,31: μετὰ σάλπιγγος φωνῆς μεγάλης — съ гласомъ велиемь тржбънымь); 5) перифразы (Мф 5,44: ὑπὲρ τῶν ἐπρεαζόντων ὑμᾶς — за творѧшѧѩ вамъ напасти); 6) учет широкого контекста (Мр 5,41: κρατήσας τῆς χειρὸς τοῦ παιδίον — емъ за ржкѫ отроковицѫ); 7) случаи неадекватных решений переводчиков (ошибочного восприятия греческого текста) (Мф 27,33: Γολγοθᾶ, ὅἐστίν τοῦ Κρανίου Τόπος — голъгота еже есть нарицаемое краниево мѣсто, в то время как Синайский евхологий дает адекватный перевод греч. Κρανίου — лобъное). Автор приводит ценные сведения об индивидуальном стиле выдающихся мастеров слова. Это уже не техника, а высокое искусство перевода.

Из приведенных семи разновидностей персональных переводов мы решительно не можем принять четвертую, так как ни в одном из пяти наличных во второй книге примеров не усмотрели «исправления» греческого текста; например, в приведенном случае греческий текст не исправляется, порядок слов в нем соответствует нормам греческого языка, славянский перевод является рецептивным (а не персональным). Трудно считать персональными переводами большую часть образцов пятой разновидности (перифраз). См., например, ποτήριον φυχροῦ — чашѫ стоудены воды. Это рецептивный перевод, потому что прилагательное стоуденъ не подвергалось по нормам древнеславянского языка субстантивации. Перевод стоудены (без воды) был бы ненормативной калькой (инвариантным переводом, по терминологии автора). Рецептивными, по нашему мнению, являются также замены глаголов-универбов перифразами, например, κολαφίζω — дѣꙗти пакости. Такое соответствие встречается не только в Евангелии, но и в другом переводе кирилло-мефодиевской поры — в Апостоле (Кор II, XII, 7 — по текстам XII в.— Христинопольскому и Слепченскому), и в переводе X в. Супр (73,1—2), и русском переводе XII в. «Истории иудейской войны» (II, 14,4). Кроме того, сочетание дѣꙗти пакости встречается в произведениях начала X в., характер которых (переводные или оригинальные?) еще не выяснен — в «Житии Мефодия» (107в, 3—4) и в «Книге тайн Еноха» (XV, 58, 14). Если то или иное греческо-славянское соответствие наблюдается не только в Евангелии, а и в других переводах IX—XII вв., то это важный аргумент в пользу рецептивного характера славянского эквивалента. А тот факт, что данный славянский эквивалент обнаруживается и в древних памятниках, которые есть основания считать оригинальными,— дополнительный и не менее важный аргумент. Здесь приходится опять упрекнуть автора в отсутствии диахронической перспективы и, кроме того, в невнимании к другим переводам солуньских братьев.

Третья глава посвящена орфографическому варьированию грецизмов в древнейших славянских текстах. Речь идет, собственно, о произношении литер ѳ и ѵ. Основываясь на статистике варьирования ѳ с т, а ѵ — с и и оу и сличая эти данные с результатами специально поставленного эксперимента (по чтению немцами рус-

ских и русскими немецких текстов), автор приходит к выводу, что упомянутые литеры обозначают не славянские, а греческие звукотипы и что «греческая лексика, вводимая в славянскую речь, в реальном произношении Кирилла и Мефодия была не заимствованной, т. е. адаптированной полностью, а используемой, т. е. сохраняющей формальные признаки греческого языка» (стр. 154). Е. М. Верещагин не довольствуется этими выводами. Привлекая дополнительные данные, извлеченные из готского текста Евангелия, он пытается решить вопрос о реальном произношении ѳ и γ.

Углубленный анализ «дублетов»— повторяющихся чтений в апракосах и «корреспондентов»— сходных по языку и содержанию мест тетр является предметом третьей книги. Автор выявляет все без исключения дублетные места в апракосах и указанием на обилие вариантов, соответствующих в каждом случае одному греческому слову, глубоко обосновывает идею изначальности лексического варьирования. Е. М. Верещагину удалось основательнее, чем его предшественникам, выявить обстоятельства варьирования слов и конструкций в «дублетах» и «корреспондентах». Однако это еще далеко не окончательное решение вопроса о причинах варьирования. Если при неоднократном переводе варьируются совершенно тождественные места греческих оригиналов, то это, видимо, следствие правки, производившейся Кириллом и Мефодием. Естественно предположить, что первоучители славян, исполненные необычайной важности принятой ими на себя миссии, сличали новые переводы со старыми и сознательно, целенаправленно решали вопросы, связанные с введением или устранением тех или иных вариантов. Но какие цели преследовались варьированием в каждом отдельном случае? Автор упоминает о том, что варьирование можно объяснить воздействием греческого источника или рецептивным влиянием славянского языка (стр. 17). Следует ли это понимать так, что допущенное вначале греческое воздействие (параскевьгнѣ) потом устранялось (платокъ)? Ответить на этот вопрос предоставляется читателю. Семантическое различие вариантов в «дублетах» и «корреспондентах» исключается. Но как же тогда объяснить варианты типа ити — грѣсти (Мф 26, 64), варити на ономь полоу — варити его на онъ полъ (Мф 14,22) и мн. др.? Фактически только «персональные» варианты могут интерпретироваться определенно — как сознательное редактирование текста. Но таких вариантов в представленном материале немного. Вряд ли можно решиться большую часть вариантов в тождественных местах апракосов и тетр отнести за счет бессознательной склонности к разнообразию средств выражения. Присущая древнейшим славянским переводам вариативность нуждается в дальнейшем углубленном исследовании.

Все три рассмотренные нами книги подчинены единой цели и по праву носят одно заглавие. Эти три отпечатанные небольшим тиражом на ротапринте книги следует объединить в монографию, которая послужит развитию отечественной Cyrillo-Methodian'ы, которая в последние годы редко обогащалась столь значительным вкладом.

М. М. Копыленко

«Большой англо-русский словарь». Под общим руководством проф. И. Р. Гальперина, I — A — L., 822 стр., II — M — Z, 863 стр. — М., «Советская энциклопедия», 1972.

Рецензируемый словарь, содержащий около 150 000 слов, является наиболее полным из всех англо-русских словарей, которые когда-либо издавались в нашей стране. Достаточно напомнить, что считавшийся до сих пор наиболее полным «Англо-русский словарь» В. К. Мюллера [1] содержит около 70 000 слов. «Большой англо-русский словарь» превосходит все остальные англо-русские словари не только по количеству слов, но и по тщательности разработки системы их значений. Значительно шире, чем в других лексикографических пособиях, в нем представлена фразеология современного английского языка, а также специальная терминология различных отраслей знания.

Словарю предпослано обстоятельное «Введение», написанное И. Р. Гальпериным. В нем рассматриваются некоторые общие проблемы лексикографии, принципы выделения словника, отражения в словаре словообразовательной системы английского языка, словосочетаний и фразеологических единиц, сокращений, имен собственных и географических названий. Кроме того, здесь обосновываются принятые в словаре системы грамматических и стилистических помет, указываются принципы, которыми руководствовались составители, давая фонетическую характеристику включенных в словарь слов, группируя в словарных статьях значения многозначных слов,

[1] «Англо-русский словарь», сост. В. И. Мюллер, 14-е изд., М, 1969.

дифференцируя явления многозначности и омонимии, а также раскрывая смысловую структуру английских слов в переводах.

К словарю приложены списки личных имен, географических названий, наиболее употребительных сокращений, денежных единиц, таблицы мер и весов.

«Большой англо-русский словарь» — коллективный труд, в составлении которого принимали участие известные англисты — преподаватели высших учебных заведений и сотрудники научно-исследовательских учреждений Москвы и Ленинграда: И. Р. Гальперин (руководитель), Н. Н. Амосова, Ю. Д. Апресян, Р. С. Гинзбург, И. А. Ершова, Л. И. Калантарова, Э. М. Медникова, А. В. Петрова, М. Э. Фельдман, А. М. Фитерман. Кроме того, к составлению терминологической части словаря были привлечены специалисты по различным отраслям знания.

Несомненным достоинством словаря следует считать то, что он построен на прочной научной основе. Стремясь придать словарю нормативный характер, составители предложили развернутую и продуманную систему стилистических помет. Теоретическая разработка системы помет повлекла за собой критический пересмотр помет, обычно используемых в английской лексикографии, и в частности отказ от пометы «sl.» (slang). Такое решение следует признать вполне обоснованным. Как указывается во «Введении» (стр. 15), под термином «slang» недифференцированно объединяются совершенно разнородные явления — просторечные слова, диалектизмы, неологизмы, жаргонизмы, шутливые словообразования и др. Кроме того, нельзя не считаться и с тем немаловажным обстоятельством, что эта омета используется лишь в английской лексикографии и отсутствует в других словарях — в частности, в словарях русского языка. Такое положение можно было бы оправдать лишь в том случае, если бы обозначаемые этим термином явления были специфической чертой английского языка и отсутствовали в других языках. Однако на самом деле охватываемые термином «slang» явления присущи в равной мере как английскому, так и другим языкам. Используемые вместо пометы «sl.» (slang) пометы «прост.» (просторечие), «жарг.» (жаргонизм) и др. дают возможность более дифференцированно и точно охарактеризовать стилистическую окраску слова и в то же время в большей мере соответствуют системе терминов, применяемых в русской лексикографической традиции. В целом, разработанный составителями терминологический аппарат приближает нас к осуществлению важной задачи, стоящей перед лексикографами — выработке единого метаязыка лексикографического описания.

Предлагаемая составителями система помет исходит из тщательно продуманной концепции, лежащей в основе излагаемой на стр. 14—17 классификации стилистических пластов современного английского языка. В приводимой во «Введении» классификационной схеме нашла, в частности, свое воплощение весьма плодотворная и разделяемая в настоящее время многими лингвистами мысль о несостоятельности традиционного противопоставления «литературный язык — разговорный язык». Такого рода противопоставление было основано на ошибочном отождествлении литературной речи с речью книжно-письменной. В то же время, если исходить из того, что основным различительным признаком литературного языка является ориентация на кодифицированную норму, то нельзя не сделать вывода о том, что «разговорная лексика... может быть разделена на два слоя: общая разговорная лексика, которая входит как составная часть в общепризнанный литературный пласт слов (Standard English) и специальная литературно-книжная лексика» (стр. 15).

Выделяемые авторами пласты, слои и группы лексических единиц представлены в виде диаграммы (стр. 16), из которой следует, что предлагаемая система строится на основе различных, пересекающихся признаков. Здесь необходимо сделать лишь одно уточнение: некоторые группы лексических единиц, относимые, согласно этой схеме, к специальной литературно-книжной лексике, могут быть принадлежностью и лексики нелитературной. Так, например, в этой схеме архаизмы включены в разряд специальной литературно-книжной лексики, а диалектизмы — в разряд нелитературной лексики. Однако известно, что архаизмы бытуют не только в поэзии, но и в диалектной речи. См., например, местоимение *yon* «там, туда», которое сопровождается в словаре двумя пометами — «уст.» (устаревшее слово) и «диал.» (диалектизм).

К сожалению, в рецензируемом словаре, точно так же, как и в других англо-русских словарях, не проводится достаточно последовательное разграничение лексики американского и британского вариантов английского языка. Так же, как и в словаре В. К. Мюллера, здесь используется лишь омета «амер.» (американизм), но нет пометы «брит.» (британизм). В результате читатель не получает четкой ориентации относительно различий между общеанглийской лексикой и специфической лексикой британского варианта, поскольку и та, и другая фигурируют в словаре без специальных помет.

Отсутствие в англо-русских словарях специальной пометы для британизмов объясняется, по-видимому, их ориентацией преимущественно на словари, издаваемые в Англии, в которых такая омета

отсутствует, так как для читателя-англичанина дифференциация британской и общеанглийской лексики несущественна. Вместе с тем для русского читателя такое разграничение чрезвычайно важно, поскольку оно в значительной мере определяет правила совместной встречаемости лексических единиц в тексте (американизмы могут сочетаться в одном и том же тексте с общеанглийской лексикой, но не с британизмами).

Односторонняя ориентация на британский вариант сказывается и в фонетической характеристике слов: в словаре дается лишь британское произношение и не указываются те случаи, когда литературные нормы британского и американского вариантов предусматривают различные произносительные варианты одних и тех же слов (типа *either*, *tomato*, *clerk*).

Значительное внимание уделено в словаре словообразовательным средствам английского языка. Составители исходят при этом из того, что включение в корпус словаря словообразовательных аффиксов в виде самостоятельных вокабул в значительной мере поможет читателю «расшифровать» значение производных слов, по той или иной причине не попавших в словарь. Сообщая читателю необходимые сведения о значениях и функциях продуктивных аффиксов современного английского языка, составители указывают при этом степень словообразовательной активности того или иного аффикса, а также его эмоционально-стилистические особенности.

Вполне обоснованно и удачно решаются составителями словаря задачи, связанные с разработкой и использованием грамматических помет. В этой связи особый интерес представляет строго аргументированный и дифференцированный подход к такому сложному и противоречивому явлению, как конверсия. Как известно, это явление столь широко распространено в современном английском языке, что порой создается впечатление, что от любой лексической единицы может быть по конверсии образована другая, относящаяся к иному лексико-грамматическому разряду слов. Вместе с тем, это далеко не так. Здесь существуют определенные ограничения, которые удачно отражены в словаре. Кроме того, как справедливо отмечается во «Введении», те явления, которые часто объединяют под единой рубрикой «конверсия», далеко не однородны. Известны случаи так называемой «окказиональной конверсии», когда данное слово лишь эпизодически используется в необычной для него синтаксической функции. Например, то или иное существительное может иногда вступать в атрибутивные связи с другим существительным в составе конструкций типа NN, не приобретая при этом других категориальных признаков прилагательного. На другом полюсе располагаются единицы, образованные в результате полной и регулярной конверсии (например, существительное *red*, которое характеризуется полным включением в парадигматический класс существительных и регулярным использованием в соответствующих синтаксических контекстах).

Заслугой составителей словаря является выделение промежуточного разряда слова, к которому относятся единицы, регулярно используемые в необычной для данного лексико-грамматического разряда функции, но не успевшие приобрести другие категориальные признаки иной части речи (например, прилагательное *poor*, которое, подобно существительному, регулярно используется с определенным артиклем в функции подлежащего и дополнения, но не сочетается с неопределенным артиклем и не имеет формы множественного числа). Для объяснения подобных случаев составители выдвигают понятие переноса грамматического значения (по аналогии с переносом лексического значения). Градация различных этапов конверсии находит свое отражение в системе помет. Существительное *red* выделяется в виде отдельной вокабулы с пометой «n.», прилагательное *poor* сопровождается пометой в «грам. знач. сущ.», а случаи окказиональной конверсии обозначаются знаком змейки (⦚).

Тщательно продумана последовательно реализуемая в словаре система группировки значений многозначных слов. Составители исходят из того, что существуют определенные градации связей между значениями слова — от свободных значений до фразеологизмов, помещаемых под знаком ромба (◇). Так, например, у глаголов выделяются три группы значений, обозначаемых светлыми римскими цифрами I, II и III. Цифрой I обозначаются значения, реализация которых в минимальной мере зависит от контекста. Под цифрой II группируются значения, реализация которых определяется микроконтекстом — лексическим (II А: например, значение «причинять» у глагола *give* реализуется в сочетаниях *give trouble*, *give pain*) и синтаксическим (II Б: например, значение «заставлять» у глагола *make* реализуется в конструкции *make NVinf*).

В группу III объединяются случаи частичной (III А) и полной (III Б) десемантизации (типа *keep* в *keep quiet* и *get* в *get old*). В то же время случаи полной лексической омонимии выделяются в словаре с помощью надстрочных арабских цифр, а единицы, совпадающие по своей звуковой форме, связанные друг с другом семантически, но отличающиеся друг от друга принадлежностью к разным частям речи, обозначаются полужирными римскими цифрами (например, *Greek* «грек» и *Greek* «греческий»).

Нельзя не согласиться с И. Р. Галь-

периным, когда он отмечает во введении к словарю, что поскольку функциональные и семантические потенции слова полнее всего выявляются в контексте словосочетания и предложения, словарь «не должен ограничиваться перечислением слов и их значений» (стр. 12). Составители словаря видят свою задачу в том, чтобы дать как можно более полное описание функционирования каждого слова в его сочетаниях с другими словами, и, хотя, разумеется, едва ли возможно и целесообразно дать в словаре исчерпывающий перечень всех словосочетаний, в которые может вступать данное слово, тем не менее, наиболее характерные из них находят свое отражение в словарных статьях. В этом, безусловно, одно из наибольших достоинств рецензируемого словаря, и этим он выгодно отличается от большинства издаваемых за рубежом словарей английского языка.

Можно без всякого преувеличения сказать, что по научной обоснованности, по системности раскрытия смысловой структуры слова, его грамматических и стилистических характеристик «Большой англо-русский словарь» является одним из лучших не только среди англо-русских словарей, но и среди всех словарей английского языка. И в то же время его положительной стороной является то, что положенные в его основу научные принципы не превращаются в догму, а сочетаются со стремлением как можно полнее удовлетворить практические нужды читателя. В тех случаях, когда отдельные теоретические положения лексикологии оказываются несовместимыми с практическими требованиями лексикографии, составители сознательно допускают компромиссные решения, аргументируя их соответствующим образом во «Введении».

«Большой англо-русский словарь» в целом весьма полно отражает тенденцию развития английского языка в послевоенный период. Помимо значительного числа лексикографических источников, список которых включает и новейшие словари английского языка (например, «Random House dictionary of the English language», New York, 1967; «The American heritage dictionary of the English language», Boston, 1970), составители черпали материалы для словаря из современной художественной, научно-популярной литературы и публицистики. Словарь содержит немало неологизмов и новых сокращений, в том числе и тех, которые отсутствуют в последнем издании словаря В. К. Мюллера (например, *label* в значении «меченый атом», *airdrop* «сбрасывать с самолета», *splashdown* «приводнение», *MIRV — Multiple Individual Targetable Re-entry Vehicle* «многоэлементная боевая часть баллистической ракеты, МИРВ», *SALT — strategic arms limitation talks* «переговоры об ограничении стратегических вооружений», *ABM — anti-ballistic missile system* «система противоракетной обороны», *overkill* «многократное уничтожение».

Вместе с тем здесь есть и некоторые пробелы. Так, например, в словаре приводится неологизм *sit-in* «демонстрация протеста против расовой дискриминации путем занятия мест (в кафе и других местах, куда не допускаются негры)», но отсутствуют более поздние аналогичные образования (например, *teach-in* «публичная дискуссия как форма социального протеста», *work-in* «отказ рабочих покинуть производственные помещения в знак протеста против закрытия предприятия»). У существительного *hardware* дается значение «оружие, боеприпасы», сопровождаемое пометой «воен. жарг.». Однако в настоящее время слово *hardware* в этом значении прочно укрепилось в литературном языке и широко используется в публицистике, научной и технической литературе. Кроме того, у него появились новые значения — «электронно-механическое оборудование ЭВМ», «физические компоненты ракет». Отсутствует в словаре и неологизм *software* «средства программирования, программно-математическое обеспечение ЭВМ».

Среди неологизмов последних лет, не включенных в словарь, следует упомянуть *hippie* «хиппи», *minuteman* в значении «член ультрареакционной организации в США», *tokenism* «видимость борьбы с расовой дискриминацией», *effort* в значении «программа работ» (например, *space effort*), *brain-drain* «эмиграция научно-технического персонала, утечка мозгов».

Одной из сложнейших проблем, стоящих перед составителями любого словаря, является проблема так называемого «терминологического взрыва», охватившего за последние десятилетия многие отрасли знания. В целом, подход составителей к решению этой проблемы применительно к отбору словника основан на вполне разумных критериях: общий словарь, по их замыслу, не призван заменить отраслевые словари и должен включать лишь те термины, которые характерны для данной отрасли в целом и не носят узкоспециальный характер. Кроме того, при отборе терминов составители стремились учесть интерес широкого круга читателя к той или иной отрасли знания (см. «Введение», стр. 11).

Однако в отдельных случаях составители отступают от этого принципа. Так, например, читатель находит в словаре такие узкоспециальные термины, как *ensisternal* (анат.) «относящийся к мечевидному отростку грудины», *cicatric(u)le* (биол.) «зародышевый диск на желтке яйца», *entomophobia* (мед.) «болезненный страх перед насекомыми», *haybote* (юр.) «право на вырубку леса для починки изгородей, оград и т. п.».

Вместе с тем в словаре отсутствуют не-

которые термины, которые за последние годы подверглись «деспециализации» и прочно вошли в общелитературную и публицистическую лексику. К их числу относится ряд военных терминов — таких, как *strike* в значении «удар», *first strike capability* «силы и средства для нанесения первого удара», *counterforce strategy* «стратегия контрсилы, стратегия ударов по средствам нападения противника». Необходимо отметить, что эти термины содержатся в «Англо-русском словаре» под ред. Г. А. Судзиловского [2], который почему-то не значится в списке лексикографических источников, где указан в значительной мере устаревший «Военный англо-русский словарь» А. М. Таубе [3].

Выше уже указывалось, что в целом расположение материала и структура словарных статей отличаются продуманностью и логичностью. Однако в некоторых случаях составители отступают от принятой ими четкой схемы. Так, если в большинстве случаев, когда речь идет о словах, образованных путем конверсии, сначала дается исходная единица, а затем производная, то иногда производная единица предшествует исходной (например, сперва дается существительное *go*, а затем уже глагол).

Не всегда с достаточной последовательностью реализуются принципы отнесения тех или иных словосочетаний к фразеологизмам. Так, например, среди последних под знаком ромб (◇) почему-то фигурируют *Henry the Fifth* «Генрих пятый», *Edward the First* «Эдуард первый», *Louis the Fifteenth* «Людовик пятнадцатый» и др. Неясно, почему в разряд фразеологизмов включаются термины *negative trade balance* «пассивный торговый баланс» (*positive trade balance* «активный торговый баланс» среди фазеологизмов не значится), *rapidity of a lens* «светосила объектива» (синонимичный термин *speed of a lens* в эту категорию не попадает).

Перевод слов, словосочетаний и фразеологизмов, как правило, характеризуется не только семантической, но и стилистической адекватностью. Примеры неточных переводов крайне немногочисленны. Укажем на следующее: *hijacking of civil aircraft* переводится как «ограбление в пассажирских самолетах» (правильный вариант: «угон пассажирских самолетов»).

В тех случаях, когда один и тот же фразеологизм дважды приводится в словаре под различными словами, иногда наблюдаются расхождения в переводах. Например, выражение *to cry blue murder* в статье *blue* переводится «орать, дико вопить (без особой причины)», а в статье *murder* «кричать караул, вопить, орать». Фразеологизм *to burn daylight* в одном случае переведен «*уст.* жечь свечи (свет) днем; даром терять время, растрачивать силы», а в другом без пометы «уст.» — «тратить силы зря».

Указанные выше отдельные недостатки словаря вполне объяснимы, если учесть всю сложность задачи, стоявшей перед составителями,— создание словаря нового типа, который, как указывается в вводной статье «От издательства», принципиально отличается от выпускавшихся ранее издательством «Советская энциклопедия» словарей (стр. 7).

Нет никакого сомнения в том, что выход в свет «Большого англо-русского словаря» — крупное событие в англистике и большое достижение нашей отечественной лексикографии.

А. Д. Швейцер

[2] «Англо-русский военный словарь», 2-е изд., М., 1968.

[3] «Военный англо-русский словарь», 3-е изд., М., 1949.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

3—8 сентября 1973 г. в Варне (Болгария) проходил II Международный конгресс преподавателей русского языка и литературы «Теория и практика создания учебников и учебных пособий по русскому языку как иностранному». Конгресс был организован существующей с 1967 г. Международной ассоциацией преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ). В нем приняло участие около 1500 делегатов и свыше 2000 гостей из 51 страны; на пленарных и секционных заседаниях было прочитано 350 докладов и сообщений, в дискуссии выступило более 100 чел. В работе Конгресса принимали участие видные советские и зарубежные ученые-языковеды.

На первом пленарном заседании Конгресса президент МАПРЯЛ акад. М. Б. Храпченко выступил с докладом «О научных основах преподавания русского языка и литературы». О роли русского языка как одного из мировых языков широкого международного общения в современном мире рассказал В. Г. Костомаров.

Актуальность постановки вопроса о современном учебнике русского языка для иностранцев вытекает из насущной потребности преподавания русского языка за рубежом, которое в последнее время приобрело массовый характер: русский язык изучается и преподается в школах, вузах, университетах, в кружках и на курсах 86 стран, а общее количество изучающих его ежегодно за пределами СССР достигает 15 млн. чел. В центре внимания Конгресса были, как правило, те вопросы, решение которых помогает существенно повысить эффективность учебных пособий — учебников, словарей, технических средств обучения, пособий по литературе и страноведению, т. е. вопросы, имеющие непосредственное практическое значение для повышения эффективности преподавания русского языка в нашей стране и за рубежом.

За последние годы во многих странах, часто с участием и помощью советских специалистов (Англия, ГДР, Италия, Финляндия, ФРГ, Швеция), не только созданы учебники и учебные пособия, реализующие новейшие достижения в области методики преподавания русского языка как иностранного, но и разработаны отдельные теоретические проблемы, связанные с составлением учебников русского языка: сформулированы научные принципы отбора лексико-грамматических учебных минимумов; обоснована функциональная и лингвистическая последовательность введения языковых единиц; выделены виды речевой деятельности, которым необходимо обучать; разработаны разнообразные способы и приемы семантизации синтаксических конструкций и лексических единиц; выделены единицы обучения устной речи; очерчен круг различных типов диалогических единств и речевых стереотипов, представляющих основу диалогической речи; найдены и «проблемные» типы упражнений, приближающиеся по своему характеру к реальной коммуникации; определены границы визуального материала в учебниках и принципы создания и использования аудиовизуальных средств; установлена функциональная нагрузка иллюстраций, таблиц, схем и т. п.; созданы программы для языковых лабораторий с использованием технических средств; определен лингвострановедческий аспект учебника русского языка и некоторые принципы отбора страноведческих фактов, комментирования страноведческого материала. Таким образом, заложен прочный фундамент для дальнейшей разработки проблем теории современного учебника русского языка.

Основной целью Конгресса явилось подведение итогов сделанному и поиск конкретных путей улучшения работы и форм ее координации. Вся работа Конгресса показала, что в области составления и совершенствования учебников русского языка и их теоретического обоснования достигнуты значительные успехи. Со времени I Конференции (август 1969 г.) расширилась научная программа МАПРЯЛ, повысился научный уровень изучения русского языка как ино-

странного. При этом советская методика и лингвистика за эти четыре года не только сохранила, но и укрепила свою ведущую роль.

В докладах и сообщениях по общим проблемам курса русского языка преобладал синтаксический подход ко всему грамматическому материалу; предложение признается основной единицей коммуникации и обучения. Докладчиками был предложен ряд концепций синтаксиса русского языка. Так, В. Мюльнер и Д. Радтке (ГДР) выдвинули теорию сочетаемости или валентности, учитывающую семантические и формальные признаки главного и зависимых слов; о возможностях и границах использования структурного и генеративно-трансформационного методов с учетом структурно-семантических и функциональных исследований шла речь в докладах М. Кубика и М. Затовканюка (ЧССР); концепция активного порождающего синтаксиса, базирующегося на универсальной семантической основе, получила освещение в докладе С. Кароляка (ПНР). Принципы развертывания структурной основы простого предложения обязательными и факультативными распространителями и описания на этой основе типов сложного предложения были предложены в тезисах доклада К. А. Роговой (СССР); «грамматику блоков» как средство окончательной систематизации грамматических знаний (где под «блоком» понимается комплексная единица отбора и систематизации, представляющая совокупность понятийного, структурного и функционального аспектов грамматики) предложил Д. Ференци (ВНР). В выступлениях Ф. Паппа (ВНР), П. Филковой (НРБ), О. Б. Сиротининой и А. Н. Кожина (СССР) прозвучала мысль о необходимости связи практического курса русского языка с курсами теории русского языка, истории русского литературного языка. Ситуативно-тематическая организация материала в учебнике, группирующая языковые явления по функциональному принципу, освещалась в докладах О. Д. Митрофановой, И. Л. Авербах (СССР) и З. Кольса (ГДР). Вниманию аудитории были предложены учебники и учебные пособия, реализующие некоторые из этих концепций и принципов.

Общей для большинства выступавших по вопросам лингвистического обоснования методики преподавания оказалась проблема сопоставления родного и русского языков. Принципам сопоставления в учебной грамматике были посвящены специальные доклады Р. Павловой (НРБ), Е. Фодора (СРР), Я. Светлика (ЧССР). Особо рассматривались вопросы межъязыковой интерференции и статистических характеристик и причин ошибок, возникающих под влиянием родного языка. Можно предполагать, что в самое ближайшее время сопоставительное направление в преподавании русского языка, имеющее глубокие корни во многих странах, заявит о себе с большей определенностью, резче обозначится противопоставление материалов, рассчитанных на изучение русского языка вне среды (за рубежом) и в естественной языковой среде (в СССР).

Большое внимание уделялось стилистическому расслоению современного русского литературного языка, проблемам сопоставительной стилистики и некоторым общим теоретическим положениям стилистики: определению стилистики как науки, изучающей теорию функциональных стилей, обоснованию стилистики речи и стилистики художественного произведения, стилистическому анализу текста и др. (доклады Д. Э. Розенталя и М. А. Теленковой, П. Г. Черемисина — СССР). На секции «Учебники и учебные пособия по русскому языку для филологов» рассматривались проблемы разговорного стиля, основой функцией которого является функция повседневного общения, проблемы речевого этикета и неречевого поведения в различных ситуациях, давалась оценка речевых и ситуативных упражнений, развивающих навыки устной диалогической и монологической речи.

Со времени I Международной конференции МАПРЯЛ (1969 г.) оформились новые направления — преподавание русского языка специалистам-нефилологам, учебная лексикография и методика краткосрочных форм обучения. Для обсуждения этих вопросов были организованы отдельные секции Конгресса. Обучение русскому языку нефилологов (физиков, химиков, инженеров, медиков и др.) связано с ответом на ряд новых противоречиво решаемых вопросов, дискутировавшихся на Конгрессе: когда начинать специализацию; полезна ли ранняя специализация; возможно ли обучение языку только на материале специальности и целесообразно ли это. Что является наиболее важным при изучении русского языка в нефилологической аудитории — словарь или грамматика; каково место терминологической лексики; каковы границы активной и пассивной грамматики и словаря; на каких текстах — общенаучных, научно-популярных или специальных — вести это обучение; как методически организовать материал; какую систему упражнений предложить, чтобы сделать это обучение наиболее рациональным, эффективным.

В последние годы получила широкое распространение практика обследования лексико-грамматического состава отдельных научных дисциплин, составление на этой базе учебников и учебных пособий, ориентированных на узкую специальность учащихся — русский язык для

физиков, русский язык для химиков, русский язык для геологов, биологов и пр. Результаты лингвистического анализа корпуса научных текстов, принадлежащих разным научным дисциплинам, или подъязыков, изложенные на Конгрессе в ряде докладов и выступлений (Л. Розковцева — ЧССР, Л. Форкаш — СРР, Р. Суара — ВНР, Х. Вюстенек — ГДР, О. Д. Митрофанова — СССР и др.), свидетельствуют о неправомерности дифференциации учебников русского языка для специалистов-нефилологов по принципу подъязыковой типологии. Каждый из подъязыков имеет свою специфику в использовании прежде всего лексических средств выражения, что объясняется различиями между самими науками по их предмету, кругу понятий, техническим приемам исследования и аргументации. В остальном же языковые средства, используемые в разных научных дисциплинах, универсальны для текстов разных областей естественно-технических знаний.

Обсуждение практики создания учебников русского языка для краткосрочных курсов и кружков, охватывающих один из наиболее многочисленных контингентов изучающих русский язык, выявило специфику этой формы обучения, которая заключается в пестроте состава обучающихся, растянутости процесса обучения, разнообразии мотивов занятий русским языком (Е. Ю. Владимирский — СССР, С. Унни — Индия, З. Кольс — ГДР). Вместе с тем эти формы роднит интенсивность обучения, что заставляет максимально насыщать учебники для этого контингента обучающихся лексической, грамматической и страноведческой информацией (Т. И. Капитонова, В. М. Нечаева, Е. Г. Баш — СССР, Н. Шопова — НРБ, М. Грдличка — ЧССР).

Особо обсуждались проблемы учебной лексикографии, или лексикографии малых форм и определенной методической ориентации, основной задачей которой является разработка оптимальных словников и лексических минимумов. Наряду с вопросами типологии словарей (Т. Иванова, Л. А. Новиков, В. П. Петушков — СССР, О. Ман — ЧССР) и структуры отдельных типов словарей (Е. Бжозонь, С. Кохман — ПНР, П. Н. Денисов, Ю. Г. Овсиенко — СССР, Й. Йирачек — ЧССР) на секции поднимались вопросы методики работы с учебным словарем (И. Кошараш — ВНР), места словаря в учебнике (З. Иванова — НРБ, В. Штейнбрехт — ФРГ), типологии собственно учебных словарей как самостоятельных учебных пособий и типологии словарей, входящих в учебники (Р. Бакая — Индия, Э. Бауманн, И. Евсеев, А. Евсеева — СРР, Х. М. Икрамова, В. В. Морковкин, Л. И. Широкова — СССР, Ш. Мешко, Э. Палл — ВНР, Е. Димитрова-Коларова, Т. Минчев — НРБ).

Значительное число участников секции технических средств обучения свидетельствует о перспективности этого аспекта методики. Можно предполагать, что эти направления, в особенности преподавание русского языка специалистам-нефилологам и краткосрочные формы обучения (первое как непосредственное отражение усиления научно-технической мощи СССР и крепнущих международных технико-экономических контактов, второе — как самый массовый канал внедрения русского языка во все новые и новые страны) будут продолжать бурно развиваться и в последующие годы.

Важнейшим направлением деятельности МАПРЯЛ является разработка проблем страноведения. Возникшее несколько лет тому назад, это направление успешно развивается, о чем свидетельствует самое пристальное внимание, уделяемое страноведческой проблематике на всех международных научных мероприятиях Ассоциации, а также большое число публикаций научного и практического значения, среди которых следует отметить сборники статей и учебное пособие «Язык и культура», подготовленные группой страноведения Научно-методического центра русского языка. На Конгрессе особо подчеркивалась роль лингвострановедческого аспекта учебника русского языка для иностранцев (доклад Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова — СССР). Под лингвострановедением понимается культура страны изучаемого языка, ставшая предметом соизучения при овладении этим языком. В докладе указывалось на необходимость включения лингвострановедения в учебник в качестве аспекта, равноправного с другими традиционно выделяемыми аспектами,— фонетическим, грамматическим и стилистическим. В выступлениях громко прозвучал тезис о невозможности адекватного усвоения русского языка без широкого знакомства с культурой, традициями, общественным и государственным устройством СССР. Детальному обсуждению подверглись вопросы комментирования страноведческого факта, стабильности учебного текста, использования сведений из географии и истории на занятиях по русскому языку (Л. С. Алексеева, А. В. Абрамович — СССР, И. Вуйович — ВНР, И. Зюс — ГДР).

В докладах в связи с проблемами создания учебников по литературе были затронуты актуальные теоретические вопросы: мировое значение русской и советской литературы (В. Бейтц, Г. Варм — ГДР, С. Русакиев — НРБ); роль В. И. Ленина в разработке методологических проблем изучения язы-

ка и литературы (В. Колевский — НРБ); традиции и новаторство; диалектика национального и интернационального при изучении русской и советской литературы] (Л. А. Бурчак — СССР, М. Вегенер — ГДР, Т. Позняк — ПНР); сравнительно-типологическое изучение литератур (Б. Белокозович — ПНР, В. Велчев — НРБ) и пр. Рассматривались также вопросы методики составления учебников и учебных пособий по литературе для средней и высшей школы, проблемы, связанные с построением курса литературы в высшей школе и содержанием учебных занятий по литературе в средней школе.

Ряд докладчиков (С. Галсан — МНР, Дж. Гордон — США, В. Гребенщиков — Канада, Б. М. Есаджанян — СССР), выступивших на секции «Общие проблемы обучения русскому языку и вопросы теории учебника», сообщили о различных лингвистических теориях, которые могут служить базой для построения учебников, и предложили конкретные рекомендации по преодолению некоторых аспектных трудностей в усвоении русского языка как иностранного — фонетических, грамматических, лексических.

Конгресс выявил фактические потребности в учебных пособиях различного типа, определил основные задачи в области создания принципиально новых учебных пособий, обсудил вопрос о дальнейшей координации работы над учебниками, особо отметив эффективность такой формы сотрудничества, как смешанные советско-иностранные авторские коллективы. Рассмотрение на Конгрессе вопросов теории и практики создания учебников и учебных пособий по русскому языку и литературе показало, что настало время обсудить вопрос о научных основах и опыте обучения русскому языку и литературе иностранцев. Он был рекомендован в качестве основной темы III Международного конгресса преподавателей русского языка и литературы, который состоится в 1976 г.

Акад. М. Б. Храпченко в заключительном слове подвел итоги проделанной работы и наметил дальнейшие перспективы.

Атмосфере приподнятости, царившей на Конгрессе, его большой международной значимости, успеху конгресса способствовали выступление на конгрессе Председателя Государственного Совета НРБ Тодора Живкова и обращение к Конгрессу Председателя Президиума Верховного Совета СССР Н.В. Подгорного.

После Конгресса 10—12 сентября состоялась Генеральная ассамблея МАПРЯЛ, принявшая план деятельности Ассоциации на 1974—1976 гг. Основными мероприятиями будут III Международный конгресс преподавателей русского языка и литературы в Варшаве (1976 г.) и II Международная олимпиада школьников по русскому языку в Москве (1975 г.). Планом предусмотрен также ряд международных симпозиумов и региональных совещаний в НРБ, ЧССР, СФРЮ, ГДР, Франции, США и других странах. Генеральная ассамблея избрала руководящие органы Ассоциации на следующие три года. Президентом МАПРЯЛ вновь избран акад. М. Б. Храпченко, генеральным секретарем — проф. В. Г. Костомаров.

О. Д. Митрофанова, В. С. Ливунов
(Москва)

*

С 21 по 27 августа 1973 г. в Варшаве проходил VII Международный съезд славистов, явившийся большим событием в научной жизни славянских стран. В Варшаву приехали около трех тысяч ученых-славистов из 28 стран мира. В составе советской делегации, насчитывавшей около 180 человек и возглавляемой акад. М. П. Алексеевым, были представители крупнейших научных академических учреждений и вузов страны. Польские газеты, радио, телевидение подчеркивали важное общественное значение съезда, на котором был продемонстрирован глубокий и все возрастающий интерес к славянским языкам, литературе, истории и культуре в странах всех континентов.

Работа на съезде велась в рамках пяти секций, соответствующих основным тематическим направлениям славистики: секция I — языкознание, секция II — литературоведение, секция III — лингвистико-литературоведческие проблемы, секция IV — фольклористика, секция V — общеславянские исторические проблемы.

Съезд был открыт вступительными докладами акад. Ю. Кржижановского (ПНР) «Две романтические годовщины двух славянских литератур», чл.-корр. АН СССР Ф. П. Филина (СССР) «Проблема происхождения славянских языков», Р. Якобсона (США) «Языковедческие наблюдения над общими особенностями славянской поэзии». В докладе Ю. Кржижановского были подведены итоги польского литературоведения и фольклористики за последние годы. Докладчик рассказал о судьбе потерянной Супрасльской рукописи. Она найдена в США и возвращена в Польшу. Ф. П. Филин показал разнообразие и противоречивость существующих гипотез этно- и глоттогенеза славян. Докладчик раскрыл сложность проблемы происхождения и образования славян как определенного этноязыкового единства, выделившегося в результате длительной дифференциации и интеграции праиндоевропейских групп. Излагая основные

положения дискуссии о прародине славян, Ф. П. Филин подчеркнул, что окончательное и бесспорное решение этого вопроса возможно лишь в результате совместных исследований ученых разных специальностей — лингвистов, археологов, этнографов, историков, фольклористов. В докладе Р. Якобсона был затронут вопрос о зависимости структуры поэтического произведения от грамматических особенностей славянских языков и о возникающих в связи с этим сложностях перевода.

Секцию по языкознанию составили шесть подсекций. В первой подсекции доклады и сообщения группировались вокруг традиционной славистической проблемы — праславянский язык как гипотетическая система, направление его эволюции в отдельных славянских языках. Вторая подсекция была посвящена истории развития славянских литературных языков и описанию неславянских элементов, в особенности греческих и латинских. В третьей подсекции рассматривались вопросы языкового родства в свете сравнительной диалектологии. В четвертой подсекции доклады и сообщения были посвящены характеристике лексических и морфологических черт славянских языков с точки зрения их семантической, синтаксической и стилистической функции. В пятой подсекции рассматривались вопросы динамики развития славянских литературных языков (начиная со второй половины XVIII в.) с социологической точки зрения. В шестой подсекции освещались актуальные проблемы лексикологии, включая этимологию и словообразование, рассматриваемые как в плане формальном и семантическом, так и с точки зрения синхронного и диахронического описания лексики.

Открытию работы подсекций предшествовали следующие общесекционные доклады: акад. Е. Курилович (ПНР) «О виде славянского глагола»; акад. Б. Гавранек (ЧССР) «Структура предложения славянских языков древнейшего периода»; В. Кипарский (Финляндия) «Проблема так называемых слабых еров в некоторых славянских суффиксах»; акад. В. И. Георгиев (НРБ) «Три основных периода развития праславянского языка»; Й. Хамм (Австрия) «Факторы развития глагольных форм»; Г. С. Клычков (СССР) «Происхождение праславянской фонетической системы»; Ш. Ондруш (ЧССР) «Праевропейский субстрат в праславянском лексическом фонде»; П. Ивич (СФРЮ) «Иерархия родства между диалектными типами на славянском юге».

Рабочими языками конгресса были все славянские языки [1], а также английский, французский и немецкий. Это не помешало оживленному обсуждению докладов и сообщений и обмену мнениями.

В первой подсекции по проблемам, связанным с вопросами изучения праславянского языка и направления его эволюции, на съезде было представлено 19 докладов и 23 сообщения. Особый интерес вызвали доклады, посвященные проблемам реконструкции праславянского языка и отдельных сторон его системы, в частности, доклад Г. Бирнбаума (США) «О возможности восстановления первичного состояния праславянского языка с помощью внутренней реконструкции и сравнительного метода». Последняя фаза общеславянского языка, как считает автор, может быть реконструирована с большой степенью точности на базе компаративного анализа лингвистических данных, в частности, лексических заимствований, топонимики и гидронимики. Оживленная дискуссия развернулась вокруг доклада Н. И. Толстого (СССР) «О реконструкции праславянской фразеологии», посвященного одной из неразработанных проблем реконструкции. Направление эволюции праславянского языка было отражено в докладах Л. Мошинского (ПНР) «Развитие фонологической системы от праславянской языковой общности до языка Кирилла и Мефодия», А. Лампрехта (ЧССР) «Поздний праславянский язык и его развитие в восточнославянских языках (развитие фонологической системы)», И. Дуриданова (НРБ) «Некоторые особенности в развитии именной суффиксальной системы от балтославянского к праславянскому». Славяно-балтийская тема прозвучала и в сообщении Р. Экерта (ГДР) «Славяно-балтийские языковые связи на материале именного основообразования». Актуальным проблемам исследования отдельных сторон славянских языков были посвящены доклады акад. В. И. Борковского (СССР) «Основные черты сходства и различия в истории синтаксического строя восточнославянских языков (XI—XVII в.)», М. Карася (ПНР) «Формирование польской системы времен на общеславянском фоне», Ф. В. Мареша (Австрия) «Славянская падежная система», Х. Коутса (США) «Восточнославянское склонение: диахроническое изучение». Привлекло внимание и сообщение И. Тота (ВНР) «К изучению памятников русского языка XI в. (на материалах Бычковской псалтыри)». Докладчик подчеркнул необходимость комплексного подхода к описанию памятников.

Во второй подсекции, обсуждавшей вопросы развития славянских литературных языков, было прочитано 12 докладов и 27 сообщений. На первых засе-

[1] Р. Олеш прочел доклад о полабском ударении на полабском языке. Это было возрождением полабского языка в XX в.

даниях обсуждение вызвал доклад Г. Хютль-Ворт (Австрия) «Основные проблемы литературного языка в Киевской Руси». Как считает докладчик, языковая ситуация в древнерусский период с самого начала характеризовалась сосуществованием двух языковых систем — церковнославянской и древнерусской. Степень смешения этих систем в жанре хроники (в частности, в «Повести временных лет») может быть исследована с помощью некоторых предлагаемых приемов исследования. Возражения вызвал доклад К. Йордала (Дания) «Синтаксические грецизмы в русском языке». Не все слушатели были согласны и с предложенным определением синтаксических грецизмов, и с конкретной квалификацией отдельных конструкций, зачисляемых в разряд заимствований. Теме иноязычных влияний был посвящен также доклад А. С. Львова (СССР) «Иноязычные влияния в лексике памятников старославянской письменности». Характеризуя лексические заимствования — греческие, тюркоболгарские, венгерские,— автор особое внимание уделил тюркизмам. С интересом было принято сообщение Е. Русека (ПНР) «Мефодий ли перевел патерик, и который?». Докладчик придерживается мнения Ван-Вейка, высказанного на Варшавском конгрессе в 1934 г., о том, что так называемый «Патерик Скитский» был переведен Мефодием. Содержательным было и сообщение М. Леминга (Великобритания) «Греческие и латинские элементы в словаре Памвы Берынды».

Третья подсекция, посвященная вопросам языкового родства в свете сравнительной диалектологии, была представлена на съезде сравнительно небольшим числом докладов (15) и сообщений (12). С большим интересом были приняты доклады Р. И. Аванесова (СССР) «К вопросам периодизации истории русского языка», Б. Видоески (СФРЮ) «Проблемы междиалектного контакта в пограничных диалектных областях», К. Дейны (ПНР) «Принципы и основы диалектологической регионализации этнической территории», С. Б. Бернштейна (СССР) «Проблемы интерференции языков карпатско-дунайского ареала в свете данных сравнительной диалектологии».

Содержали новый материал доклады и сообщения: А. Заремба (ПНР) «Некоторые аспекты польско-сербских лексических взаимосвязей»; Й. Штольц (ЧССР) «Лингвистическая география и межславянские языковые отношения»; Я. Басара (ПНР) «Польско-чешские языковые интерференции (на примере диалектов Чешиньской Силезии)»; В. Курашкевич (ПНР) «Окончания *-m* и *-m'* 3 ед. и мн. настоящего времени в старых русских говорах между Саной и Нарвой»; Я. Белич (ЧССР) «Лексические различия в области чешского языка с точки зрения отношений к другим славянским и неславянским языкам». Оригинальной тематике было посвящено сообщение А. Вашека (ЧССР) «О развитии изолированного славянского языка».

И по числу участников, и по широте обсуждения наиболее популярной среди лингвистов была четвертая подсекция, посвященная вопросам описания явлений современных славянских языков в функциональном аспекте. На ней было прочитано свыше тридцати докладов и шестидесяти сообщений. Даже самый лаконичный перечень всех поднятых на съезде вопросов составил бы тему отдельной хроники. Здесь могут быть упомянуты лишь немногие из них. Обсуждение вызвали следующие доклады: Н. Ю. Шведова (СССР) «О соотношении грамматической и семантической структуры предложения»; акад. Р. Ружичка (ГДР) «К вопросу о сравнительном синтаксисе современных славянских литературных языков»; М. Ежова, М. Юрковски, Р. Михалик, Х. Ожеховска, В. Пианка, М. Вишневска (ПНР) «Попытка классификации сравнительных конструкций степеней сравнения в славянских языках; М. Грепль (ЧССР) «Категория диагентности и пассива в славянских языках»; Ж. Вейренк (Франция) «Характеристика инфинитивных предложений»; З. Тополинка (ПНР) «Структура славянской номинальной фразы»; В. Барнет (ЧССР) «Частные формальные системы в развитии морфологического строя славянских языков»; Е. Кржижкова (ЧССР) «Семантический анализ местоименной системы и классификации современных славянских литературных языков» и др.

На секции широко обсуждались вопросы категории падежа и склонения. Этой теме были посвящены сообщения Е. В. Чешко и И. И. Ревзина (СССР) «Соотношение морфологического и синтаксического уровней в категории падежа (падежи старославянского языка)», К. И. Ходовой (СССР) «Структура отношений, выражаемых формами склонения имени существительного в старославянском языке».

На съезде был проявлен интерес к социологическому аспекту исследований, который на прошлых съездах затрагивался лишь спорадически. Вопросы динамики славянских литературных языков, в той или иной мере освещенные и с точки зрения социологической, были подняты на съезде в 14 докладах и 22 сообщениях. Советская делегация представила на этой подсекции только два доклада: Е. И. Деминой «Проблемы нормы в формировании книжного болгарского языка XVII в. на народной основе»,

И. И. Кремкова и А. И. Журавского «Характер взаимодействия белорусского литературного языка с другими славянскими языками в начальный период его формирования». Работа этой секции привлекла большое внимание участников съезда. Было много желающих выступить в прениях, но времени для дискуссии явно не хватало. Интерес вызвали следующие доклады: С. Урбанчик (ПНР) «Параллельные явления в развитии славянских литературных языков в XIX в»; П. Бранг (Швейцария) «О задачах социолингвистического исследования, преимущественно на материале русского литературного языка»; Д. Брозович (СФРЮ) «Социолингвистическая ситуация и проблемы языковой стандартизации в славянском мире XVIII в»; Х. Шустер-Шевц (ГДР) «Об общественной обусловленности процессов языковой стандартизации в славянских языках»; К. Гутшмидт (ГДР) «Параллельная и дивергентная тенденция развития в молодых славянских литературных языках и социологический подход». О пуризме как одном из важных факторов в развитии всех славянских литературных языков, за исключением русского и польского, говорилось в докладе Р. Оти (Великобритания) «Роль пуризма в развитии славянских литературных языков». Языковой пуризм докладчик определил как стремление устранить из языка чужие элементы и заменить их народными. Автор считает, что в XX в. пуристические тенденции потеряли свое значение. Теоретической теме был посвящен доклад А. Едлички (ЧССР) «Динамика развития литературного языка и его стилистическая дифференциация». Динамизм системы определяется взаимодействием внутренних и экстралингвистических факторов.

В шестой подсекции, посвященной актуальным проблемам лексикологии, было представлено 17 докладов и 39 сообщений. Обсуждение вызвали доклады О. Н. Трубачева (СССР) «Лексикография и этимология», Е. Фодор (СРР) «Словообразование и семантика (к вопросу о внутренней валентности слов на материале восточнославянских языков)», сообщения Ж. Ж. Варбот (СССР) «О возможностях диахронического истолкования морфонологической вариантности в славянских отглагольных именах», В. Я. Дерягина (СССР) «Изучение истории словарного состава языка по данным деловой письменности», М. Думитреску (СРР) «Новое в лексике современного русского языка (1968—1972 гг.)» и др.

Всего на съезде было прочитано около 900 докладов и сообщений; оргкомитетом съезда зарегистрированы две с половиной тысячи выступлений. Съезд был подготовлен и проведен польским комитетом славистов во главе с акад. В. Дорошевским (секретари Я. Басара и М. Шимчак). Делегаты съезда выражают искреннюю благодарность и признательность за радушный прием в Варшаве. VIII съезд славистов предполагается провести в 1978 г. в Югославии — в Любляне и Загребе. Председателем Международного комитета избран словенский ученый акад. Б. Крефт.

Л. К. Граудина (Москва)

*

23—25 мая 1973 г. в Москве в Институте русского языка АН СССР проходило очередное заседание Международной комиссии по изучению грамматического строя славянских языков при Международном комитете славистов (председатель Комиссии акад. Б. Гавранек). Обсуждались две проблемы: «Концепции и методы описания грамматической структуры славянских языков» и «Порядок слов в структуре предложения». В работе Комиссии приняли участие ученые из НРБ, ГДР, ПНР, СССР, СФРЮ, ЧССР.

Первой проблеме было посвящено 19 докладов.

Акад. Р. Ружичка (Лейпциг) в докладе «К вопросу о существовании особых принципов и методов описания грамматической структуры славянских языков» развивал тезис о том, что общая грамматическая типологическая классификация языков может нарушить представление о целостности грамматической системы отдельного языка. Использование общих принципов и методов описания с одновременным объяснением индивидуальных грамматических фактов отдельных языков даст возможность установить принципы описания, отличить системные особенности от индивидуальных и приблизиться к созданию единых принципов и методов описания грамматической структуры отдельных языков и языковых семей.

А. Е. Супрун (Минск) прочитал доклад на тему «Описание грамматической структуры и вероятностный характер языка». Наличие в языке многих дублирующих элементов как в плане синтагматики, так и в плане парадигматики ведет к тому, что при построении текста говорящий оказывается перед синонимической ситуацией, когда комплекс причин (замысел говорящего, ситуация и т. п.) обусловливает возможность или невозможность использования некоторого множества языковых средств. Таким образом, некоторые закономерности построения текста имеют не жестко детерминированный, а вероятностный, статистический характер.

В докладе Ф. Данеша и К. Гаузенбласа (Прага) «К семантике ос-

новных синтаксических формаций» была представлена картина основных синтаксических формаций и предложены принципы оптимального уровневого описания синтаксических структур в их связях с семантическим аспектом (семантическое содержание высказывания, семантические формулы предложения, пропозиция, комплексная категория коммуникативного смысла высказывания, формы выражения высказывания).

В докладе «Место семантики в описательной грамматике» Н. Ю. Шведова (Москва) определила синтаксическую конструкцию как самостоятельный и в самом себе достаточный языковой знак, имеющий собственную форму и собственное значение. В синтаксической конструкции всегда присутствуют три основные взаимодействующие единицы смысла: собственно грамматическое значение, абстрактные значения компонентов конструкции и отношений между ними, семантическая структура конструкции. В конкретной реализации структурной схемы предложения его грамматическое значение и значение его компонентов вступают в двойное взаимодействие: с грамматическим значением морфологических форм, занимающих те или иные синтаксические места, и с лексическими значениями занявших эти позиции слов. Современный описательный синтаксис должен отразить все виды этих значений.

В докладе Е. Кржижковой (Прага) «Дистинктивные семантические признаки и структура предложения» был поставлен вопрос — в какой степени дистинктивные признаки, выявляемые в рамках морфологических категорий, принимают непосредственное участие в создании дистинктивных признаков, закрепленных за синтаксическими единицами. В зависимости от характера основных синтаксем и их отношений можно установить разновидности синтаксических парадигм и те признаки, которые кладутся в основу той или иной парадигмы.

А. В. Бондарко (Ленинград) в докладе «Принципы построения функциональной грамматики современных славянских языков» показал, что функциональная направленность грамматики требует построения ее не только на принципе «от средства к функциям», но и на принципе «от функций к средствам». Был рассмотрен один из возможных вариантов построения функциональной грамматики, включающей функциональные аспекты морфологии и синтаксиса.

А. Е. Михневич (Минск) выступил с докладом «Семантико-синтаксическая структура славянского предложения и проблема аналитических конструкций». Основной тезис доклада — о возможности использования понятия аналитизма для описания функционирования семантических классов слов, не имеющих в славянских языках регулярных морфологических показателей,— иллюстрировался на анализе предложений с глаголами взаимного действия.

К. Писаркова (Краков) в докладе «Посессивность как грамматическая проблема» определила посессивность как семантико-грамматическую категорию, основные средства выражения которой принадлежат грамматическому строю. Эти средства полисемичны и расположены в нескольких плоскостях системы (морфология, синтаксис и семантика), имеют постоянные, основные значения. Лексические средства, вторичные по отношению к основным грамматическим показателям, образуют семантическое поле, пополняющее основные значения более точными характеристиками (способ, количество).

О. Лешка (Прага) в докладе «Части речи в описательной грамматике славянских языков» рассмотрел современные методы и принципы описания морфологического строя славянских языков в их отношении к унаследованной системе частей речи и показал перспективы нового построения описания морфологической системы. Докладчик пришел к выводу, что в системе описания языка морфология занимает центральное место: с фонологией ее связывает механизм плана выражения, с синтаксисом — дистрибуционные классы, с лексикой — общие лексико-семантические категории.

В докладе «Из теоретического опыта описания синтаксической системы» М. Грепль (Брно) подвел итоги некоторых методологических опытов, использованных в «Синтаксисе литературного чешского языка» Я. Бауэра и М. Грепля (Прага, 1972). Конструктивным оказалось различение в общем строении высказывания трех уровней: синтагматико-предикативного (грамматические модели предложения), модального строения и актуального членения высказывания. Это дает возможность специфицировать релевантные для каждого из уровней средства, включить в описание семантическую морфологию, осуществить функциональную спецификацию частиц.

В. И. Кодухов (Ленинград) в докладе «Способы описания грамматического строя в грамматиках славянских языков (на материале сложного предложения)» охарактеризовал различные методы описания структуры сложного предложения в разных грамматиках.

В докладе В. А. Белошапковой (Москва) «Сложное предложение и словосочетание. (К вопросу об изоморфизме в синтаксической системе)» развивалась идея об изоморфизме синтаксической системы, которая, по мнению докладчика, помогает обнаружить общность в характере синтаксических связей и отношений

на уровне сложного предложения и словосочетания.

В. В. Лопатин (Москва) выступил с докладом на тему «Словообразование как объект грамматического описания». Он показал, что словообразовательные (в первую очередь морфемные) средства языка и весь механизм словообразования является частью особого раздела грамматики — морфемики.

И. С. Улуханов (Москва) в докладе «Словообразовательная семантика и принципы ее описания в грамматиках славянских языков», опираясь на большой иллюстративный материал, доказывал, что в описании словообразовательной семантики нужно отказаться от семантических классификаций, не опирающихся на словообразовательные средства выражения. Развивался также тезис о том, что использование в описании только инвариантных значений формантов недостаточно.

А. М. Мухин (Ленинград) в докладе «О словосочетаниях (фразах) и методах их изучения (на материале современного русского языка)» развивал мысль о том, что отнесение управления к числу синтаксических связей неоправданно: целью изучения управления должно стать выделение лексико-семантических групп переходных лексем, управляющих дополнением с помощью предлога или без предлога (что может быть достигнуто методом трансформации). Управление устанавливается лишь в рамках словосочетаний как лексических конструкций (фраз).

В докладе Я. Корженского (Прага) «Конструкция грамматики естественного языка на основе семантической базы» развивалась мысль о том, что специфическим типом модели являются грамматики, построенные на основе семантической базы языка, т. е. на множестве комплексных семантических формул. Формулы превращаются в слова, предикативные и непредикативные синтагмы при помощи правил грамматической и словообразовательной реализаций. В докладе была рассмотрена система реализаций (словообразовательной, синтагматической, предложенческой) формул семантической базы.

В докладе «Об обязательных и факультативных компонентах высказывания» Ст. Кароляк (Варшава) показал, что решение вопроса об установлении так называемых облигаторных позиций, предопределяемых типами предикативных высказываний, требует: 1) исследования семантических связей, исходящих от предикатов; 2) определения условий нулевого выражения распространителей. Были сформулированы признаки обязательности и факультативности компонентов.

Я. Качала (Братислава) посвятил свой доклад теме «Субстанциальные и несубстанциальные характеристики глагола». Субстанциальные характеристики составляют наименования субстанций, с которыми глагол сочетается на основании интенции глагольного действия; несубстанциальные — наименования явлений несубстанциального характера, с которыми глагол сочетается на основании своей семантики.

Проблеме «Порядок слов в структуре предложения» было посвящено 10 докладов.

Й. Ружичка (Братислава) в докладе «Порядок слов в структуре предложения» на материале словацкого языка показал, что при исследовании порядка слов необходимо различать четыре уровня: лексики (переходные лексико-грамматические типы), синтагматики, уровень простого и сложного предложения и уровень текста.

В докладе М. Ивич (Новый Сад) «Некоторые проблемы словопорядка в дополнительном придаточном предложении» основное внимание было уделено вопросу, в какой мере сербскохорватская конструкция с союзом *да* в расположении слов отличается от простого предложения. На основе анализа правил словорасположения было показано, что простое и придаточное предложения — это разные синтаксические единицы.

В докладе З. Тополиньской (Варшава) «Порядок слов в именном словосочетании как отражение его деривационной истории» развивался тезис о том, что знание исходной семантической структуры именного словосочетания и знание лексических показателей соответствующих смыслов позволяет определить основное линейное расположение этих показателей.

Член-корр. АН УССР А. С. Мельничук (Киев) в докладе «Специфика порядка слов как компонента структуры славянского предложения» показал, что порядок слов, образуя вместе с интонацией особую, интонационно-позиционную часть внутренне-синтаксической сферы предложения, участвует в обозначении субъективно-смысловых отношений между компонентами высказываемой в предложении мысли.

В докладе В. Г. Адмони (Ленинград) «Формы, факторы и функции порядка слов» развивалась идея о необходимости общей стратификации порядка слов как явления. Были сформулированы дифференциальные признаки форм, факторов и функций порядка слов.

О. А. Лаптева (Москва) выступила с докладом «Структурно-грамматическая роль порядка слов в системе устно-разговорного синтаксиса». По мнению докладчика, порядок слов в системе устно-разговорного синтаксиса выступает как одно из ведущих средств линейной организации высказывания (выражение актуального членения и синтаксических

отношений). Эти функции имеют существенные отличия от соответствующих функций в общелитературной синтаксической системе и связаны с усилением грамматичности порядка слов в устно-разговорном синтаксисе.

И. И. Ковтунова (Москва) прочитала доклад на тему «Порядок слов и семантическая структура предложения». Были рассмотрены три вида релевантных для актуального членения признаков (семантика компонентов предложения, их принадлежность к определенным лексико-семантическим категориям, характер семантической связи между компонентами). Существуют определенные закономерные связи между порядком слов и лексико-семантической структурой предложения. Этими связями предопределены парадигмы словорасположения.

Б. Корубин (Скопле) в докладе «Место глагола *сум* как вспомогательного и как связки в македонском литературном языке» показал двойственную природу конструкций типа *сум дојден*: одни конструкции носят синтаксический характер (причастие приобретает синтаксические и грамматические, а часто и лексические свойства прилагательного), другие грамматикализуются.

Ф. Михалк (Будышин) в докладе «О причинах широкого распространения рамочной конструкции в серболужицком языке» привел доказательства того, что рамочная конструкция в серболужицком языке является синтаксическим заимствованием из немецкого. Произведя статистический анализ диалектных текстов, автор установил причины разной частотности употребления рамочной конструкции в верхне- и нижнелужицких диалектах.

В докладе Я. Бочварова (София) «Порядок слов как грамматическое средство в славянских языках (в сопоставлении с некоторыми неславянскими)» на иллюстративном материале из разных славянских и неславянских языков были показаны особенности словорасположения при выражении различных отношений: субъектно-предикатных, субъектно-объектных, атрибутивных.

Все доклады вызвали оживленную дискуссию. Материалы работы Комиссии будут опубликованы в специальном сборнике.

М. С. Суханова (Москва)

*

В декабре 1973 г. Лингвистическое общество г. Калинина отметило свое пятилетие. Теоретические установки и направление деятельности Общества (в формулировке задач и принципов его работы участвовал акад. В. В. Виноградов) связаны, по словам В. Г. Костомарова, со «стремлением охватить и осмыслить все новое и актуальное, что возникает в современной советской и мировой науке» [1]. В небольшую инициативную группу организаторов этого научного коллектива (председатель — Р. Р. Гельгардт) входили лингвисты и литературоведы, занятые разработкой различных проблем славянской, германской и романской филологии. Всех их объединял интерес к общей лингвистике, к актуальным вопросам теории и методологии филологических исследований. Сборники, выпущенные Обществом, «отражают реальное состояние нашей науки и реальную расстановку сил, направлений, тем, авторов» [2].

Среди учредителей Общества и активных его деятелей назовем акад. В. В. Виноградова, последняя печатная работа которого вышла во втором томе сборников Общества, а также чл.-корр. АН СССР С. Г. Бархударова и чл.-корр. АН СССР Ф. П. Филина. Под редакцией Ф. П. Филина готовится к печати четвертый том «Сборника докладов и сообщений»; под редакцией С. Г. Бархударова вышел в свет том третий. Чл.-корр. АПН СССР И. Ф. Протченко состоял в редакционной коллегии второго тома. Труд по рецензированию некоторых рукописей взяли на себя А. А. Леонтьев, Ю. В. Рождественский, Ю. С. Степанов и др.

Деятельность общества постоянно поддерживается чл.-корр. АН СССР Д. Д. Благим. Наш научный коллектив провел торжественное собрание, посвященное восьмидесятилетию Д. Д. Благого. С докладом «О лингвистических аспектах исследования в литературоведческих трудах Д. Д. Благого» выступил И. В. Фоменко. Стиль научной прозы Д. Д. Благого был характеризован в докладе Р. Р. Гельгардта.

Первое, учредительное заседание Общества проведено в декабре 1968 г. За отчетный период состоялось две научных сессии. Одна из них была посвящена пятидесятилетию образования СССР; на ней прослушаны доклады: М. С. Лапатухин «Развитие национальных языков в советском обществе», Е. В. Клюев «К вопросу о языковых контактах», Р. Р. Гельгардт «Антропогенетические предпосылки зарождения языка (источники изучения глоттогенеза в связи с антропогенезом)», Н. А. Панина «К проблеме произвольности и непроизвольности языкового знака», Б. А. Сазонтьев

[1] ИАН ОЛЯ, 1972, 5, стр. 476—477.

[2] Там же, стр. 481. См. также рец. Б. И. Косовского в кн.: «Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта ім. Ул. І. Леніна». Серыя IV — Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. Псіхалогія, 3, Мінск, 1972, стр. 86.

«Информация, сознание и язык», И. В. Фоменко «Исследование поэтики в СССР», Т. В. Кириллова «Лингвистическая география в современном советском языковедении», М. Н. Шахнович «Переводы В. Маяковского на французский язык (к проблеме билингвизма)». Вторая сессия была посвящена столетней годовщине со дня рождения В. И. Ленина. Во вступительном слове Р. Р. Гельгардт сделал критический обзор наиболее примечательных отечественных и зарубежных работ о стиле произведений В. И. Ленина. Б. М. Балин в аспекте современной лингвистики и задач культуры речи дал анализ высказываний В. И. Ленина о языке. Прослушаны также доклады Б. А. Сазонтьева «Устный монолог В. И. Ленина», В. Г. Осипова «Из наблюдений над стилем писем В. И. Ленина к родным» и Н. М. Шапошниковой, которая поделилась наблюдениями над связями стиля В. И. Ленина со стилем произведений К. Маркса и Ф. Энгельса.

Члены общества разрабатывали проблемы лексикологии и лексикографии. Обсужден доклад акад. В. В. Виноградова «Об омонимах». Ряд вопросов семантической структуры слова в психолингвистическом плане освещен А. А. Залевской в докладе «Об исследовании интервербальных связей» и в выступлениях на темы «Психолингвистический подход к исследованию механизма свободных ассоциаций» [3] и «Психолингвистический подход к исследованию связей между словами». Прочитаны также доклады Р. В. Туркиной «Семантическая структура имени существительного», Э. П. Шубина «Об ассоциативной структуре слова», Л. В. Морозовой «Дефиниционная трактовка системы терминов», М. А. Гуревич «Об одном римском юридическом термине», А. Т. Кривоносова «К построению системы неизменяемых классов слов».

Установлен контакт Общества со Словарным сектором Института русского языка АН СССР. На особом заседании члены Общества рассмотрели составленный А. М. Бабкиным «Проспект нового академического словаря русского языка. Доклад Р. Р. Гельгардта, озаглавленный «Несколько идей стилистики и общего языковедения в аспекте лексикографии», частично был изложен на расширенном совещании Научного совета по лексикологии и лексикографии при Отделении литературы и языка АН СССР (1972). Р. В. Туркина выступила с сообщением «О толковании слов в академическом словаре», Н. С. Бондарчук дала анализ дискуссионных вопросов, поставленных в «Проспекте», Т. В. Кириллова затронула проблему включения в словарь современного русского языка некоторых слов, квалифицируемых как «диалектизмы».

В план деятельности общества включались и темы в области грамматики, структурной лингвистики, а также вопросы о методах структурального описания языковых категорий. Были прослушаны доклады Ф. П. Филина «Об истории окончаний *-а, -я* в именительном и винительном падежах множественного числа имен мужского рода» и И. Б. Хлебниковой «Об одной модели грамматического описания». В другом докладе И. Б. Хлебниковой освещались «Общелингвистические основы анализа частного лингвистического явления (на материале сослагательного наклонения)». Широкие теоретические обобщения сделаны М. А. Черкасским в докладе «К построению лингвистической типологии на основе модели фазового пространства и манифестационного анализа языка». В. А. Жеребков прочитал доклады «К структуре лингвистической процедуры описания системы времен глагола» [4] и «О семантической структуре категории наклонения» (в аспекте семантических оппозиций). А. Т. Кривоносов выступил на тему «Класс качественных наречий как выражение структуры языка» (частично опубликован в ВЯ, 1973, 4). Ряд проблем синтаксиса поставлен Г. М. Рейхелем в докладах: «Главные члены предложения», «К дефиниции термина „предложение“», «Предикативность и предложение», Э. П. Шубиным в докладе «Членение предложения», а также Л. П. Прохожаевой в докладе «Функционально-коммуникативная типология „неполных“ вопросов в современном английском диалоге».

Предметом исследования были и проблемы стилистики. Ю. С. Степанов представил доклады, озаглавленные: «От стиля к мировоззрению. Экзистенциальные идеи у Л. Толстого», «Понятия „значение слова“, „метафора“, „синонимия“ в свете семиотики». Некоторые специфические черты поэтических текстов анализированы Л. М. Ариштейном («фонологические средства экспрессии в современном русском стихе»), И. В. Фоменко («Опыт анализа лирического стихотворения»), Т. И. Ветчиновой («К вопросу о структуре предложения в лирике и ее связи с употреблением временных форм»). Е. И. Шендельс сделала сообщение «Полуотмеченные структуры и их стилистическое значение». «Стиль писателя (на материале произведений И. А. Крылова добасенного периода)» был предметом изучения Р. Р. Гельгард-

[3] Эта работа частично опубликована в сб. ««Семантическая структура слова. Психолингвистические исследования», М., 1971.

[4] См.: V. A. Zerebkov, Zur semantischen Struktur des Tempus in der deutschen Gegenwartssprache, «Linguistica Antverpiensia», 6, 1972.

та. Тот же автор предложил доклад «Рассуждение о диалогах и монологах (к общей теории высказывания)». Ю. Л. Левитов выступил с двумя сообщениями: «К вопросу о грамматико-стилистических особенностях экспозиции художественного произведения» и «Стилистические (экспрессивно-эмоциональные) созначения грамматических форм».

Следует упомянуть опыт классификации лингвистических дисциплин, проведенный Э. П. Шубиным, «Модель словесно-логической памяти», разработанную Б. А. Сазонтьевым, и его же доклад «О чувстве языка», а также доклад В. В. Каракулакова «Взгляды М. Т. Варрона на происхождение и жизнь языка».

«О чертах изоморфизма в развитии русского литературного языка и русской литературы» доложил В. Д. Левин. Обсуждению подвергся и доклад Б. И. Ваксмана «Литературный язык как идеал и как реализация».

Общество включалось в дискуссию по кардинальным вопросам лингвистики, поставленным чл.-корр. АН СССР Р. А. Будаговым в статье «О предмете языкознания»[5]. Р. А. Будагов представил доклад «В защиту филологии», А. А. Реформатский сообщил «О некоторых вопросах терминологии». Один из древнерусских терминов сделал предметом своего доклада акад. Д. С. Лихачев.

По предложению Института языка и литературы АН Таджикской ССР Обществом рассмотрен разработанный под руководством И. Г. Левина проект Свода таджикского фольклора. Проект включает в себя словари поэтических синонимов и лексических вариантов, архаизмов и неологизмов, литературно-нормализованной и некодифицированной (областной, просторечной) лексики.

Р. Р. Гельгардт (Калинин)

*

27—29 сентября 1972 г. в Анкаре состоялась I Научная конференция по тюркским языкам, посвященная 40-летию Общества турецкого языка (Türk Dil Kurumu), основанного Кемалем Ататюрком, и 900-летию тюркоязычного письменного памятника «Дивану лугат-ит-тюрк» Махмуда Кашгари. В работе конференции принимало участие более пятидесяти исследователей тюркских языков из пятнадцати стран. На конференции работали четыре секции: 1) турецкий язык в Турции, 2) турецкие диалекты вне Турции, 3) древнетюркские наречия и «Дивану лугат-ит-тюрк» Махмуда Кашгари, 4) тюркские языки в целом.

Доклады турецких языковедов — сотрудников Общества турецкого языка и преподавателей Анкарского и Стамбульского университетов — в большинстве своем трактовали вопросы лексикологии и семасиологии, что соответствует основному направлению деятельности Общества: собиранию и изучению литературной, терминологической, диалектной, исторической лексики турецкого языка и составлению соответствующих словарей. С общим докладом о турецкой языковой политике выступила С. Кили (Стамбул). В докладе Х. Эрена (Анкара) «Единство в языке» шла речь об общетюркском лексическом фонде и возможности использования в турецком литературном языке целого ряда общетюркских слов вместо арабизмов и фарсизмов. В докладе Д. А. Аксана (Анкара) рассматривались вопросы синонимии в турецком и других тюркских языках с привлечением данных тюркоязычных письменных памятников. Оживленную полемику вызвал доклад В. Хатибоглу (Анкара), предложившей этимологию слова *ağaç* «дерево» в связи с его вариантом *(y)ığaç*. С. Булуч (Стамбул) проанализировал особенности турецкого говора мендели в Ираке. Ряд докладов турецких языковедов был] посвящен изучению языка (в основном, лексики) «Дивана» Махмуда Кашгари и других тюркоязычных памятников.

Советская делегация, состоявшая из 12 человек, приняла активное участие в работе всех четырех секций благодаря разнообразию тематики представленных докладов. А. Н. Кононов (Ленинград) охарактеризовал исследования, ведущиеся над «Диваном» Махмуда Кашгари в Советском Союзе. Э. И. Фазылов (Ташкент) рассказал о проделанном им сопоставлении различных изданий этого памятника. М. Закиев (Казань) показал значение «Дивана» Махмуда Кашгари для исторического изучения синтаксиса тюркских языков.

В ряде докладов советских тюркологов освещались различные вопросы фонетического и грамматического строя, лексики тюркских языков. Темой доклада Э. В. Севортяна (Москва) была элизия начальных согласных в тюркских языках. А. Ахундов (Баку) посвятил доклад вопросу о слоге в фонетической системе азербайджанского языка. В докладе А. Абдуллаева (Баку) предложена гипотеза об эволюции сложноподчиненного предложения в тюркских языках. Л. А. Покровская (Москва) доложила об особенностях синтаксиса гагаузского языка и балканотурецких диалектов, связанных с воздействием на них балканских и русского языков. М. Ширалиев (Баку) про-

[5] ИАН ОЛЯ, 1972, 5. См. так же: Р. Р. Гельгардт, К вопросу о предмете языкознания, ИАН ОЛЯ, 1973, 3.

анализировал один из типов сложных слов в тюркских языках, по своей структуре сопоставимых с предложением; сложные слова были предметом рассмотрения Ф. Зейналова (Баку). В докладе С. Кенесбаева (Алма-Ата), прочитанном Э. Р. Тенишевым, внимание уделялось использованию казахских собственных имен в нарицательном значении.

В докладе Э. Р. Тенишева (Москва) была дана характеристика турецкого говора урумов с. Прасковеевка (на Черноморском побережье Кавказа). Р. Юсипова (Москва) рассмотрела способы образования неологизмов в современном турецком языке.

Ряд докладов тюркологов других стран был посвящен изучению заимствованной лексики: Ж. Какук (Будапешт) «Османизмы в венгерском языке», Г. Фехера (Будапешт) «Турецкие термины, относящиеся к ремеслу горшечников и медников, в венгерском языке», М. Джуканович (Белград) «Сербские слова в Законах Османской империи XV—XIX вв.», С. Джинджича (Белград) «Адаптация французских слов в турецком письменном языке».

Отдельные доклады были построены на материалах диалектологических исследований. Е. Боев (София) выявил закономерности ассимиляции согласных в турецких говорах Болгарии. И. Мандоки (Будапешт) рассмотрел элементы куманского происхождения в говорах Большой и Малой Кумании. Х. А. Бабек (Бухарест) посвятил свой доклад изучению функций причастных форм на *-gan* (*-gen*), *-kan* (*-ken*) в татарском языке Добруджи. Живую полемику вызвал доклад Г. Дёрфера (Гёттинген) «Древние тюркские слова в языке халадж», утверждавшего, что только в этом языке сохранились слова с начальным («протетическим») *h*, восходящим к древнетюркскому *p*. Выступившие в обсуждении С. Булуч, Ф. Зейналов, А. Дильачар привели аналогичные факты из диалектов турецкого и азербайджанского языков.

Зарубежные ученые касались в своих докладах также вопросов фонетики и грамматики тюркских языков. Ц. Хаттори (Токио), пытаясь определить место татарского среди других тюркских языков, высказал мысль о том, что фонетическая система татарского языка сближает его (из древних языков) с кыпчакским, но не с булгарским. Темой доклада Л. Йогансона (Упсала) было функционирование некоторых отглагольных образований в турецком языке, Э. Ховдхаугена (Осло) — относительные (придаточные) предложения в турецком языке, И. Лауде-Циртаутас (Сиетль) рассмотрела значения междометий *au* и *aĵ* в казахском языке в зависимости от их позиции в предложении.

Один доклад был посвящен алтаистике: Л. Беше (Будапешт) «О тюрко-монгольских языковых отношениях».

Наконец, целая серия докладов относилась к изучению языка тюркоязычных письменных памятников: З. Кляйнмихель (Берлин) исследовала фонетическую систему языка «Марзубан-наме» по рукописи, хранящейся в Берлинской государственной библиотеке; А. Третьякова (Париж), изучая «Кутадгу билиг» электронно-вычислительным способом, провела наблюдения над частотностью употребления гласных разного образования с точки зрения сингармонизма; И. Р. Мейер (Копенгаген) исследовала долготу гласных и способы ее обозначения в Словаре Махмуда Кашгари. Г. Хазаи (Берлин) охарактеризовал лексикографические принципы Махмуда Кашгари. Были также прочитаны доклады П. Цимме (Берлин) «„Дивану лугат-ит-тюрк“ и уйгурские тексты из Турфана»; Х. Бичари (Будапешт) «Рукопись „Сулейман-наме“, хранящаяся в Будапеште»; Б. Флеминг (Гамбург) «Турецкий „Диван“ султана Гавриса», Э. Трыярского (Варшава) «Термины, связанные с метеорологией и астрономией, в армяно-кыпчакском языке».

В целом тематика докладов на конференции была разнообразной и охватывала изучение различных уровней и аспектов языка в синхронном и историческом плане на материале современных тюркских языков и письменных памятников. Участие советской делегации в работе 1 Научной конференции по тюркским языкам в Анкаре способствовало развитию научных контактов с тюркологами Турции и других стран.

Л. А. Покровская (Москва)

*

23 мая 1973 г. в Лейпцигском университете имени Карла Маркса на секции Теоретического и прикладного языкознания состоялся коллоквиум по вопросам русского словообразования. Коллоквиум был организован исследовательским коллективом, изучающим вопросы лексикологии и словообразования русского языка. В нем участвовал весь научный коллектив, занимающийся изучением славянских языков. В работе коллоквиума приняли также участие более 30 языковедов из 11 университетов и высших школ ГДР, языковеды ЧССР и СССР.

Э. Эйхлер (Лейпциг) выступил с докладом о задачах сопоставительного изучения русско-немецкого словообразо-

вания. Он подчеркнул необходимость сотрудничества между русистами и германистами с целью создания единой терминологии как основы описания продуктивных словообразовательных моделей в обоих языках. Такое описание может быть использовано в педагогической практике. Доклад Э. Гюнтер (Берлин) был посвящен вопросу образования существительных от прилагательных и глаголов. Особое внимание она уделила взаимосвязи словообразования и синтаксиса. В своем докладе Р. Зимек (Оломоуц) рассматривал вопросы взаимоотношения словообразования и синтаксиса с точки зрения структурального анализа и возможных трансформаций. Докладчик указал на роль семантического компонента и выразил несогласие с теми структуралистами, которые недооценивают этот компонент. Р. Эккерт (Лейпциг) осветил вопросы взаимоотношения словообразования и фразеологии. Он привел случаи, когда фразеологизм служит базой для образования новых слов. У. Бёме, опираясь на последние работы советских лингвистов, говорил в своем докладе о проблемах взаимоотношений формы и значения слова. Доклад И. Онхайзер (Лейпциг) был посвящен вопросам словообразовательной синонимии среди существительных и прилагательных. Она разграничила словообразовательные варианты и словообразовательные синонимы. Г. Ленерт (Лейпциг) в своем выступлении на ряде упражнений показала методические возможности использования лингвистического материала по словообразованию на примере отглагольных существительных на *-ние*. У. Эккардт (Дрезден) говорил о словообразовании существительных nomina agentis в терминологии и о регулярности и продуктивности этой словообразовательной модели. В. Т. Шкляров (Борисоглебск) рассказал о работе над словарем по русскому словообразованию.

В состоявшейся дискуссии выступавшие подчеркнули необходимость дальнейшего сотрудничества специалистов при изучении вопросов словообразования.

Э. Эйхлер, Г. Ленерт (Лейпциг)

*

С 16 по 19 апреля 1973 г. в Казанском государственном университете проходила IV научная конференция по проблемам развития русского литературного языка XVIII в. (Ломоносовские чтения). В ней приняли участие представители 11 городов. На двух секциях было прослушано 37 докладов, посвященных вопросам специфики языка XVIII в. в области лексики, словообразования, морфологии, синтаксиса.

Центральной проблемой, объединившей многие сообщения, явилась проблема вариантности и синонимии, понимаемых по-разному. Так, В. В. Колесов (Ленинград) рассматривает варианты как принадлежность разных функциональных систем, а синонимы — как единицу одной системы. А. А. Алексеев (Ленинград) связывает синонимию и вариантность с проблемой языка и речи. Определению сущности словообразовательной синонимии, соотношению словообразовательных синонимов и однокоренных слов и выявлению специфических особенностей в системе отглагольных синонимических имен в языке XVIII в. посвятила свое выступление Э. В. Казанская (Казань).

Вопросам конкретного проявления словообразовательной синонимии были посвящены доклады А. А. Аминовой, А. И. Софроновой, С. Х. Чекменевой (Казань). В докладе Э. А. Балалыкиной (Казань) «Некоторые замечания по поводу прилагательных с приметой *-т-* в русском литературном языке XVIII века» было высказано предположение о том, что значение степени интенсивности признака, выражаемое суффиксами *-истый, -астый*, связано с соответствующим значением и.-е. морфемы *-st-*. Н. Е. Маркарьян (Казань) в сообщении «Полногласные и неполногласные сочетания в „Письмах и бумагах Петра Великого“» установила, что выбор того или иного аффикса мог зависеть в значительной степени от фонетического облика производящей основы (суффикс *-ние*, например, часто связан с неполногласной основой, а нулевой суффикс — с полногласной). Синонимические отношения в лексике, связанной с обозначением мер, были затронуты в докладе Р. А. Каримовой и Т. А. Кильдибековой (Уфа) «Лексика грамоток XVIII века».

Теоретические вопросы рассматривались в их отношении к языковедческой традиции, в частности, к наследию М. В. Ломоносова, о чем говорил Г. А. Николаев (Казань).

При обсуждении докладов была высказана мысль о том, что лексические и словообразовательные синонимы должны быть противопоставлены вариантам, которые вызываются фонетическими причинами.

Доклады по грамматике были объединены идеей тесной взаимосвязи грамматики и словаря. В докладе В. М. Маркова (Казань) было подчеркнуто, что задача углубленного изучения причинно-следственных связей различных языковых явлений определяет необходимость выделения новой специальной историко-лингвистической дисциплны — грамматической лексикологии, призванной изучать своеобразие грамматического развития как отдельных слов, так и лексичес-

ких групп или словообразовательных разрядов. И. Э. Еселевич (Казань) посвятила свой доклад анализу содержания категории собирательности в русском литературном языке начала XVIII в., обнаружив достаточно четкую грамматическую дифференциацию лично-собирательных и предметно-собирательных существительных. Лексическую обусловленность ряда грамматических признаков имен существительных с суффиксами субъективной оценки показала Л. К. Бурцева (Ленинград). Процессам становления грамматических норм в области глагола были посвящены доклады С. П. Лопушанской (Казань) «Синонимические отношения описательных форм будущего времени в языке А. П. Сумарокова» и З. М. Петровой (Ленинград) «Из истории глаголов с суффиксами *-ова-/-ыва-* (на материале памятников XVIII века)». Интерес слушателей вызвали сообщение Л. С. Андреевой (Казань) «Дневник П. А. Толстого „Путешествие по Европе" как источник изучения русского литературного языка XVIII в.», в котором особое внимание докладчика привлекли выборочно акцентированные слова и формы, и Л. А. Андреевой (Казань) о грамматических свойствах обращения в языке XVIII в.

Доклады, прослушанные на секции синтаксиса, касались синтаксиса сложного и усложненного предложений языка XVIII в. В докладе Г. Н. Акимовой (Ленинград) рассмотрены принципы развертывания предложений в языке М. В. Ломоносова. Н. А. Широкова (Казань) в своем докладе дала характеристику сложноподчиненных предложений усложненного типа в языке М. В. Ломоносова, уделив специальное внимание конструкциям с контактным расположением подчинительных союзов. Г. Н. Молоткова (Ленинград) показала характерность явления параллельного риторического ряда в периодах похвальных слов и речей XVIII в. для ораторской прозы этого времени.

Доклад Н. А. Андрамоновой (Казань) был посвящен сложноподчиненным предложениям, выражающим пространственные отношения. Было выяснено, что основные отличительные особенности соответствующих конструкций XVIII в. касаются их структурной стороны. Предложения с придаточными изъяснительными были охарактеризованы в докладе Л. Н. Шердаковой (Ленинград) «Сложноподчиненное предложение с придаточным изъяснительным (на материале языка дипломатических документов конца XVII — начала XVIII вв.)».

Ряд докладов касался синтаксиса словосочетания. Изменения в составе субстантивных сочетаний были предметом рассмотрения в докладах Л. В. Копоруллиной (Ленинград) «К вопросу об изменении синтаксической валентности имени в русском литературном языке XVIII века» и Г. Г. Полищук (Саратов) «Об изменениях генитивных словосочетаний в языке XVIII века». История развития глагольных словосочетаний была прослежена в докладах О. М. Трахтенберг (Стерлитамак) «О некоторых особенностях глагольных словосочетаний XVIII века в связи с основными тенденциями в развитии средств подчинения», В. И. Казариной (Ленинабад) «Управление глаголов движения в научной и деловой прозе Ломоносова», В. Л. Смирнова (Казань) «Некоторые наблюдения над фразеологическими единицами с глаголом *учинити/чинити*», Р. С. Акопяна (Коканд) «Глагольные конструкции с дательным падежом в языке М. В. Ломоносова».

Некоторые частные вопросы семантики, структуры и функциональной нагрузки простого предложения XVIII в. были предметом анализа в докладах К. К. Филиппенко (Казань), А. М. Кирсановой (Елабуга) и Е. С. Шерешевской (Новосибирск).

На конференции обсуждался проект «Словаря русского языка XVIII века», подготовленного группой XVIII века Словарного сектора Ленинградского отделения Института языкознания АН СССР. О нем было доложено в докладах Ю. С. Сорокина «Принципы составления „Словаря русского языка XVIII века"», Л. Л. Кутиной «Процессы нормализации в области семантики и словоупотребления XVIII века (синонимия)», Е. Э. Биржаковой «Иноязычные заимствования и принципы их этимологизирования в историческом словаре», В. В. Замковой «Разложение „славянизма" как стилистической категории к концу XVIII века и формирование на его базе новых стилистических категорий», Г. П. Князьковой «К проблеме социальной стратификации лексики русского языка XVIII века», И. М. Мальцевой «Окказиональная лексика в памятниках XVIII века». Все выступавшие единодушно одобрили исторический принцип, положенный в основу обсуждаемого словаря, который позволяет показать лексику XVIII в., в движении, в развитии. Одобрение участников конференции вызвали приемы показа в словаре заимствованной лексики с учетом разных этапов ее адаптации. Большой интерес вызвал широкий показ сочетаемостных возможностей слова, лексической и словообразовательной синонимии. Особо отмечалась важность грамматических сведений о языке XVIII в., содержащихся в словаре.

Э. В. Казанская, И. Э. Еселевич, Н. А. Андрамонова (Казань)

The Editorial Board of the journal «Voprosy Jazykoznanija» expresses its appreciation to the Publishers who send us their books for review. The Editorial Board regrets that it cannot guarantee the reviewing of all the books received due to space limitations. Two offprints of each review will be sent to the Publishers. Books received are not returned.

*

Le Comité de rédaction de «Voprosy Jazykoznanija» tient à exprimer sa profonde reconnaissance à toutes les Maisons d'édition qui lui font parvenir leurs nouvelles parutions pour critique. Le Comité de rédaction ne peut pas garantir la publication d'un compte-rendu pour chaque livre reçu à la redaction. Les comptes-rendus seront publiés selon les possibilités de la rédaction. Deux tirages-a-part seront envoyés en ce cas aux Maisons d'édition respectives. Les livres reçus à la rédaction ne sont pas rendus aux éditeurs.

*

Die Redaktion der Zeitschrift «Voprosy Jazykoznanija» spricht allen Verlagen, die uns Rezensionsexemplare zukommen lassen, ihren tiefempfundenen Dank aus. Die Redaktion gibt bekannt, daß leider nicht alle bei uns einlaufenden Bücher besprochen werden können. Die Rezensionen werden den Möglichkeiten unserer Zeitschrift entsprechend veröffentlicht. Der Verlag erhält zwei Sonderabdrücke. Die von der Redaktion erhaltenen Bücher werden nicht an den Herausgeber zurückgesandt.

CONTENTS

Articles: A. V. Bondarko (Leningrad). Inflection and classification of morphological categories; **Towards the 250-th anniversary of the Academy of Sciences of the USSR:** B. A. Uspenskij (Moscow). Pre-Lomonosov period of the national studies in Russian; **Discussions:** A. Rona-Taš (Budapest). Common inheritance or loan?; L. G. Herzenberg (Leningrad). A contribution to research of Altaic affinity; D. I. Arbatskij (Iževsk). On the essence of tautology in semantic definitions; L. V. Bondarko, L. A. Verbickaja, M. V. Gordina, L. R. Zinder (Leningrad). Styles of pronunciation and types of pronouncing; L. S. Ulukhanov (Moscow). Meaning components of analysable words; **Materials and notes:** H. Fähnrich (Jena). On the Ibero-Caucasian hypothesis; M. A. Korostovcev (Moscow). Principal elements of Neo-Egyptian syntax; E. P. Lebedeva (Leningrad). Reduplicated and paired words in Mandshoo; Z. M. Petrova (Leningrad). Passive-reflexive participles in the XVIII century Russian; I. V. Andrianova (Moscow). Interrelation of nomina actionis in *-нue* (*-mue*) with other nouns derived from the same base in Old Russian; **Reviews.**

SOMMAIRE

Articles: A. V. Bondarko (Léningrad). Désinence et classification des catégories morphologiques; **Pour le 250-me anniversaire de l'Académie des sciences de l'URSS:** B. A. Uspenskij (Moscou). Période pré-Lomonosov des études du russe en sol national; **Discussions:** A. Rona-Taš (Budapest). Héritage commun ou emprunt?; L. G. Herzenberg (Léningrad). Contribution à l'étude des rapports des langues altaïques; D. I. Arbatskij (Iževsk). L'essence de tautologie dans les définitions sémantiques; L. V. Bondarko, L. A. Verbickaja, M. V. Gorgina, L. R. Zinder (Léningrad). Styles de prononciation et types de phonation; I. S. Ulukhanov (Moscou). Eléments significatifs des mots décomposables; **Matériaux et notices:** H. Fähnrich (Jena). Sur l'hypothèse ibéro-caucasienne; M. A. Korostovcev (Moscou). Principes de syntaxe néo-egyptienne; E. P. Lebedeva (Léningrad). Mots redupliqués et accouplés en mandchou; Z. M. Petrova (Léningrad). Formes passives-reflexives des participes en russe du XVIII siècle; I. V. Andrianova (Moscou). Rapports entre les nomina actionis en *-нue* (*-mue*) et les noms de la même racine des types suffixaux différents en vieux-russe; **Comptes-rendus.**

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Рукописи должны представляться в двух экземплярах, хорошо обработанные литературно и подписанные автором. И текст, и одстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке через два интервала. После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон.

2. Объем статьи не должен превышать 24 стр., объем рецензии — 10 стр. машинописи.

3. Все цитаты и ссылки в статье должны быть тщательно выверены по первоисточникам.

4. При ссылках (в тексте и сносках) необходимо придерживаться порядка: автор, название книги или статьи, название издания (для статьи), заключенное в кавычки, место издания, год издания, страницы. (Страницы, определяющие границы статьи в издании, указываются лишь в критико-библиографических обзорах.)

5. Все примеры на иностранных языках должны быть снабжены переводами. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значения их — в кавычках.

6. Все формулы и буквенные обозначения величин должны быть четко выполнены чернилами (следует делать ясное различие между заглавными и строчными буквами).

7. Рисунки должны быть тщательно выполнены тушью; чертежи, сделанные карандашом, не принимаются. Не рекомендуется загромождать рисунок ненужными деталями; все надписи должны быть вынесены в подпись, а на рисунке заменены цифрами или буквами. На полях рукописи указывается место рисунка, а в тексте делается на него ссылка. Фотографии принимаются в двух экземплярах (второй для редакции и ретушера в качестве контрольного). При изготовлении клише величина оригинала уменьшается в два-три раза, поэтому фотографии должны быть четкими и контрастными. Фотографии, выполненные в малом размере и нечетко, не принимаются. На обороте каждого рисунка должны быть проставлены фамилия автора, заглавие статьи и номер рисунка. Статью не следует перегружать графическим материалом.

8. Непринятые рукописи, как правило, не возвращаются.

9. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются (за исключением раздела «По страницам зарубежных журналов»).

10. Хроникальные заметки должны представляться в редакцию в течение двух месяцев с момента описываемого события в лингвистической жизни. Объем хроникальной заметки 3—5 стр.

Технический редактор *Т. И. Шеленкова*

Сдано в набор 28/XII-1973 г. Т-01987 Подписано к печати 6/III-1974 г. Тираж 7450 экз.
Зак. 9 Формат бумаги 70×108¹/₁₆ Усл.-печ. л. 14,7 Бум. л. 5¹/₄ Уч.-изд. л. 16,5

2-я типография издательства «Наука». Москва, Шубинский пер., 10